80 коп. ИНДЕКС 73274

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

Продолжение романа Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
"Октябрь Шестнадцатого".

Миниатюры Валентина ПИКУЛЯ

Панорама мнений
Рынок: панацея или ловушка?
Статьи А. СЕРГЕЕВА **"Из кризиса в тупик?"**
и Т. ВАСИЛЬКОВА **"Корреляция этапов".**

Статью-предупреждение Александра ПРОХАНОВА
"Идеология выживания".

Статью Михаила НАЗАРОВА
"Западники и славянофилы" –
взгляд на "вечную проблему" из Мюнхена.

Размышления Валентина РАСПУТИНА
"Сумерки людей".

Продолжение исторического повествования
Дмитрия ЖУКОВА
**"Б. Савинков и В. Ропшин.
Террорист и писатель".**

Нужен ли нам "Карабах"
в центре России? – размышляют
К. МЯЛО и П. ГОНЧАРОВ в статье **"Линия судьбы".**

Наш современник, 1990, № 8, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №8 1990

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№8 1990

ГОВОРИТ РОССИЯ

"Наконец-то сказано то, что давно пора сказать, что волнует очень многих россиян разных национальностей. Невозможно смотреть передачи ТВ: будто мы не в России. Кто эти "великие русские поэты", "гениальные русские художники" и т. д.? Протаскивают псевдорусское, враждебное русской культуре, национальному духу. Русская культура, литература, искусство – достояние всех народов, потому так больно за все, что происходит.

Козета Рахиевна БЕК, адыгейка по национальности, журналистка, г. Москва".

"Больно смотреть, как несколько десятков "прорабов" перестройки оседлали средства массовой информации и насаждают спекулятивный плюрализм, расшатывают общественное хозяйство, чтобы распродать народное добро за бесценок под бесконечную демагогию о неспособности нашего народа пользоваться плодами своего труда.

Юристы Одинцовской прокуратуры и следственного отдела Одинцовского УВД поддерживают усилия писателей, деятелей науки и культуры России, направленные на справедливое для России распределение средств массовой информации.

И. СКВОРЦОВ, В. АРТЕМОВ, Ю. ПАЛЬЦЕВ, всего 32 подписи,
г. Одинцово Московской области".

"Полностью согласна с Письмом. Считаю себя русской (хотя до XX века у нас в роду была греческая, болгарская, польская кровь), горжусь этим.

Е. ПОПОВА, г. Усть-Илимск".

"Это Письмо должно быть донесено до каждого гражданина нашей страны.

А. ЧИРВА, г. Харьков".

"Восхищаюсь героическим шагом инициаторов этого Письма. И отмечаю в нем высокий уровень научного анализа.

И. БЛОХИН, канд. исторических наук, доцент,
г. Калининград Московской области".

"Я не являюсь ни именитым писателем, ни выдающимся художником. Я – рабочий. Но я русский человек и почитаю недостойной позицию стороннего наблюдателя в развернувшейся борьбе за национальное возрождение Родины, за возрождение национального русского духа. В этой борьбе Вы всецело можете располагать мною.

К. ПУТНИК, г. Челябинск".

"Наша государственность дает трещину, к власти рвутся новые Троцкие; КПСС не способна далее править страной, русские оскорблены и унижены, мы у последней черты.

К власти должны прийти национальные силы, которые смогут возродить Россию на основе уже сложившихся реальностей, без катастрофических "экспериментов".

А. БУЕРАКОВ, фельдшер, г. Балашиха Московской области".

"Демократизация и гласность, увы, работают пока против русской истории, против русского народа, против его культурных и национальных традиций. Еще ничего не сделано для экономического оздоровления страны, но уже много сделано для того, чтобы поссорить русский народ со всеми другими.

...Борясь за социальную и правовую защищенность отдельных лиц, не забываем ли мы о социальной и правовой защищенности нашего Отечества? Где те механизмы, которые обеспечивают нашу внутреннюю прочность, прочность нашей российской государственности? Увы, их нет. И наш славный депутатский корпус пока будто не намерен его создавать.

Ю. МАРКОВ, профессор, г. Новосибирск".

"Благодарен Вам за твердое решение стоять на стороне народов России по защите нашей культуры, нашего духа, просто российской жизни, по защите матери-России.

Командуя объединением внутренних войск, о национализме знаю не понаслышке – по личному участию в борьбе с ним в Степанакерте, Сумгаите, Кировабаде, Баку (неоднократно).

В борьбе за права России Вас поддерживает абсолютное большинство моих боевых товарищей – офицеры, прапорщики, сержанты и, что самое главное, – солдаты.

Л. ПАВЛОВ, генерал-майор и его семья,
г. Горький".

В настоящее время в поддержку Письма поступило более 5700 откликов.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№8 1990

ИПО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
МОСКВА

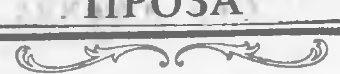
Содержание

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры З. С. Гуляевская, М. И. Кононова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-53 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 926-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 14.05.90. Подписано к печати 31.07.90. А 02434.
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,94. Тираж 467 952 вкз. Заказ 1244.

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ



НЕ ХВАТАЕТ СЕРДЦА

РАССКАЗ

И сами боги не могут сделать бывшее небывшим.

Греческая пословица.

БРАТ доживал последние дни. Муки его были так тяжелы, что мужество и терпение начали ему изменять. Он решил застрелиться, приготовил пулю, зарядил патрон и ружье и только ждал момента.

Мы почувствовали неладное, разрядили ружье и спрятали его на чердак. Наркотики, только наркотики, погружающие больного в тупое полузабытье, чуть избавляли его от страдания. Но где же найти наркотики в богоспасаемом поселке Чуш? Ночью, продираясь сквозь собачий лай и храп, вырывая себя, будто гвоздь из заплота, из пьяных рук мужичья и резвящихся парией, пробиралась в дом брата больничная дежурная сестра с бережно хранимым шприцем.

Переведя дух, бодро улыбаясь нам и брату, она открывала железную коробочку с ватой и шприцем, просила больного приобнажиться и делала «укольчик».

Винясь за что-то, сестра делала попытку еще раз улыбнуться, желала больному спокойной ночи и опадала в темный коридор заплотов, сараев, перемещалась от дома к дому, от двора ко двору. И по мере того как лай чушанской псарни удалялся, затихал и наконец совсем умолкал, мы все тоже успокаивались и с облегчением в сердце выды-

Предлагаем вниманию читателей рассказ, не вошедший в повествование «Царь-рыба», опубликованное в №№ 4—6 «Нашего современника» за 1976 год.

хали — медсестра благополучно добралась до поселковой больницы, располагающейся в деревянном бараке образца тридцатых годов.

Но так было недолго — в Чуш на лето собирались бродяги всех морей и океанов,— эти ради шприца с наркотиком и на преступление пойдут. Взяв на сгиб руки топор, Аким провожал сестру до больницы и чуть было роман с нею не заимел — помешала занятость и болезнь брата.

Время шло. «Укольчик» действовал все слабее, и все виноватей делалась улыбка сестрицы, аккуратно и самоотверженно идущей в ночь, в непогоду, чтобы исполнить почти уже бесполезную работу.

И тогда я решился ехать в ближний город, где жил мой товарищ, там жена его работала в райздравотделе и, пожалуй, сможет достать нужные лекарства.

Уехал я не сразу.

Была середина лета. Переполненные норильскими трудящимися еще в Дудинке белые теплоходы проносились мимо Чуша. Северный богатенький люд двинул на отдых.

Наконец один теплоход подвалил средн ночи к чушанской пристани. Я отыскал вахтенного штурмана в нарядной кремовой рубашке, в форменном картузе, обсказал ему о том, как необходимо мне ехать, просил любое место, «хоть на палубе».

Штурман даже расхохотался, услышав про место на палубе. Сказалась психология прошлого — на палубе, на дровах и на мешках, в четвертом классе, ныне никто не ездил и самого этого «класса» давно не было.

Понявши, что все я погубил своим первобытным, вежливым примитивизмом, я употребил крайнее, малонадежное средство, я выскреб из-под корочек записной книжки тоненько слипшийся коричневый билет.

Разлепивши ногтем билет, на корочке которого тускло светились буквы «Союз писателей СССР», а в середке конопушками пропечатались сырые табачины — не курю уж который год, но табак все виден, во зараза! — штурман недоверчиво читал билет, потом еще более недоверчиво осматривал меня, сказав, что впервые в жизни держит в руках подобный документ и видит живого писателя. Я от такого внимания сперва смутился, потом приободрился и на вопрос, что лично мною написано, назвал две последние книги, напечатанные в Сибири. Штурман признался, что ничего моего не читал — некогда читать книги — навигация, но по радио слышал что-то. Бдительность в этих каторжных местах развита от веку, и штурман на всякий случай еще спросил: не родня ли мне Николай Васильевич Астафьев, работающий механиком на теплоходе «Калинников». Я сказал, что родня — это сын моего дяди, по прозвищу Сорока, убитого на войне. И пояснил, что хотел дать на «Калинников» телеграмму, но в поселке вышел из строя телеграф, ремонтники же, прибывшие на повреждение, неожиданно для себя и для всего народа загуляли.

Штурман задумался. Он решал какую-то трудную задачу и решить должен был быстро, теплоход, приткнувшийся к синему дебаркадеру, уже начинал отшвартовываться.

— Есть у нас одно место, но...

— Я освобожу его по первому требованию. Могу вообще не занимать место, на палубе постою...

— Посмотрели бы вы на себя! — вздохнул штурман.— Словом, едет в двухместной каюте один пассажир. Заплатил и едет. С удобствами. Богатый. Разницу мы ему выплатим. Только вы ни мур-мур...

Штурман повел меня к окошечку кассы и ушел будить кассиршу.

Я настороженно слушал, как внизу подо мною вздыхают машины, как негромко и деловито звучат команды на капитанском мостике, напряженно следил за щелью, все шире и шире разделяющей теплоход и дебаркадер...

Проснулся я уже неподалеку от города, в котором надлежало мне высаживаться. Сквозь решетку деревянных жалюзи слабо и рифлено сочилось солнце.

У дверей каюты справный, но бледный телом мужик в плетеных белых трусиках, чуть отемненных в соединении и на поясе, старательно делал гимнастику.

— Доброе утро! — бодро заявил он не оборачиваясь.

Я не сразу сообразил, что он видит меня во вделанное в двери зеркало.

— Хотел я скандальчик закатить, но... пассажир некурящий... к тому же писатель!..

Говоря все это, он бодро, без одышки делал телодвижения. Вот начал наклоны туловища вперед, откидывая ко мне чуть зарифленный зад с туго подтянутыми в сахаристом материале трусов «причиндалами». Мне почему-то до нестерпимости захотелось дать физкультурнику ногой «под корму».

Долго, тщательно умывался хозяин каюты, еще дольше вытирался розовой махровой простыней, вертелся перед зеркалом, любуясь собой, поигрывая мускулами, раздвигая пальцем рот — чудился ему в зубах какой-то изъян или уж так гримасничать привык. Он выудил из-под стола бутылку коньяку, огромную рюмаху, напоминающую гусиное яйцо, плеснул в нее янтарно-коричневой жидкости и, держа посудину в пригоршнях, отпил несколько мелких глотков, небрежно бросая при этом в рот оранжевые дольки апельсина.

Я глядел и дивовался: вот ведь выучился ж где-то культуре человек! А мы, из земли вышедшие, с земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся, куда и на что годимся? Культурно покутить и то не хватает толку! Не умеем создать того шика, той непринужденной небрежности в гульбе, каковая свойственна людям утонченной воспитанности, как бы даже и утомленье имеющих от жизненных пресыщений и благоденствия. Друзей-приятелей моих во время столичных торжеств непременно стянет в один гостиничный номер. Курят, выражаются, пьют по очереди из единственного стакана, кто подогадливей, полоскательницу из санузла принесет. Выхлещут дорогой коньяк безо всякого чувства, сожрут апельсины иногда и не очистив — некогда потому что, орать надо насчет соцреализма, о его пагубных последствиях на родную литературу вообще и на нас в частности. Так и не заметит, не вспомнит никто потом, какой напиток пили, у кого и за сколько его ночью покупали, каким фруктом закусывали.

Утром самые умные и храбрые пойдут на поклон к горничной, станут ей совать червонец — насвинячили в номере, последний стакан разбили, натюрморт спиной со стены сшибли.

Хозяин каюты начал неторопливо одеваться. Свежие носки, свежую рубашку, брюки из серой мягкой шерсти с белеющими, наподобие глистов, помочами — все это надеть-то — раз плюнуть, но он растянул удовольствие на полчаса. Обмахнув щеткой и без того чистые светло-коричневые, скорее даже красноватые туфли, подбриолинил на висках волосики, идущие в убыток, взбил пушок над обнажающейся розовенькой плешинкой, которая, понял я, была главным предметом беспокойства в его сегодняшней жизни.

Делая все это, он попивал коньячок и без умолку болтал, сообщив как бы между прочим, что едет в «загранку» с тургруппой министерства цветмета, что в Красноярске его ждут четверо соратников из управления. Отметив встречу в «Огнях» (ресторан «Огни Енисея» захудалого типа), он уже через какие-то дни будет в Париже: «Какие девочки в Париже, ай-яй-яй!»

— Не бывали в Париже? Жа-аль! Коньячку не желаете?..

— Я самогонку пью.

— Вы что так злы? Понятно, несчастье, понятно, устали. Вы и впрямь из сочинителей? Извиините, по внешнему виду...

— Вы знаете, сколь я их ни встречал, сочинителей-то, они все сами на себя не похожи...

— Ха-ха-ха-ха! Ценю остроумие!..

— А при чем тут остроумие-то?

Он был чуткий, этот мужчина-юноша, к тому, что сулило ему неприятности, умел избегать их и перешел на доверительно-свойский тон:

— «Раковый корпус», «В круге первом» Солженицына читали?

— Нет, не читал.

— Да что вы?! — не поверил он.— Вам-то ведь доступно.

— Нет, недоступно.

— Ну, а...

— Я считаю унизительным для себя, бывшего солдата и русского писателя, читать под одеялом, критиковать власти бабе на ушко, показывать фигушки в кармане, поэтому не пользуюсь никакими «Ну а...», даже радио по ночам не слушаю.

— И напрасно! Глядишь, посвежели бы! Не впустую, стало быть, молвится, что литература отстает...

— От жизни?

— Хотя бы!

— В том-то и секрет жизни, юноша, что и отставая, она, холера такая, все равно чего-нибудь да обгоняет...

«Парижанин» утомился, я отвернулся и стал глазеть в окошко — всю-то зимушку это нами новорожденное существо таскало крадучись денежки в сберкассу, от жены две-три прогрессивки «парижанин» ужучил, начальство на приписках нажег, полярные надбавки зажилил, лишив и без того подслеповатого, хилого северного ребенка своего жиров и витаминов. По зернышку клевал сладострастник зимою, чтоб летом сотворить себе «роскочную жизнь».

И сотворил! Горсть карамелек по столу нечаянно разбросана, апельсинчик звездой разрезан, «цветок засохший, безуханный» валяется, позолоченная штука, которой что-то и где-то ковыряют, блестит, бутылка заткнута безутечной пробкой, чтобы питье аромата не теряло. Рюмки не стоят — на боку лежат. Коньяк из них следует не лакать, не хлестать, а высасывать, как сырое яйцо. Меня бы и стошнило небось, баринок же этот советский ничего, привычен. Во какие у нас в стране достижения! Во к каким вершинам интеллекта мы подвинулись!

Где-то, поди-ка, был или еще и есть в этом самозабвенно себя и свои культурные достижения любящем человеке тот, который строем ходил в пионерлагере и взухивал: «Мы — пионеры, дети рабочих!..», потом тянул на картошке, моркошке да на стипендии в политехе; где-то ж в костромской или архангельской полуистлевшей деревне, а то и на окраине рабочего поселка с названием Затонный доживает или дожила свой век его блеклая, тихая мать либо сестра-брошенка с ребятишками от разных мужиков — жизнь положившие на то, чтоб хоть младшенького выучить, чтоб он «человеком стал».

Такие уже на похороны не ходят, не ездят. Зажжет интеллектуал свечу негасимую перед «маминой» иконой, то есть из родной деревни вывезенной, с разрешения жены напьется и церковную музыку в записи послушает, скупую слезу на рубаху уронит. Ложась спать, тоскливо всхлипнет: «Э-э-эх, жизнь, в рот ей коптящую норильскую трубу... Отпеть маман просила, да где она, церковь-то, на этой вечной мертвой мерзлоте?..»

— Веки вечные кто-нибудь от кого-нибудь отстает, значит, есть кого и чего догонять. Раз так, общество не слабнет. Вы же слышали: заяц вымирает, если никто его не гоняет,— продолжил умственный разговор все еще куда-то снаряжающийся, все еще чего-то на себе подживляющий хозяин каюты.

— Потрясающее открытие. Может, не самая лучшая, но самая

лукавая за все разумные времена литература не хочет никого обгонять по простой причине, чтоб не показать голого заду.

— А вы — диалектик?

— Еще какой! Я ее, диалектику-то, воистину не по Гегелю, я ее по речам родного отца и учителя постигал. Здесь вот,— постучал я пяткой в пол теплохода,— на берегах родной реки, юноша, на практике осуществлялся его клич: «Самое ценное для нас — кадры!». Заметьте, юноша: не люди, не человеки, а ка-адры! Да уж где-где, но в вашем-то городе солнца эта диалектика получала самое яркое осуществление...

Юноша-мужчина покрылся серостью, румянчик его разом зажух. Он засуетился, захлопал себя по карманам и стриганул вроде бы чего-то искать. Этот закроет амбразуры, недозакрытые нами! Этот заступится за друга, за соседа! Этот перестроит мир!..

Явился мой сосед снова жизнерадостный, бодрый, освеженный енисейскими ветрами. Из-под подушки он выудил маленькую кинокамеру с пулеметным дульцем, пожужжал ею в растворенное окно и, тяготясь молчанием, предложил сходить в салон-ресторан: «Меню там, правда...». Я ответил, что на ресторан у меня денег нет и потерплю я до пристани назначения, там у друга огород свой, картошки не покупные.

— Н-ну, так уж и нету. Вон, говорят, у Шолохова миллионы!

— У вас, юноша, неточная информация! Миллионы — это у детективщиков, например у Василия Ардаматского.

— Ардаматской? Ардаматский? Что он написал?

— «Путь Абая».

— А-а! Да-да. Переводной роман. Я вообще-то предпочитаю иностранную литературу. Французскую в частности. Балуюсь языком. Кесь-кесю, месье? — сверкнул он начищенными зубами.

— Как затянет месье Будервиль — да родную лучину. Как пойдет отбивать трепака — Петипа!..

— Вознесенский?

— Как это вы угадали?

— Ритмика энергичная. И пафос! Пафос!

— Да-а, по пафосу он у нас действительно. Еще Евтушенко мастак по пафосу! Так и рвет рубахи на грудях! На чужих, правда. Здоровый малый.

— Вы знакомы?

— Не сподобил бог.

Тучнеющий, несмотря на гимнастики, юноша-мужчина упорхнул на палубу, резво пробежал мимо окна с выводком девиц, жужжа кинокамерой. На бегу же он просунул руку в окно за бутылкой, сгреб в горсть два апельсинчика. С палубы послышались возгласы, щебет и даже рукоплескание.

Несколько разморенный коньячком и весельем, сосед мой вернулся в каюту, прилег на подушку, полуприкрыл глаза. У меня постель уже изъяли, при этом горничная долго не могла найти полотенца, которым я так и не воспользовался. Свернутое пластинкой, оно завалилось за спинку дивана. Пока горничная возилась, искала полотенце, подозрительно на меня взглядывала, я вспоминал, как в Свердловске знакомый литератор свалился с четвертого этажа в пролет лестницы, угодил задом на решетчатую скамью, побил ее в щепки, сам при этом даже царапины не получил, даже бутылка коньяка в боковом кармане сохранилась, первая мысль у него была земна и до удивления обыденна: «Вот, еще и за скамейку платить придется...»

Моя мысль тоже вертелась вокруг полотенца, за которое я готов был заплатить хоть впятеро больше, чтобы штурман-добряк не получил нагоняй: «Пускаешь кого попало в классы?!» Сосед же мой до самого Парижа — Атаманова (есть такая пристань ниже Красноярска — рядом с какой-то атомной заразой оздоровляются норильские дети в пионерлагерях и нежатся, набираются сил северные «парижане»), так

вот, млея от сладострастия, станет мой «парижанин» до самого Атаманова вопрошать: «Хейли, Апдайк сопрет полотенце?!»

Мимо окон раз-другой белогрудой ласточкой пролетела девица с надменным поворотом головы и треплющимися по ветру волосами, оживленно хохоча. Всякий раз при ее мелькании мимо окна вздрагивали веки моего соседа и плотоядно заваливались вглубь бледнеющие крылышки непородистого носа.

Да-а, крепко я помешал компании норильских интеллигентов культурно отдыхать, крепко!

— Послушайте, юноша! Вот за этим мысом будет остров, потом еще остров, потом заворот в протоку, и я с вами распрощаюсь, извинившись за неудобства, вам доставленные. Но я хотел бы задать вам один вопрос взамен многих вами заданных: вы мне все рассказывали о роскошной жизни в Норильске, о розариях, о бассейнах, о заработках, о фруктах, везомых по воде и несомых по воздуху, даже о французской туалетной бумаге с возбуждающими картинками, но вот о городе, о самой-то его истории — ни звука...

Не открывая глаз, все так же развалисто дыша, юноша-мужчина пожал плечами:

— Разве есть у него история?

Все! Больше ни слова. Есть город Норильск, где венчался, то есть в горзагсе расписался премьер-министр Канады Трюдо, капризам которого надо потакать. У Трюдо надо выпрашивать хлебушек, пусть и за золото. Это вам не советский колхозник, у которого можно забрать все и ничего ему не давать. Трюдо увидел город фонтанов, дворцов, монументов, город трудной, но высокооплачиваемой жизни, город, к которому, минуя сотни поселков и старых приенисейских полуголодных городишек, современные транспортные средства мчат все самое вкусное, модное. Но есть город, о котором не хочет знать и думать этот вот, перенасыщенный информацией, современный строитель передового общества, презирающий литературу за «отставание от жизни», в которой и впрямь больше говорят, постановляют, рукоплещут, пляшут, пьют и поют, чем пашут.

Все так, все так. Но этот сотворитель современной жизни и светлого будущего «прошел» в школе, «сдал» в политехе и прошлую нашу, блистательную литературу. Все прошел, все постиг, что ему нужно для удобства жизни.

История ж его города неудобна, груба. От нее может голова разболеться, от нее задумываться начнешь. А вот задумываться-то этот сладострастник и не хочет. Зачем? Он ждет в каюту ласточку-красотулю, а я тут с «историей».

Да с какой историей!

Вскоре после приключения с карасями и отплытия рассвирепевшего деда в Игарку нас обокрали. В тайге, где на избушке нет даже петли для замка по причине отсутствия лихих людей, — и обокрали.

Судя по тому, что унесено было все съестное, ружья с патронами и кое-что из одежонки, не составляло труда уяснить — сделали кражу норильцы. «Норильцами» тогда звали беглецов из тундры, строивших там город под незнакомым и еще мало кому известным названием — Норильск. Строители проводили самую северную железную дорогу — от Дудинки до будущего города. Дорога эта тут же возникла на всех географических картах. Во всех школах все учителя и ученики охотно тыкали в нее пальцем и с таким чувством говорили о ней, будто сами ее строили, больше же ни о чем не знали и знать не хотели.

На север с весны до поздней осени беспрерывным потоком шли караваны барж с оборудованием, машинами, харчами и живым грузом. Слово ЗЭК появилось потом, тогда же их деликатно именовали переселенцами. Возили переселенцев насыпью в трюмах пароходов и в баржах. Енисей на севере — штормовая река, но конвой, совсем трусливый и подлый, не открывал трюмы, и, достигнув Дудинки, живые люди сгружались на берег с таким облегчением и радостью, будто достигли земли обетованной, новую Америку обживать приехали.

По северу ползли слухи один страшнее другого, однако время было воистину такое, когда словам: «Не верь своим глазам, верь нашей совести» — внимали с детской доверительностью.

Но не бывает дыма без огня и огня без дыма! Вслед за слухами о норильцах поползли и сами норильцы. Шли они сначала открыто и только по берегу Енисея, оборванные, заросшие, до корост съеденные комарами, кашляющие от простуды, с ввалившимися от голода глазами. Упорно, стоически шли и шли они вверх по реке, питаясь подаяниями рыбаков, охотников и встречных людей. Города и крупные поселки обходили, насилий, воровства и грабежа избегали. Еще действовал древний, никем не писаный закон Сибири: «Беглого и бродяжьего люда не пытать, а питать».

В тридцать седьмом году мудрое карательное начальство приняло меры: за поимку и выдачу беглого норильца — сто рублей премии, или поощрения, как туманно именовались эти воистину иудины сребреники.

Спецпереселенцы, коренные промысловики и прежде всего староверы не «клюнули» на тухлого заглотыша, они в таежных теснинах, ссылках и казематах постигали суровые, но неизбежные законы мало защищенной земли. Однако вербованные людишки, падкие на дармовщину, развращенные уже всякого рода подачками, а также наивные северные народы — долгане, иганасаны, селькупы, кето, эвенки,— не ведая, что творят, стали вылавливать «врагов народа» и доставлять их на военные караульные посты, выставленные в устьях глубоких речек.

Озверелые от тоски, вшей и волчьего житья в землянках, постовые конвойники и патрули жестоко избивали пойманных и возвращали на «объекты», где скорым судом им добавлялось пять лет за побег, а герои энкэвэдэшных служб вместе с падкими на вино полудикими инородцами пили до зеленых соплей на деньги, дуриком им доставшиеся, — вино было дешевое, время бездумное, энтузиазму полное.

В середине лета по тихому Енисею плыл плотик, на нем стоял крест, ко кресту, как Иисус Христос, был прибит ржавыми гвоздями тощий нагой мужичонка. На груди его висела фанерка, на фанерке химическим карандашом нацарапано: «Погиб пижон за сто рублей. Кто хочет больше?»

Это был вызов. Война. От селения к селению, от станка к станку ползло: «Вырезали семью долган на острове Тальничном; изнасиловали девку и грудя отрезали; живьем сожгли в избушке баканщика с женой — отстреливался; вышла ватага норильцев на Игарку с винтовками и даже с пулеметом, обложили город, чего-то ждут».

Деревушки и станки, рыбацкие бригады вооружались, крепили запоры, детей перестали пускать одних в лес, женщины ходили по ягоды и на сенокос партиями.

Слухи, слухи! Горазда на них наша земля, однако не очень-то пока им верили.

Но вот наша избушка в устье Демьянова ключа и лихоимство, в ней совершенное, по здешним местам неслыханное. Накладку и петлю в кузнице станка Полой мужики сковали, висячий замок в магазине приобрели. И стала таежная избушка уже не просто таежной, но потайной, человеком от человека спрятанной. Однако замок-то не от лесного варначья — от своих людей защита...

На исходе лета, как всегда недоспавшие, вялые, мы поднялись в четыре утра, чтобы плыть на сети. Зябко ежась, потянулись один по одному из избушки. Было светло. Ночи еще только начинались, стремительные, темные, августовские. Ударил первый иней. Все оцепенело вокруг. На белом крыльце избушки начищенными пятаками лежали желтые листья. За избушкой, в кедрачах, звонко, по-весеннему токовал глухарь. Стукаясь о стволы дерев, падали последние подмерзлые кедровые шишки; по всей округе озабоченно кричали кедровики, с озер доносился тоскливый стон гагары, собиравшейся в отлет.

Первые проблески длинной осени, первое холодное дыхание коснулось тайги, заплыло в ее гущи — скоро конец нашей рыбалке.

Послышался чей-то короткий окрик, я думал, папа решил меня подшевелить, заспешил вниз по тропе к берегу и увидел встречь идущих Высотина, папу, увидел и отчего-то не сразу почувствовал неладное, со сна его не воспринял, не испугался. Папа и Высотин уже у лодки должны быть, собирать весла, багор, иголки для упочинки сетей, запасные якорницы и всякое добро и приспособление. Кто-то, видать, заплыл или завернул к нам, вот они и вернулись. Отчего-то, правда, растерянно крупное лицо Высотина. Папа в дождевике, полы которого касались земли, мели по мху и траве, оставляя процарапанную в инее полосу, суетливая походка его как бы подсечена, замедлена — вроде бы он не идет, только дождевик двигается скоробленно, мерзло пошурхивая.

Папа, уставившись в пространство и не моргая, прошел мимо, ни слова мне не сказав. С похмелья бывает такой отстраненный и сердитый мой родитель. Я даже отступил с тропы, пропуская его. Следом за Высотиным и отцом шли двое. Молодой еще мужик с исцарапанным, щербатым лицом, кустики бровей над светлыми его слезящимися глазами ссохлись от крови. Весь его драный, затасканный облик и различимая под царапинами оспяная щербатость придавали ему свирепый вид. Однако у него была длинная, беззащитная мальчишеская шея, глаза цвета вешней травы, смешные кустики бровей, расползающиеся губы в угольно-черных коростах — все-все говорило о покладистости, может, даже и о мягкости характера этого человека.

Но именно он, этот парень, держал наперевес одноствольный дробовик со взведенным курком. За ним, хлопая отрепьем грязных портянок, вылезших из пробитых рыбачьих бродней, спешил мужик с грязно-спутанной бородой, похожей на банную мочалку, которую пора выбросить из обихода. Глаза его сверкнули из серого, спутанного волосья, забитого мушками, комарами и остатками какой-то еды, скорее всего шелухой кедровых орехов. Он давил обувью тропу, внаклон гнал себя в гору, но ускорения у него не получалось — изнурился человек.

Что-то во мне толкнулось и тут же оборвалось, свинцовым грузилом упало на дно: «Норильцы!».

Я недоверчиво осмотрел вытянувшуюся по тропе артель — сзади всех шел Мишка Высотин и почему-то улыбался. Загадочно. Всмотревшись, я обнаружил: улыбка остановилась на Мишкином лице, и ничего у него не шевелится — ни губы, ни глаза, ни ресницы, ноги тащатся сами собой и тащат его, но он-их не слышит и не знает, шагает ли, плывет ли.

Тут я почувствовал, что тоже начинаю улыбаться неизвестно чему и кому, однако шевельнуться не могу. Но тот, с бородою, пройдя мимо меня, обернулся, махнул рукой и обыденно, по-домашнему позвал:

— Давай, давай! В избушку, малый. Не запирай! — крикнул он Петьке, совавшему дужку замка в петлю; никак туда не попадал он. Петька отступил от двери с замком в одной руке и с ключом в другой, понурился — небось ему казалось: если б он успел замкнуть избушку, никто бы в нее не сунулся.

Возле крыльца, руки по швам, стояли уже Высотин и отец.

Щербатый, теперь заметно сделалось, недавно бритый парень, от-

чего лицо его там, где ничего не росло — на носу, по низу лба и на щеках — было дублено, почти черно; где брито — все в бледном накате. Он встал в отдалении против дверей. Курок у ружья был совсем маленький, откинутый назад,— ружье старое, разбитое — чуть давни на собачку и...

Мне стало совсем страшно, так страшно, что все последующее я помню уже плохо и немо, как будто в глубину воды погрузило меня и закружило на одном месте. Петька теперь уже в руках терзает замок: засунет дужку в щель — замок щелкнет, ключ повернет — замок откроется. Высотин по команде смирно стоит, большой, несуразный; Мишка все улыбается; папа силится что-то значительное вспомнить, ну, например, любимое пьяное изречение: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам».

Бородатый мужик, заметая наши следы лохмами портянок, вскакивает на белое крыльцо, выхватывает у Петьки замок и кидает его в щепу, накопившуюся возле избушки и протыканную иголками подмерзшей травы. Петька пятится, вот-вот упадет с крыльца. Высотин подхватывает его сзади, поддерживает.

Дверь избушки широко распахнута. «Выстынет же»,— хочется сказать мне. В избушке шарится чужой человек. Мы стоим подле дверей, и все та же вялая мыслишка: «Ну выстудит же, выпустит тепло!» — шевелится в моей голове. Бородатый выходит на крыльцо, обращается как Пугачев к народу, он чем-то и похож на Пугачева:

— Ружье где? хлеб?

— Обокрали нас. Ружья унесли,— отвечает четко и внятно папа.

— За хлебом не успели сплавать,— поддерживает его Высотин.

«Что говорит Высотин? Что говорит... Если они поднимутся на чердак? Хлеб у нас там! Он забыл! Забыл! Исказнят!» Тянет исправить ошибку старших, показать чердак. Но мы уже не маленькие — раз Высотин сказал, значит, надеется на нас.

— Весь хлеб на столе,— добавляет Высотин. А на столе у нас с вечера осталось полбулки хлеба, закрытого берестой.

Бородатый знаком показывает всем следовать в избушку. Входим. Чинно, будто чужие, рассаживаемся на нарах: мужики — на высотинские нары, мы, ребятишки, втроем — на наши. В избушке притемнено и не так заметно Мишкину улыбку, постепенно превратившуюся в судорогу. Тяжелее и тяжелее делается у него челюсть, оттягивает и перекашивает в сторону лицо парнишки. Сидим, праздно болтаем ногами. Петька, опершись руками о нары, готовый в любое мгновение вскочить, куда-то броситься, что-то делать.

— Нам на сети пора. Мы ведь на работе,— почему-то гнусаво завел отец,— говорите, чего вам надо?

— Закурить хотим! — В дверях появляется щербатый парень, прислоняет к косяку ружье. Взведенное.

Отец протягивает ему кисет.

— Вы что же это? Своего брата?..— качает он головой.

Бородатый мужик сломал уже несколько спичек.

— Волк — брат! — выхаркнул он из бороды вместе с дымом, цигарка, спешно скрученная, мокрая, расклеивается у него во рту, по бороде потек табак.

Парень, оседлав порог, тоже торопливо закуривает, но цигарку делает толково, туго. И видя, что его связчик цигарку свою совсем загубил, отдал ему свою, себе склеил другую, после чего высыпал в карман из кисета весь табак и молча возвратил кисет отцу, зажав коробок со спичками в кулаке.

— Еще махорка есть?

Будто по команде, все мы вскидываем головы — над нашими с папой нарами, на стене, висит белый, удавкою перехваченный мешочек — в нем спички, махорка.

— Сними! — приказывает бородатый Петьке. Парнишка словно ха-

рюзок вынырнул вверх из темной воды, схватил белый поплавочек, рванул веревочку-леску с гвоздя.

Щербатый парень не глядя бросил мешочек с табаком в свой затасканный холщовый мешок с веревками, приделанными вместо лямок.

— Разувайся! — приказал бородатый Высотину, и тот неловко начал утягивать ноги, обутые в новые резиновые сапоги, под нары.

— Ды что вы, ребята! Мы ж рыбачить... мне ж...

— Разувайся! — вдруг замахнулся и ткнул в грудь Высотина бородатый. Петька шатнулся и взвыл:

— Тя-а-а-а-тяаа!..

Как бы разбив своим выпадом некую еще существовавшую до сей минуты неловкость, сковывающую его, матерясь в бороду, скаля зубы, бородатый заметался по избушке, принялся разбрасывать постеленки наши, залез под нары, выгреб щепу и крошки сена оттуда, с вешалки Петькину телогрейку рванул, потянул на себя — не лезет, скомкал, бросил, выскреб штаны, рубаху из изголовья нашей постели, быстро их на себя натянул, стоял над кучей брошенного на пол тряпья, нетерпеливо перебирая грязными ногами, заранее радующимися теплой, сухой обуви.

— Ну!

Высотин бросил к ногам бородатого сначала один, затем другой сапог.

— Подавись! — громко, с пробудившейся ненавистью произнес он, и папа, битый жизнью и людьми больше, чем Высотин, тут же попытался сгладить эту грубость, что-то забормотал примирительное, взялся помогать мне растоплять печку. А что ее не растопить, нашу печку?! Дрова как порох, бересты сколько угодно. Загудела печка, заподпрыгивала. Оба норильца потянулись к ней.

— Портянки!

Высотин размотал портянки и остался на нарах, большой, весь босый, хотя с него сняли покуда всего лишь сапоги и портянки, казался он донага разутым и раздетым. Костистые большие ноги его вдоль и наискосок перепоясанные бледно-голубыми жилами, выглядели сиротливо, жалко.

Бородатый прямо средь избушки сел на пол и с пыхтеньем обувался. Поднявшись, он пробно потоптался, как дитя, радуясь обнове, притопнул, оскалился, и снова сверкнуло в бороде — зубы у него были молодые, еще не разрушенные, — значит, на севере недавно, оцинжать не успел.

— Ну, че? Всё? Боле у нас брать нечего. Нам на сети надо.

— Не гомони, мужик, сядь! — взяв ружье и устроив его на колени, спокойно приказал щербатый парень Высотину.— Велите одному малому принести рыбы, другому — дров, третьему — раскочегарить печку. Самим сидеть и не рыпаться! Я не конвоир, предупредительных выстрелов не даю.

— Печка топится. И не стращай девку м...ми, она х.. видала! — рыкнул Высотин.

— Хэ, посказитель какой!

— И храбрец... Его бы в Норильск, в забой.

Петька-олух выбрал из бочки, вкопанной в берег, самую отборную, желтым соком исходящую стерлядь, чем привел в неописуемое бешенство бородатого.

— Что за рыба?! Кто такую падлу жрет?! Вся в колючках!

— Уймись! — вскинул руку его спутник. — Нет ли, мужики, щуки, налима?

— Этого добра навалом!

Петька примчал соленого налимища и острорылую, величиной с полено, щучину с тряпично болтающимся выпоротым брюхом.

— Вот это жарево! — довольно потирали руки норильцы.— Это привычно. Жиру бы в нее?

— Будет и жир, только рыбий.

— Это еще лучше. Слепнуть от мошки начал. Доходим.

— И дойдете. Куды-нибудь...

Они едва дождались, чтоб прокипело в противне. Ели рыбу полусырую, не отмоченную от соли. Ели, да что там ели — жадно глотали куски рыбы, парень держал ружье со взведенным курком меж колен, и дуло, когда он клонился к столу, утыкалось ему в подбородок, я, да, поди-ка, не один я, все наши ждали и боялись: вот-вот жахнет и разнесет башку парня вместе с непрожеванной рыбой. Ну, тогда бородатому не жить — Высотин одной рукой его задушит.

Брызнул на печке чайник, наш ведерный закоптелый работяга, радостно посикал рожком.

— Давайте и мы чай пить, раз такое дело! — произнес Высотин. Надернув опорки, в которых ходили мы после сетей по избе и до ветру, снял с гвоздей кружки и хозяйничал возле стола, словно бы и не замечая ничего рядом.

— А ну-ка подвиньтесь, гости дорогие!

— Водочки б к такой-то жарехе! — промычал осоловевший от еды бородатый норилец.

— И бабу на верхосытку! — хитро сощурясь, подхватил мой папа, большой специалист в этом вопросе, и решительно налил полную кружку чаю.

— А че... А че...— не в силах выговорить ни слова от хохота, обрадовались норильцы, но кашель перешел в грудной хрип, и гости начали сморкаться и харкать на пол.

Высотин сморщился — в избушке у нас всегда было чисто.

— В Полое,— кивнул на окно папа.

Норильцы вопросительно уставились на него.

— И бабы, и вино в Полое, говорю, если же по ходу вашему — в Карасино.

— И еще сельсовет, энкэвэдэшники. Ишь ты, гадюка! — погрозил папе пальцем бородатый норилец.

— Не в Полое, не в Карасино, так в другом месте все равно нарветесь,— угрюмо и уже спокойно заключил Высотин и как бы ненароком внимательно посмотрел в окно.

— Че? — вскочил норилец с ружьем.— Че там?

— Да пока ничего...

— А-а, в рот и в...— заругались норильцы, торопясь уходить.

Сбросав недоеденную рыбу в мятый жестяной котел, остатки хлеба, спросив, где соль, насыпали ее и, наказав нам два часа не выходить из избушки — у них тут товарищи по кустам сидят,— торопливо заспешили в поход...

Мы побросали вшивое тряпье и разбитые бродни норильца в печку. Из трубы повалил жирный дым, в избушке сделалось душно. В большой кружок и в щели печки выбрасывало чадный запах.

Петька нашел в траве, все еще ломкой от инея, замок и ключ. Мы заперли избушку и спустились к лодке. Высотин в опорках был похож на какую-то нелепую, начатую с ног, но не дощипанную птаху. Мужики прятали от нас и друг от дружки глаза. Молча спихнули мы нашу ходкую и легкую лодку, на бортах и на дне которой уже отмяк и потемнел иней. Навесили лопашны, подколотили уключины. Проверив, все ли взяли, молча же, не глядя друг на друга, по реке, с ночи усмирелой и какой-то отчужденной, холодной, с вроде бы отдалившейся от воды белесой землей, медленно плыли мы от берега.

Отплыли мы далеко, когда сделалось видно: по вдавшемуся в Енисей песчаному мысу двигаются две человеческие фигурки, медленно удаляясь. Но вот на горизонте замаячил катерок или пароходишко, фигурки людей замерли и тут же исчезли в прибрежных тальниках.

...Появился у нас крючок на двери избушки, кованый, зацепистый.

Дождливой сентябрьской ночью, когда все вокруг лежало в тяжелой бездонной тьме и только печка в нашей избушке разухабисто ухала, будто играючи одолевала подъем в гору, дверь нашей избушки дернулась и в петле шевельнулся железный крючок.

Мужики рассказывали всякую всячину. Высотин много знал сказок и что-то как раз жуткое да чудовищное повествовал нам, парнишкам,— мы и орехи перестали щелкать со страху.

Все разом мы уставились на дверь, против которой мелькало огнем устье за лето изгорелой железной печки. И не только крючок, но и темные росчерки щелей на рассохшейся двери было отчетливо видно.

Крючок еще раз слабо дернулся, подпрыгнул в петле, но был он ловко загнут — из петли не выскочил.

— Кто? — вполголоса спросили мужики, вытаскивая из-под изголовий топоры, парнишки схватились за ножи — так уж у нас уговорено было: если еще раз сунутся норильцы, мужики становятся по бокам дверей, мы приседаем на пол, и пусть они входят в темную избушку, сколько бы их ни было — мясо сделаем!

За дверью не отвечали и не шевелились.

— Кто? — уже громче повторил Высотин и помаячил нам, чтоб мы не швыркали носами. Конечно же, мы и без того не дышали, и мне, да и Петьке с Мишкой, наверное, от задержанного в груди дыхания нестерпимо хотелось закашлять, кашель поднимался все выше, выше, подходил к самому горлу.

— Пустите, пожалуйста, люди добрые! — послышался за дверью тихий голос, в глуби которого угадывалась напряженность и тревога, а по верху скользило вековечное страдание бездомной души.

— Кто ты?

— Беглый я.

— Час от часу не легче!

В печке ворохнулись, затрещали и рассыпались головни. Избушка погрузилась в полутьму, сделалось слышно дождь за стенами, дребезжание составного стеколка в окне.

«Окно! Нас застрелят в окно!..»

Печка оживала, начинала махать желтеньким флажком из дырявой дверцы, обрастать горящими травинками по бокам и трубе.

— Надо печку залить! — прошептал Мишка и стал подкрадываться к чайнику, стоящему на краю печки, распространяющему горьковатый, прелый запах шипичных корней, смородинника и зверобоя. На пути к печке Мишку перехватил отец, засунул его себе за спину, в темень, и, как бы ненароком задев о сухую лиственничную стену звонким топором, грубо и в то же время просительно бросил:

— Уходи давай! Уходи!..

— Пустите, добрые люди. Пропадаю,— отчетливо и совсем близко произнес беглый с тем спокойствием, с той горечью в голосе, какая дается лишь людям, и на самом деле пребывающим на краю гибели, либо великим артистам. Может, беглый и есть артист? Черт его знает — их там, в Норильске, сказывают, всякой твари по паре.

— Не открывай! — прошелестело разом из трех ребячьих одеревенелых ртов.

Но кто же слушает ребят, тем более в таком крайнем положении!

— У нас уже побывали гости, обчистили, обсняли. Нечего брать... — подал голос мой папа, и в голосе этом послышалось мне колебание и неуверенность.

— Ходите тут!..— поддержал его еще более неуверенным голосом Высотин.— Сколько вас там?

— Один я. Один! — голос беглого слышался где-то внизу, и не сразу, но мы сообразили, что он от дверной скобы сполз на доски крыльца и лежит под дверью.— Не граб... не граблю я... не мародерничаю...— голос рвался.— Миром и богом спасаюсь...

— М-ми-иром,— слабо буркнул Высотин.— Знаем мы теперь, каким миром-то!..— Высотину казалось, должно быть, что говорит он тихо, себе под нос. Но тот, за дверью, был чуток, расслышал все и что-то хотел возразить, да вдруг разразился долгим, затяжным кашлем, и колени, сапоги ли, может, и голова его бились, стучали об дверь. Кашель перешел в хрип, в сиплое удушение. Стараясь наладить дыхание, сделать уверенным голос, беглый посунулся за дверью:

— Я не х-хэ... их-хэ... ух-уду... кх-харр...— он отхаркнулся и все еще хрипло, но уже отчетливей сказал, преодолевая одышку: — Не уйду... Я на чердак... подожгу. Нет выхода...

На чердак! А на чердаке-то мешок с хлебом, кедровый орех насыпью и в бочках. Крыша сухая, слеги сухие, береста ворохами запасена, корья полно. Окошко в избушке узкое. Дверь подопрет злодей — не выскочить. Мы, парнишки, может, и... А мужики...

Беглый не торопил нас, давал время обдумать его угрозу, взвесить все. Высотин мотнул головой, отец подвинулся к двери, взялся за крючок. Высотин, распластавшись по стене за косяком, поднял топор.

Вот тогда я до глубины души осознал часто встречающиеся в книгах слова: «Секунды показались вечностью...». Пока отец вынимал крючок из петли, во мне до того все напряглось, что где-то в ушах или выше ушей тонко зазвенело, звон становился все гуще, все пронзительней, будто погружался я без сопротивления и воли в водяную беспробудную глубь.

Вынув крючок из петли, отец, как драгоценность, без стука и звяка опустил его на косяк, вдруг изо всей силы пнул дверь и отпрянул в сторону, тоже приподняв блеснувший в темноте топор.

С улицы дохнуло дождливой холодной мутью, устойчивым духом мокрой кедровой хвои и запревающего палого листа.

В проеме двери никто не появлялся. Было пусто, безгласно, недвижно на дворе, и только, воедино соединенная, шепталась беспокойная тайга под ветром, полосами хлестал в стены дождь, лился с желобков тесовой крыши в выбитые и уже полные от капель канавки вдоль завалины избушки. Но звуки струй, слитный шум леса, шорох затяжного дождя, смывающего с деревьев листья, стук капели, падающей с крыши, нам привычны, как привычна бывает тишина в своей обжитой избе, они не мешали нам слышать и узнавать всякое другое движение, даже малейший треск и шорох в ночи.

— Не дурите, мужики,— раздалось под дверью,— уберите топоры...

Я крепче сжал деревянную круглую ручку ножа, хотя не знал еще, как это я могу им пластануть человека, если он нападет на меня, почувствовал, как остальные обитатели избушки тоже сжали оружие свое, хотя, как и я, тоже не ведали — посмеют ли рубануть или ткнуть человека, надеялись, что это получится как-то само собой.

На пороге избушки возникло что-то лохматое, темное, перевалилось через преграду, поползло к дверце печи, упало со стоном, с подвыванием возле нее и лишь какое-то время спустя выдало звук:

— За... за... закройте!

Беглый просил закрыть дверь, значит, и в самом деле был один.

Закрыли двери, зажгли лампу, подбросили в печь дров.

Возле печки нахохлился серой, полуощипанной вороной человек, почти обнявший железную коробку, почти упавший грудью на плоский ее верх. На лиходея он не походил совсем.

Под беглецом скопилась и потекла к порогу избушки лужа. От ремков беглеца, от серой матерчатой шапки, даже от волосьев, затянувших лицо, валил пар. Реже, реже, но все еще звучно выстукивали зубы. Не сразу, не вдруг приходил в себя гость; и первое, что увидел и услышал,— чайник, сипящий на печке. Он прижал к чайнику ладони, но кипятку попросить не смел. И не знаю отчего — от жеста ли этого просительного и жалкого, от рванья ли нищенского, от жалости ли моей природной — пропали во мне страх и злость. Я сунул ножик под

постель, взял кружку со стола и, сторонясь беглеца, стал цедить чай из рожка обгорелого чайника.

И пока лилась горячая струя в кружку, беглец не сводил с посудины глаз, а я с него, но разглядеть особо ничего не мог, лишь большой мокрый нос, как бы отделившийся голым утесом от загустелого чернолесья, крупные, в кистях худые руки да мертвецки усталые, то и дело смежающиеся, воспаленные, иссеченные ветрами зеницы, не глаза, а именно зеницы, как на старой иконе, глубоко завалившиеся в копотную темь.

Я думал, он выхватит у меня кружку, расплескает чай. Но беглец обхватил посудину, будто цыпушку, ладонями и, что-то угадав во мне или поощренный моим поступком, поскреб друг о дружку губами, сплошь покрытыми трещинами и болячками:

— Хлебца!

Я взял со стола краюшку хлеба, заглянул в прикрытый берестой противень — в нем еще оставались хрящи от стерляжьей головы, крылья, рыбье крошево, да и жижа не была вымакана кусками — из-за дождя и ветра на сети мы не выплывали уже два дня и аппетит наш поубавился.

«Везет дяденьке!» — отметил я про себя и отнес еду к порогу, сунул под нос беглому, как бы недовольно и в то же время думая: так ведь, у порога-то, нищим подают. Мне отчего-то сделалось неловко. Но беглому было не до чувствий и не до условностей.

— Храни тебя бог, дитя, — молвил он и, рванув зубами кус хлеба, шатнулся, застонал. Коркой поранило ему губы, окровенило десны, догадался я и подал гостю деревянную ложку. Он бережно заприхлебывал жижицу из противня, покрошил туда хлебца, запохрустывал стерляжьими хрящиками.

Ни взглядом, ни словом не осуждали меня мои соартельщики. Они сидели по нарам молча и праздно.

Пришелец быстро справился с едой, сделался совсем недвижен; сидя все так же на кукорках, горбясь у печи, он казался безногим.

— Спасибо, добрые люди! — наконец послышалось от печки.

Мы вздрогнули и пошевелились. Нам казалось, что беглец уснул.

— Не бойтесь меня. Я мирный человек, хотя и был военным.

— И ты нас не бойся. Ложись где-нибудь и спи. Ребятишки в печку подбрасывать будут. Потом ступай с богом,— отозвался за всех Высотин.— А что сторожились, дак не без причины. Обобрали нас тут недавно, двое...

— Двое?! — беглец неожиданно резко повернулся от печи и сморщился, должно быть, свет лампы резанул его воспаленные глаза.— Один с оспяным лицом, молодой, вооруженный? Другой бородат, вроде меня замызган? Злой? Хваткий?

— Оне.

— Живы, значит. Идут. Двигаются... — беглец помолчал, покачался на кукорках, затем, по-стариковски опираясь руками о колени, поднялся.— Ой, хорошо, мужики, что не затеяли вы противоборства! Лихие это головорезы. Страшные люди. Они б их,— кивнул он на нас, парнишек, сидящих рядком на нарах,— они б и детей не пощадили...

Беглец уже осмысленно, с чувством даже какого-то отдаленного достоинства, попросил закурить, затем, если можно, попросил затопить баню.

— Я ведь понимаю, все понимаю,— пояснил он.— Улягусь тут, вы из-за меня бодрствовать станете... А я в баньке... вы меня подопрете — и вам спокойно, и мне безопасно... Снеси дров, милый мальчик,— обратился он ко мне. Пошевелился, поворочался на месте, будто отаптывал себе место, повременил, подумал и глухо, пространственно уронил: — Пока баня греется, я расскажу вам о себе и о тех двух...

— Как уже имел честь сообщить вам, в прошлом я военный. Звание мое полковник,— спустя время начал рассказ беглец, неторопливо и раздумчиво, в расчете на длинный разговор,— хотя смолоду пророчили мне сан священнослужителя. Но так повернулась судьба: вместо семинарии — военное училище... Похлопочите, похлопочите, ребятки,— сказал он мне и Петьке.— Я подожду, не буду рассказывать — вам на будущее следует знать то, что я поведаю...

Пока мы с Петькой таскали дрова в баню и затопляли каменку, беглец успел вздремнуть и совсем уже ободрился, лишь кашлял затяжно, надрывно, но, судя по всему, здоровый был человек, тренированный и стойкий.

— Не случись революции, быть бы мне попом, приход бы получил, скорее всего сельский, как мой покойный батюшка. Однако же не одна моя жизнь и судьба приняли тогда немыслимо крутой поворот, не один я взорлил и из кандидатов в тихого, прилежного семинариста оборотился вдруг рубакой-кавалеристом. Самим Семеном Михайловичем замечен был, орденом награжден и определен в военное училище. Затем направлен на Дальний Восток, однажды был ранен в схватке с перебежчиками. Ранение с виду не опасное, однако сухожилие на ноге перебито. В госпитале я получил второй орден Красного Знамени, но вышел оттуда хромым, ни к какой полезной деятельности не пригодным, потому как всю свою молодость провел в седле и обучен был только военному делу.

Какое-то время я болтался без дела, подумывал уж махнуть на одну из новостроек, обучиться там какой-либо профессии и начинать жизнь заново. Но в это время затеялось укомплектование военных округов, и я был направлен в Киевский военный округ, получил там должность в одном из отделов, ведающих военной тактикой кавалерийских подразделений.

Увы, тактика эта, как скоро обнаружилось, со времен гражданской не менялась, и ни у кого не являлось пока желания менять ее. Холили коней, рубили лозу, лихо скакали с саблями наголо и пели песню: «Никто пути пройдённого у нас не отберет, конница Будённого — дивизия, вперед!..».

В странах Антанты тем временем строились авиационные и танковые заводы, в Германии фашисты взяли власть в руки. Тревожно кругом, у нас же в частях все еще идет праздник, все еще песенки да победные речи...

Словом, после инспектирования кавалерийских и взаимодействующих с ними частей я выступил на Военном совете округа с критикой. Меня попросили изложить мое «особое» мнение письменно, что я и сделал незамедлительно. Тем временем начались летние маневры. В качестве военного советника я был представителем в конном корпусе, которому надлежало проделать глубокий рейд в тылы «врага».

Комкор, бывший царский офицер, был человеком с военной выучкой, подкован на все четыре, как говорится, и тактически, и практически, в гражданскую войну доказал честность свою и храбрость. Но среди помощников его, особенно среди командиров эскадронов, все еще было много народу, умеющего лихо рубить шашкой и кричать «ура», но не привыкшего шевелить мозгами.

Неразберихи, разброда было уже много и в начале рейда, карты, да и те допотопные, перекалькированные еще с карт империалистической войны, были лишь у командиров соединений и полков, эскадронным карт не досталось. Они особо и не горевали, заверяя, что и по нюху все «зроблят як трэба». Но «нюх» у многих уже притупился, да и заданная скорость маневра была уже не дедовская. В первые же сутки мы потеряли несколько эскадронов, но времена мирные, война «игрушечная» — не пропадут, решили мы, подзабыв, однако, что люди всюду навострены насчет шпионов, врагов внутренних и внешних, насчет внезапного нападения. Наши «бродячие» эскадроны, а количество их воз-

растало с каждым днем, вместо выхода «в тыл врага» угодили на минные поля — маневры были приближены к боевым, мины ставились с запалами. Многие старые рубаки мин и в глаза не видели. Началась паника, потеряны лошади, несколько человек погибло, раненые были, но главное — мы сорвали «операцию». Взаимодействия никакого с танковыми соединениями не наладили, внезапным появлением бродячие конники перепугали танкистов, и те уж кое-где боевыми снарядами палить по ним принялись...

Командир корпуса, начальник штаба корпуса, начальник политотдела, как и председатель Военного совета округа, были разжалованы и отданы под суд. Троих приговорили к пяти годам, меня, за мое письменное «особое» мнение, сеющее безверие в рядах Красной Армии, удостоили десяти. Во всем округе, во всей армии тоже вдруг пошла «чистка» и не остановилась, слышно, по сию пору. Много военного люду, затем и гражданского пошло и поехало по этапам — насыпью в вагонах, навалом в баржах.

В Сибирь зимой в вагонах везли, раз в сутки воды давали, об еде и говорить не приходилось. По очереди ржавые вагонные болты лизали — в куржаке они были, обмерзлые, кожа с языков обрывалась.

Весной в Красноярске погрузили нас на баржи, без нар, на голом дощатом настиле, под которым плескалась вода, и повезли на север. Из «десятки» знаменитой старой баржи, в которой поочередно возили на север то картошку, то людей, шкипер и охрана лениво откачивали воду, настил заливало, и мы спали тогда стоя, «обнявшись, как родные братья». Кормили раз в сутки мутной баландой и подмороженным картофелем. На палубу нас не пускали, и оправлялись мы в бочки, которые погружены были вместе с нами, под рыбу. Где-то, на какие-то уж сутки, не помню, начался шторм, нас било бочками, катало по утробе баржи, выворачивало наизнанку. Мертвецов изломало, изорвало в клочья и смыло месиво под настил.

Почти месяц шли до Дудинки. Наконец прибыли, по колено в крови, в блевотине, в мясной каше, и голый берег заполярный показался нам землей обетованной, поселочек и пристань Дудинка с вихлястыми, мерзлотой искореженными деревянными домишками — чуть ли не раем господним.

Нас погнали в глубь тундры пешком. На пути мы стали встречать бараки, будки, людей, пестро одетых, которые делали полотно для железнодорожной линии. «Ну, брат,— сказал я себе,— отмахался сабелькой! Не все ломать, надо когда-то и строить...»

В тундре, на берегу небольшой речки, меж озер и болот стояли бараки, много бараков, стояли дома, несколько двухэтажных, один даже с красным флагом на коньке! — это и было начало будущего города Норильска.

Увидел я красный флаг, жилье увидел, людей, огни и, знаете, как-то успокоился даже. Раз так судьбе угодно, буду строить, буду хорошо работать, мне это зачтется и я освобожусь досрочно. Так было — рассказывали заключенные — на Беломорканале. Вместо пяти лет строили канал два с половиной года, и все, оставшиеся в живых, были освобождены...

— Да вот маловато их осталось, живых-то, — неожиданно подал голос мой папа — герой-строитель великого канала.

— Что вы сказали? — приостановил свой рассказ норилец.

— Мало, говорю, в живых-то осталось. Там, в камнях и глине, лежат... Давай, давай...

Гость помолчал, подумал, подлил в кружку чая, отглотнул.

— М-да. Словом, надо нести свой крест, тем паче крест мой не такой тяжкий, как у людей семейных, пожилых.

Первый и второй год на стройке было терпимо. Зоны общей еще

не было. Заключенные будто на выселении находились, в бескрайних холодных просторах. Обходились и с топливом — сами его запасали. Нельзя было и на питание жаловаться. Но разрасталась стройка, наплывало все больше и больше людей, тесно им становилось и в просторной тундре. Уркаганы, бандюги, жулье, рецидивисты начали объединяться и подминать под себя всю здешнюю жизнь, терроризировать население, которое худо-бедно сколотило городок, перекинуло из тундры к берегу самую северную железную дорогу.

Конечно же, цинга, простуда, обвалы в карьерах, метели, морозы уносили людей, но повального падежа все-таки еще не было. Да где-то и кого-то не устраивали темпы нашего строительства, и жизнь наша не устраивала, точнее — обострялась и обостряется международная обстановка, нужна наша руда, нужен металл. Руководство стройки перешло в одни руки. Один свободный человек, как император всея тундры, скотов и людей, в ней обитающих, правил всем. Человек он не простой, а золотой, достойный выкормыш тех, кто его взлелеял и воспитал по принципу: лес рубят — щепки летят!

Нормы выработки, и без того высокие, подскочили вдвое. Еда — согласно выработке. Отдых — согласно выработке. Никаких актированных дней, никаких болезней и жалоб. На работу! На работу! На работу! Кубики! Только кубики! — больше никаких разговоров. Строительство жилья было заторможено. Новая больница, уже наполовину построенная,— заброшена. В бараках народу — не продохнуть. Кашель, стоны, драки, резня, воровство и лютый конвой: при малейшем неповиновении — прикладом в зубы, за сопротивление — пуля. Отчет один: «За попытку к бегству!..»

Куда? Какое бегство? Разве можно оттуда убежать? До Дудинки — сто километров, до магистрали — две с лишним тысячи. А начальник строительства требует продукции, на каждой оперативке брякает кулаком по столу: «Нам завезли достаточно человеческого материала, но добыча руды тормозится. Доставленный на всю зиму, человеческий материал несоразмерно убывает, и если так будет продолжаться, я из вас самих, итээровцев, вохры и всяких других придурков, сделаю человеческий материал!»

Много людей пало в ту зиму. Но с весны караван за караваном тащили по Енисею вместо убывших на тот свет — свежий человеческий материал. По стране катилась волна арестов и выселений, массовых арестов врагов народа, кулацких и других вредных элементов.

Не знаю что, но что-то подсказывало: будет на нашей стройке еще хуже и тяжелее. Предчувствие меня не обмануло. Норильским рудникам поступило указание увеличить добычу руды, следовательно, расширить и строительство рудников, довести трудовой энтузиазм до наивысших пределов. «Слышите: песнь о металле льется по нашей стране! Стали, побольше бы стали! Меди, железа — вдвойне!» — взывало радио.

Император всея тундры, я уже говорил, человек не простой, а золотой. Умен, изворотлив, да ум у него дьявольский! Как бывший геолог, он хорошо знал палеонтологию, понимал, что «щепки», которые летят в его владениях и падают на землю, не гниют в вечной мерзлоте, бальзамируются, как мамонты, могут пролежать в ней века. Если их найдут потомки? Что о нем, таком знаменитом, орденоносном руководителе, станет история говорить? Ну, может, и не этот, может, более простой мотив им руководил — хоронить в мерзлоте трупы трудно, много людей отвлекается с основных работ на пустяковое дело.

И создал он похоронную команду из людей, крепких еще телом и нутром.

Ночью, а ночь у нас всю зиму подлинней, чем здесь, под Игаркой, мы грузили трупы, вытащенные из бараков, на балластные платформы, присыпали их снегом или тем же балластом и отвозили в Дудинку. Здесь перегружали на подводы и лошадьми переправляли на острова-осередыши. Простой, но иезуитский расчет: вешним разливом острова

покрываются водой, и все с них смывается, до белого песка. Населения в низовьях Енисея почти нет, то, что есть, из инородцев, переселенцев, зимовщиков, приучено ничему не удивляться, помалкивать. Просторы енисейские в низовьях так широки, так разливисты, что растащит батюшка-Енисей покойников по низинам, впадинам, по кустам и тундрам, там кого рыбы в воде иссосут, кого птицы расклюют, кого зверьки догложут.

Летом начались побеги. Первые. Пробные. Случалось их мало, и почти все бежавшие погибли в тундре, но часть, хоть и малая, к зиме переловлена была и возвращена. Беженцам добавляли пять лет и отправляли работать в мокрые забои. Однако они, эти первые, самые безумные и храбрые беглецы, рассказали, как бегали, куда бегали, и своим опытом, ошибками своими учили, как не надо бегать.

Еще зимой я задумал побег, начал к нему готовиться — и это спасло меня от помешательства. Вы помните, какая нынче была весна — длинная, нудная, рано началась — на позднее навела. То польет, то заморозит. Трупы — количество их за эту зиму неизмеримо увеличилось — смерзлись, ледяная спайка не распалась под напором воды, и когда острова объявились на свет божий — горы трупов, только уже замытые тиной, мусором, издолбленные льдинами, — остались лежать на месте.

По Дудинке и дальше — от рыбаков на катера, с катеров на пароходы, с пароходов по реке — пополз и начал распространяться ропот. Поговаривали, что вот-вот нагряиет высокая, чуть ли не правительственная комиссия.

И она в самом деле нагрянула, но к этой поре уже все трупы были изрублены топорами, издолблены ломами, кайлами, острова от них очищены. А дальше уж поработал Енисей-батюшка — залил, унес, замыл, заилил все следы преступления.

Я к той поре из похоронной команды был переведен с помощью одного знакомого зэка на пекарию — рабочим. Говорили, что несколько человек сошли с ума, но я в это как-то уж и не верю. Похоронной команде давали дополнительный паек за «вредную работу», по булке хлеба давали и осьмушке табаку. Я сам видел, как, усевшись на кучу мертвецов, отупевшие люди ели тот хлеб, курили махру и не морщились. Да и что им страдать, когда они перевидали такое, что страшнее кошмарных снов и всякого, даже самого больного воображения.

Наш ученый император хоть не довел дела до людоедства, очень нужна была стране норильская руда, и снабжение, если б его упорядочить — не давать распоряжаться продуктами уркам, вполне бы сносное было, но «бывалые люди» рассказывали, будто на Колыме, на Атке, покойников сплошь закапывали без ягодиц — ягодицы обрезались на строганину потерявшими облик человеческий заключенными.

У нас похитрее и половчее все было. Опыт Соловков, Беломорканала, Колымы, Ухты, Индигирки успешно перенимался и применялся здесь новаторски: осенью, уже по первым заморозкам, из всех бараков, санчастей, из больницы разом были вычищены все доходяги, придурки, больные, истощенные зэки — тысячи полторы набралось. Им было объявлено — они переводятся на Талнах, где условия более щадящие, нет пока рудников и шахт, строится новая зона и посильный труд там, почти без конвоя, почти на воле, осуществляется, как в первые годы здесь, в Норильске.

Их вели через тундры, по хрустящим лишайникам, сквозь спутанную проволоку карликовых берез и ползучего тальника. За ними тянулся красный след растоптаных ягод — брусники, клюквы, голубичника...

Воспитанные на доверии к человеку и вечном почитании властей, больные, выдохшиеся люди не сразу заметили, что малочисленный конвой куда-то испаряется, исчезает, и когда спохватились — ни стрелков, ни собак с ними не было, и никто никогда уже не узнает, как ушли в тундру и исчезли в ней полторы тысячи человек, навсегда, бесследно.

— Какой изощренный ум, какое твердое сердце надо иметь, чтобы таким вот образом избавиться от нахлебников, не долбить зимою ямы под эти полторы тысячи будущих покойников...

— Я иногда радуюсь тому, что не стал священнослужителем. Как бы я молился богу, который насылает на нас такое? За что? Разве мы более других народов виноваты в земной смуте? Или нас бог карает за покорность, слепоту, за неразумный бунт, за братоубийство? Может, господь хочет нас наглядно истерзать и измучить, озверить, чтобы другие народы забоялись нашего безверья, нашей беспутости, разброда. Мы жертвы? Мы на заклании? Но, господь, не слишком ли велика твоя кара!..

Что-то забилось, заклокотало в груди беглого. Отвернувшись в угол, за печку, он разразился кашлем или рыданиями. Приподняв пихтовый веник, долго отхаркивался, сморкался в мусор, за печку, и, отдышавшись, перехваченным голосом просипел:

— Простите! Может быть, и не следовало при детях... Но им расти, им жить. Кто-то ж должен знать, что здесь происходило. Что мы сотворили. Как героически осваивали север. Спрячут ведь, спрячут мерзавцы свои преступления. Заметут свои следы. Замолчат. Хотя нет! Не-ет, не-э-эт! Не спрятать, не замолчать!.. Император римский, Нерон, вон в какие времена жил и творил, но дошел до нашего времени с нашлепкой «Кровавый». Кро-ва-вый! Хотя за душой его триста, что ли, погубленных душ. По сравнению с тем же начальником нашей стройки — современным императором всея тундры, Нерон этот — дошкольник, октябренок! К-ха-ка-ха!.. Позвольте мне еще табачку, дыхание...

Беглый норилец закурил, покачался возле печки. Я подбросил в нее дров. Окно уже начинало сереть от небесного света, восходящего над тайгой, но все чикали по окну капли, будто гвоздики по шляпку в стекла входили, оставляя светлые, тут же затекающие царапины на окне.

— Утомил я вас. Ложитесь-ка спать и меня спроваживайте в баньку.

— Да нет,— шевельнулся на нарах Высотин.— Какой уж тут сон?! Говори дальше. На сети нам сегодня не попасть. Ветрено.

И, как бы удостоверяясь в этом, он глянул в сырое окно, и все мы услышали, как гуднул на крыше ветер, хлестанул замокшей кориной по слеге, сыпко полоснул в стену пригоршней мелкой дроби. По-шаманьи зловеще, пространственно-жутко гудела вокруг нас тайга, соединенная с небом, набитым низкими текучими тучами. Трудно, почти невозможно было представить, что где-то в этом океане, непробудно-темном, в бездонности его и в безбрежности, прячутся маленькие одинокие люди.

Почти без надежды на волю и спасение, бредут они и бредут по ней к цели, ими намеченной.

— Мы вышли из Норильска втроем — люди все свои, телом и духом крепкие. Вышли с единой целью и надеждой — добраться до Москвы, добиться приема у Сталина или Калинина, рассказать о том произволе, какой творится на нашей новостройке. Уходили ночью по одному в глубь тундры, к тайникам, сделанным еще с зимы. Место сбора мы назначили на одном из притоков Енисея. Через несколько дней мы благополучно встретились. У нас был порядочный запас продуктов, что-то похожее на палатку, сшитую из мучных кулей и куска брезента, три топора, ножи и даже половинка пилы. Кроме того, у нас была, хоть и худо скопированная, карта тех мест. Мы должны были выйти на магистраль, и вышли бы, я думаю, да беда подстерегала нас на первом же отрезке пути.

Главной задачей нашей было пока что выйти к Енисею и продолжить путь вверх по его течению. Две с лишним тысячи километров! Мы были взрослые люди, понимали, что это такое. Догадывались — не все дойдем, но, может, хоть один дойдет. И то ладно. И то победа. Но предположить то, что стряслось с нами сразу же,— никто из нас даже в самые тяжелые минуты раздумий, даже в жутком сне не мог...

Беглый докурил цигарку, смял ее о порожек печки и задумался, глядя на огонек,— он очень любил смотреть на огонь. Привычка уже давняя, самим им не замечаемая.

— На речке мы сколотили плотик и, спокойно погрузившись, поплыли по большой воде, радуясь тому, что порядочное расстояние нам не топать по мокрой и глухой еще тундре, да и находиться будем мы в стороне от всяких патрульных и сторожевых служб.

Плыли день, погребаясь где веслами, где шестами попихиваясь, впрочем, по вздутой весенней реке нас и без того несло бойко. Но нам хотелось скорее, скорее вперед! И когда понесло нас совсем хорошо и под плотом заплескалось, забурлило, мы никакого значения тому не придали — по нашей примитивной карте, эта, почти еще неизученная местность была голой, ровной и безопасной во всех отношениях. Но к реке отклонялся один из отрогов горного хребта Путорана, о котором мы слышали, что он есть где-то, но что так далеко отклоняется — предположить не могли. Словом, на ровной этой вертлявой речке оказались пороги, и заметили мы их — люди сухопутные — уже тогда, когда сделать ничего было невозможно. Плот наш закружило, понесло в пороги. Шум и гул стояли вокруг, вода втягивалась в каменистое промежье и падала куда-то вниз. Я велел товарищам лечь, схватиться за бревна, и сам сделал то же. Но мы не удержались за бревна, плот наш развалился, рухнув по стене воды в громадный, дымящийся, белой пеной кипящий котлован. В меня ткнулось бревно, я за него уцепился, и меня закружило по этому глубокому котловану, берега которого отвесной стеной стояли над рекою. Показалось, что под скалою пробкой выпрыгнул наверх окровавленный человек, вскрикнул и исчез. Держась за бревно, я подгребся одной рукой к тому месту, но ничего там не увидел, и сам уже был плох — ледяная вода пронзала до костей.

Тут я вспомнил про бога — если он не забыл совсем про нас, грешных его рабов, пусть обернется ликом к одному из них и поможет ему. Молитва божья, судьба ли продлили мою жизнь. Меня выволокло на свет белый. Очнулся на каменном приплеске и глаза в глаза встретился с чьим-то очень пристальным взглядом. Я застонал и сел, от меня отпрыгнул песец, тощий, в клочьях линялой шерсти. Прикормились на человечине здешние зверьки. Этот нюхал и ждал, когда меня можно будет начать.

Я околел бы в ту ночь, если б один из нас не догадался залить варом, залепить древесной смолой по спичечному коробку. Мне удалось развести костер уже в потемках, и не костер — огонек из берестинок, ломаных палочек, ободранных сучьев, собранных в камешнике. Немного обогревшись, я бродил по приплеску берега и в расщелинах меж камней насобирал плавника, еще сырого, но гореть с подсушкой способного.

У костра я обмыслил свое положение, посмотрел, в чем и с чем остался — сапоги, тюремная куртка и штаны, рубаха, белье — вот такая со мной и на мне осталась одежда. Даже шапки нет. В кармане куртки пара удочек, иголка с ниткой, воткнутая в отворот карманчика, кусок полуразмокшего сухаря, горсть мокрого табаку и клок раскисшей газеты, которую я тут же принялся сушить.

Всю ночь я напряженно ждал крика, шагов по камням к костру. Мне не хотелось верить, что друзья мои погибли. Хоть один должен уцелеть. Утром я двинулся по берегу и обнаружил одного из моих товарищей по несчастью. Он лежал возле воды, с перебитыми ногами, проломленной головой и был еще теплый. В кармане его было две удочки, коробок спичек, складной ножик, иголка с ниткой, банка с табаком и кусочек размытого сахара в уголке брючного кармана. Я похоронил товарища в камнях, плотно завалил его плитами, чтобы не съели труп песцы, попросил прощенья за то, что оставил его лишь в одном белье, и еще ночь просидел возле порога, ожидая второго товарища.

За это время я соорудил из рубахи товарища мешок, из портянок сшил что-то вроде шапки, лямки к мешку приделал и, сложив в него сапоги и костюмчик покойного, который я надевал лишь к ночи, двинул сначала по берегу реки, затем на солнце, все ярче с каждым днем разгорающееся.

Вдоль реки меня не пустили идти глыбы натолканных льдов, вздувшиеся ручьи и глубокие старицы; остановило вольно сияющей, куда попало бегущей снежной водой.

Через два дня я снова вышел к той же реке, к тому же порогу. Я кружил по тундре, по редким ее островкам, однако не напугался, не приуныл — что-то уже обжитое, притягательное было для меня на этой реке, в этих бездушных камнях, да дрова здесь были, да и находки, так меня радующие, попадались. Легши на холодный камень, я глядел со скалы вниз и сначала увидел надетый на каменья дождевик, затем косяки рыб и под ними зеркально мерцающий предмет — это либо фляга со спиртом, либо котелок, столь мне необходимый. Я мог разбиться, утонуть, схваченный судорогами, но предмет этот должен был достать.

И нырнул. И достал! И что бы вы думали достал? Топор! Я так ему обрадовался, что даже расплакался и сказал себе, что с топором-то я не пропаду, но больше всемилостивейшему богу докучать не стану, буду вспоминать забытые уже молитвы и с молитвой да с божьей помощью выйду к Енисею.

Я еще раз попытался углубиться в тундру, и еще раз убедился, что весной в тундре не только прямых, но и никаких путей нет — озера, реки, речки заставляют петлять, кружиться...

Впрочем, что это я? Вы ведь лучше меня знаете заполярье. Опытный человек сидел бы там, где его настигла беда, ловил бы рыбу, сохранял силы, пережидал половодье. А я все шел, все бился, и через неделю пути увидел вдали щетинку лесов. Не хотелось верить, подумал: вижу тундровые лиственничные лесочки или останцы каменных отрогов — это значило бы, что я сильно отклонился на север и мне уж не достанет сил вернуться даже на стройку, в Норильск. На бессолой рыбе, на прошлогодних ягодах и горьком орехе кедрового стланика долго не протянешь.

Вера моя и помощь божья укрепили меня — я вышел к лесотундре, затем вошел и в загустелые леса. Да радовался-то я напрасно. Здесь уже оттаял, взнялся в воздух комар. Был он еще квелый, дымом, замоткой лица можно было от него еще спасаться. Но вот когда пригреет хорошо, что начнется? Боязно об этом даже думать.

Тем временем я уже утратил несколько крючков — щуки, совершенно не знающие страха, понимающие только, что им можно хватать кого и что угодно, их же поймать не смеет никто, разоружали меня. Я стал рыбачить просто и нагло. Поймав две-три сорожины на удочки, насаживал рыбок на жерлицу с проволочной подстраховкой — такие ловушки у нас с зимы налажены были, опускал кособоко шевелящуюся рыбку в глубь озера или речки. Тут же из засады торпедой вылетала щука, где и две, где и три, и которая проворней, цапала сорожину, мяла ее и старалась уйти в черную корягу или в кисель прошлогодней травы, на ходу заглатывая добычу. Я изо всей силы выхватывал леску — щука оказывалась на берегу, но добычу из зубов не выпускала и долго не могла понять, где она, что с нею произошло и почему она оказалась на суше. Если рыбина была не по снасти, я отгонял ее палкой. Случалось, лавливал я и карасей, и пелядку, сигов и даже в одном очень чистом озере с песчаным дном напал на стерлядок, но рыбы до того наелся, что уж не мог на нее смотреть, жевал, как траву.

Простужен я был уже сильно, начал слабеть. Но тут мне стали попадаться кедрачи, хоть и худенькие, северные, а все же кедрачи — прекрасные деревья. Под ними спать суше, теплее, лапник, орех, пусть и горький, пусть истекший, все же пища. И брусники прошлогодней в лесу больше стало попадаться.

Однажды я обнаружил умирающего оленя. Он лежал в сырой яме, в бурой, размешанной болотине. Он объел вокруг уже все кусты, мох и осоку вместе с корнями, выгрыз землю, выел ее до мерзлоты. В открытом переломе ноги оленя кишели черви и под кожей прошивали они уже ходы к склизкому, облезлому паху. Кости зверя торчали наружу, от него пахло, но, увидев меня, он забился в грязной яме, попробовал взняться и со стоном наотмашь упал обратно в грязь.

Боясь, что олень испустит дух прежде, чем я ударю его топором, зажмурил в кровь съеденные гнусом глаза и обрушился в ямину.

Я прожил возле убитого оленя несколько дней, и пожил бы еще, если б не гнус, набирающий ярость. Из шкуры оленя я вырезал себе подстилку под бок, сделал несколько теплых стелек в сапоги и главное — намочил и навырезал тонкие сыромятные ремешки, вытянул из ног животного сухожилий, чинил ими одежду, обувь, даже ладился приспособить их в качестве лески.

Конечно же, я давно уразумел, что заблудился, утерял всякие ориентиры, от тупости забывал приметы, но не хотел с этим согласиться и все надеялся — вот-вот выйду к Енисею — не миновать мне этой великой артерии, как именуют ее в школах. Но таймырская тундра, дикие леса заполярья такие великие, что даже Енисей может в них затеряться, человечишко же для таких пространств — мошка, тля, былинка.

Если бы вы — северяне — не ведали, что такое северный лес и тундра, каково в них заблудиться, я бы, может, и рассказал вам об этом. Но вы, я вижу, люди бывалые и ребятишки у вас не барчуки. Скажу только, что я не раз сожалел о том, что не погиб вместе с товарищами своими там, на пороге, полный сил и веры в будущее...

Не знаю, сколько прошло времени, какое было число, месяц, день, но уже отцвела лесотундра, отпела весна птичьими голосами, самки сидели на гнездах, линялые самцы прятались в укрепе. Я брал из-под самок яйца, пил их, если попадались насиженные, пек в огне, догнал и забил палкой несколько линялых куропанов и глухарей. Вместе с пером и внутренностями я закапывал птицу в землю под костер и сначала с ужасом, потом почти равнодушно заглядывал внутрь последнего коробка спичек. Огонь я разводил уже не каждую ночь, только в непогоду. Когда у меня останется последняя спичка, приняя я решение, — разведу в последний раз огонь и лягу подле него навсегда.

Беглец прикрыл ладонью глаза, и что-то заклохтало в его горле, мы поняли, что он удерживает в себе крик или плач. Папа протянул гостю кисет. Он ощупью принял его и, закурив, молвил:

— Благодарю вас! Не приведи, господи, вам, детям...

— Может, вы еще покушаете? — перебил я гостя.

— Нет-нет, спасибо, дитя. Храни тебя, господь, не оскверни, не обозли, это худое время, милостивое сердце.

— Может, рыбы соленой?

— Нет-нет, сольцы.

Я подал беглецу берестянку с солью. Он бережно, щепотью взял соли, высыпал ее в рот и замычал от сладости и боли — солью разъедало треснутые губы, цинготно сочащиеся десны.

— Ах, как нам не хватает сердца! — воскликнул он.

Иссосав еще щепотку соли, он громко, почти клятвенно заверил нас:

— Если я доживу до лучших дней и у меня будет свой угол, я весь его завалю солью. Соль — это!.. Нет, вы не знаете, что это такое.

У вас ее много, целые бочки, вы ею сорите. Но не надо, не надо, особенно детям, чтоб они узнали это, испытали наше горе. Борони бог, как говорят тунгусы... Ах, как нам не хватает сердца! Соль добудем, хлеб посеем, но — сердце!..

М-да, простите еще раз. Светает. Не дал я вам спать. Н-но, и-но у меня давно не было и, может, не будет уже таких добрых слушателей... Не знаю, в бреду или по наитию божьему я стал чувствовать: в лесу есть еще кто-то. Ни следов, ни кострищ, ни спичечки горелой, но вот чувствую: есть кто-то поблизости — идет следом или кружит возле меня. Нет, нет, нечистой силы я уже не боялся и подумал, что это смерть моя кружит надо мною, сжимает кольца, дышит в меня гнилозубой хворью, тленом, перегорелой душной кровью, хочет избавить меня от мук. Я не то чтоб вовсе не боялся смерти, призрака ее, я еще мог почтительно относиться к жизни, нужной не для одного меня, но для моих уже погибших и погибающих в невиданно страшных застенках, на каторгах собратьев моих. Если б не это, я бы просто не встал однажды с подстилки из оленьей шкуры, лесные мыши, песцы и прочие зверушки съели бы меня вместе с клочком шкурки — и вся недолга. Но я еще сопротивлялся. С помутневшим уже разумом, до дна почти выпитый комарами, иссушенный, разбитый кашлем, в изожженной и драной одежде, я шел и шел. Сколько раз я уже видел Енисей, выходил к нему, умывался, пил воду и плакал от счастья. Но это оказывалось лишь озеро, закрытый водоем, как говорят опять же в школе.

Оглушенный комарами, мокрецом и мошкой, я старался идти ночью, когда особенно глухо и застойно в тайге, когда уж и дышать-то нечем от испарений и гнуса. Днем я находил хоть какой-нибудь обдув и падал на подстилку. Я сделался неосторожен, рассеян. Отупев от гнуса, выл в бессилии. Одиночество меня добило — я кричал что-то в небо, грозил ему кулаком.

У меня осталась одна жерлица, удочка вся в узлах, четыре спички, топор и нож. Спал я в обнимку с топором. Он сделался моим самым надежным другом и спасителем. Я даже разговаривал с ним...

И вот серой, звенящей комаром ночью я увидел в тайге мелькнувший свет и подумал, что это бред, галлюцинация, стал вслух себя уверять: то отблеск небесный, отражение звезды в воде. Но какие звезды в эту пору? Давно уже размыло ночь густыми туманами, солнце полого зависало над пологой тайгой, не закатывалось.

Сначала я побежал, потом пополз и увидел наконец экономно горящий костерок. Мягко ступая, я приблизился к огню и спрятался за деревом. Подле костра, на лапнике, тесно прижавшись друг к другу, спали двое. И первого взгляда хватило, чтоб убедиться, что это «наши». Меньше меня были они ободраны, но тоже обросли, одичали, комары над ними клубились. Каков же был я? Страшно подумать. Я кашлянул и вновь спрятался за дерево. Оба норильца тотчас вскочили, один схватился за топор, лежавший меж беглецами, второй — за самодельный ножик. Я коротко им объяснил, кто я таков и почему тут.

— Выдь на свет и остановись! — скомандовали мне и подшевелили огонь. Я вышел к костру и покорно остановился.

— Х-хо-о-оро-ош! — покачали головами незнакомцы и набросились на мой мешок.— Соль? Хлеб? Табак?..

Вытряхнув содержимое мешка, они удрученно замерли. Потом завернули в листья моху, сухого моху с чебрецом, пососали цигарки, и тот, что был тоньше, моложе, серый одеждой, волосами, лицом и глазами, устало полюбопытствовал:

— Давно блудишь?

Его и звали Серым. Страшный человек. Опытный бандит. Он много раз уходил из мест заключения. В апреле из штрафных бараков ушло трое. Так рано еще никто с нашей стройки не уходил. Рисковые ребята. Но третьего они, видать, уже потеряли. Что ж такого? Нас ведь тоже трое бежало...

Надо ли говорить, как я обрадовался людям, пусть эти люди были Серый и Шмырь, но все равно ведь люди, судьба соединила нас в бедствиях наших, скрепила жизнь побегом и тайной. Серый и Шмырь тоже заблудились. Но шли они упрямо, без колебаний по заполярной тайге, зная с уверенностью, что идут на юг и что поздно или рано выйдут на приток Енисея или к Оби, лучше бы — Енисея, к Оби идти опасно — из-за болот и топей, почти сплошных в междуречье. Енисей все же гористей и населенней, хотя бы с середины течения.

Но я поторопился радоваться — соединив нас в несчастье, судьба не сделала артельных людей сообщниками ни в мыслях, ни в устремлениях. Маленькая артель разделилась надвое — в меньшинстве, конечно же, остался я.

Когда Серый и Шмырь отдыхали, я ловил рыбу, малых бескрылых пташек, запасался корешками, травами, варил похлебку в котле, который у этой пары сохранился. Первое время мы ладили. Я уверовал, что с такими бойцами не пропаду и непременно выйду к Енисею, а там не с руки нам быть вместе. Но проходили дни, недели, мы никак не могли выпростаться из лесотундры. Совсем обносились, затощали. Давно была уже очищена от шерсти, выварена и съедена оленья шкура, мы ловили и ели леммингов, белок и даже бельчат, варили грибы — и все без соли, без соли! Рты наши скипелись от крови, пахло из нутра нашего падалью. Гнус разъедал лица, руки, шеи до того, что оголилось мясо, пошли по нему язвы. На артель осталась одна удочка и жерлица с обломанным крючком.

Теперь мы рыбачили попеременно. В то время, когда Серый и Шмырь спали, я ловил и варил рыбу, после спал я, они ловили и варили.

Но волчий закон, по которому существовали Серый и Шмырь, скоро дал себя знать — они перестали оставлять мне еду, однако еду добывать и дрова заготавливать заставляли безоговорочно. Сами понимаете, после нашей ударной стройки толковать с ними о совести и порядочности — пустая трата слов. Они были крепче меня, лучше сохранились, но я тоже не давал себе окончательно ослабиться, старался, когда связчики спят, найти хоть какое-то пропитание. Меня подстерегла еще одна большая беда — я оборвал последнюю удочку. Уснул с удочкой в руках, клюнула сорожина на короеда, тут же на нее метнулась щучина. Я проснулся от рывка, всполошился, но было уже поздно — хищница вдавливалась в глубину, разворачивала сорожину головою на ход, следом волочился обрывок фильдеперсовой лески, клубилась рыбья чешуя.

Собратья мои убили бы меня, но я сказал, что спрятал жерлицу и не покажу, где спрятал, коли они примутся меня убивать. Кроме того, у меня есть еще две иголки, из которых можно сделать крючки, да из штопора-складника, если его накалить,— уду можно загнуть, и еще я придумаю, как ловить петлями птицу и щук, нежащихся на отмели.

Этим я на какое-то время продлил себе жизнь. Но страшное слово «баран» все чаще и чаще достигало моего сознания, хотя поверить в то, что Серый и Шмырь ведут меня с собой, чтобы, когда вовсе край придет,— съесть меня, поверить не мог. Сысподтиха подбирался к связчикам, пытая, куда делся третий их спутник по прозвищу Ноздря. Серый и Шмырь уверяли меня, что, как и мои спутники, утонул он при переправе через реку, но скоро посчитали — таиться им незачем и врать не стоит, никуда я от них не денусь, рассказали, как тащили спички, одна короткая, две длинных. Короткую вынул Ноздря. Он был вечный зэк, опытный ходок, старый вор в законе, игру судьбы принял как полагается герою современности, не скиксовал, не пикал. Наставил в грудь себе ножик, навалился на него, попросив давнуть в спину. Серый помог ему, облегчил кончину.

Связчики разделали «барана» топором, мясо закоптили на огне и продержались до прилета в тундру птиц. По насту из тундры им выйти не удалось. Поломали лыжи, съели припасы. Дальше предстояли им одна только длинная и одна только короткая палочка — спичками уже не играли, берегли их пуще глаза.

И тут-то явился я. Сам набрел — воистину баран! Безрогий, безмозглый, на заклание чертом посланный.

Однажды ночью Серый и Шмырь вернулись к огню ни с чем. Рыбу и птицу петлей ловить они не навострились, нервов не хватало, привыкли все брать на шарап. Ягоды еще не созрели, орех был с молочком, птица поднималась на крыло. Питаться в тайге сделалось нечем.

Серый и Шмырь упали возле огня обессиленные. «Ну?» — закрыв глаза, молвил Шмырь. Я понял, что это «ну» означает, не таясь начал молиться. «Ладно, поспим. Может, морок какой найдет. Видеть эту падлу не могу! Весь в парше!..» — «Опа-алим!» — «Тьфу! — плюнул Серый, — падаль хавать легче!..» — «У нас и падали нету. Сами скоро падалью сделаемся...» — «Кончай! Покуда не отбросил копыта, дотуда жив! Дави бабу-землю. Спи. Отдохнем — поработаем...»

Серый костью послабее Шмыря, но духом покрепче. Шмырь — он злобой страшен, однако смекалкой не вышел.

Я дождался, когда приутих костер, пока разоспались мои спутники, и, сказав про себя: «Господь вас прости, ребята!» — отполз от огня, вскочил — где и силы еще взялись! — бросился бежать. Помнится, я даже кричал, мнилась мне за спиной погоня. Помню, когда забежал в густой туман, обрадоваться даже не мог, упал без сил.

Солнце было уже высоко, когда я очнулся и увидел, что из тумана выпрастывается большая, широкая вода. По песчаному берегу прополз к тихой лагуне, заглянул в воду и отшатнулся: на меня из воды воспаленными, опухшими глазами глядело существо, уже мало похожее на человека.

По большой воде дул ветер, кружились чайки, стаи молодых уток делали разминки, что-то перемещалось — за пологим горизонтом что-то дымит.

«Не Енисей ли это?»

Я сомлел, пригрелся под солнцем, отдыхая от тяжкого гнуса, и скоро опять уснул. Очнулся оттого, что меня било и катало по опечку волнами. Соскочил и увидел над водой, в разъеме берегов, темный силуэт. Ничего не мог сообразить, но уже отчетливая мысль бежала, хлестала волной в меня: «Я вышел к Енисею! Я вышел к Енисею! По Енисею идет пароход!..»

Вера в чудо во мне давно истребилась, и пока я не прочел на борту новенького теплохода: «И. В. Сталин», старался не доверять своим глазам. На теплоходе пассажиры, женщины, детишки — кто-то помахал мне рукой. А я не мог помахать в ответ.

Мокрый от волн и слез, я стоял на коленях в мокром песке, кланялся, молился земле, благодарил бога за чудо, подаренное мне,— чудо жизни! И верил, в ту минуту верил, что те, на теплоходе,— очень счастливые люди, и во всей стране, во всем белом свете живут добрые, счастливые люди, мне же выпало тяжкое испытание, по чьей-то злой воле, по какому-то недоразумению. Я должен, должен, должен дойти до самого главного, самого справедливого человека, чьим именем совершенно справедливо назван этот красивый теплоход. Он выслушает, он поймет меня, он сам в этих краях бедовал в ссылке, сам бежал отсюда и всего натерпелся. Он, и только он, может и должен всех спасти, развеять тяжкую напасть на эту страну, на ее исстрадавшийся народ.

Сидя у почти затухшей печки, гость наш умолк, держа эмалированную кружку в пригоршнях. Через окошечко в избушку сочился нехотя нарождающийся свет серого, застойного дня. Беглец глянул на окошечко и, допивая из кружки остатки теплого чая, заторопился:

— Ну, что вам еще к рассказанному добавить? Серый и Шмырь следом за мной, выше меня по течению, тоже вышли к Енисею. Я скоро обнаружил их «следы» — разграбленный чум кето, выехавших на лето рыбачить, за чумом перестрелянные собаки, изнасилованная, растерзанная женщина. Самого рыбака эти два шакала, очевидно, утопили в реке, парнишку-кето посадили в лодку и оттолкнули от берега — его поймала и спасла команда буксирного парохода. В чуме беглые разжились едой, солью, одеждой. Впрочем, какая одежда у рыбаков-националов, на месяц-два откочевавших из тундры к Енисею. Взяли ружье, то самое, которым вас застращали. К ружью скорее всего уже нет зарядов, и все же хорошо, что вы не связались бороться с ними — они могли бы запереть вас в избушке и сжечь. Они «на свободе», они добрались до жилых мест и «гуляют». Будут они ходить, огибая большие станки и города, грабить, насильничать до холодов, потом сдадутся. Никакой цели и задачи у них нету. Я шел по их следам. Открыто заходил в станки. Два раза меня задерживали и отдавали в сельсоветы. Оба раза отпускали. Я не ворую, не граблю и намерений своих не скрываю. Меня отпускают с богом, и я уверен, пройду дальше, чем Серый и Шмырь. Мною движет милость. Я дойду до Москвы, чего бы мне это ни стоило. Память товарищей, страдания людей обязывают меня выполнить долг, может быть, последний и самый главный в моей жизни... Дайте, пожалуйста, еще сольцы!

Беглец в который раз пососал соли и, покачиваясь на корточках возле печки, ровно бы подумал вслух:

— И все-таки не следовало при ребятишках...

— Наши ребятишки в Игарке выросли,— отозвался Высотин и прислушался.— Дует? Дует и дует. Не дает нам погода план добрать. Сматываться надо из этой тайги. Нигде покою человеку не стало. Да и ребятишкам в школу пора...

— Да-а, наступает осень! — эхом отозвался от печи беглец.— Спешить надо, не выйду до зимы из заполярья — пропал.

— Давай, мужик, поспи маленько и уходи. Шишкари иль ягодники из Игарки объявятся — черти принесут, патруль нагрянет — нам тоже не сдобровать.

— Да-да, вы правы. Я уйду, уйду. Соли узелок попрошу и хлеба кусочек, да ножницы — дикий волос...

Папа мой сказал:

— Давай! Я умею маленько.

Беглец сел посреди избушки на табуретку, папа повязал его мешковиной и закружился вокруг клиента, защелкал ножницами, однако обычных при этом складных присказок не выдавал.

Я замел волосья в печку.

Высотин бросил в полотняный кошель узелок с солью, булку хлеба, коробок спичек, кусок сахара и со словами: «Вот... чем богаты»,— подал его гостю.

— Благодарствую! Спаси вас бог.

— Не на чем. Чё-то не очень он нас пасет. Кто знает, что завтра с нами будет?

— Не гневите, не гневите всевышнего — все под ним ходим... Не надо так. Не надо без веры жить.

— А где ее, веры-то, набраться? У тебя?

— Да и у меня хотя бы. Я ж не терял веры, даже там, на краю гибели, в тундре. Я стремлюсь к справедливости, и бог мне помогает.

— Ну, ну, стремись. А мы тут, в Игарке, такой справедливости навидались, что дальше некуда.

— Нет, нет и нет, мужики, не победить человеконенавистникам исконную доброту в людях. И сейчас не всех они и не всё сломили. Не всех, не всех. Как ни странно, среди интеллигенции, именно среди той

части самых обездоленных, которую тюремные и лагерные держиморды особенно люто ненавидят, находятся люди столь стойкие, что они потрясают своим мужеством даже самых кровожадных мясников. Подумайте сами — почти ослепший от побоев, карцеров, недоедов, старенький философ-ученый заявляет начальнику лагеря и замполиту: «Я не могу быть арестованным. Это вы вот навечно арестованы...». «Как это?» — гогочут граждане начальники. «А так вот — сейчас войдет старший по чину, и вы вскочите, руку к пустой голове приложите, а я как сидел на табуретке, так и буду сидеть, продолжая думать то, чего не успел додумать прежде, — о человечестве и о вас буду думать, поскольку есть вы несчастное, заблудшее отродье и нечем вам думать, лишены вы думательного инструмента...»

— Н-на, гладко ты баешь, а мужика-то, крестьянина, они охомутали, извели.

— И все равно доброта и терпение разоружат, изведут злодейство.

— Больно ты разоружил-то Шмыря и Серого.

— Да-а, тут правда ваша. Этих никаким, даже божьим словом не проймешь. Это уже продукт новой эпохи.

— Да завсегда они были и будут. И между прочим, тоже отца-мать имели и имеют, верующих, деревенских, может, и пролетарьев — но масть-то идет одна.

— Не дай бог, не дай бог, мужики, если Серый и Шмырь да их сотворители начнут миром править.

— Конечно, конечно, не дай и не приведи господи.

— Ну, значит, с богом! И вали дальше. Вроде утихат. Нам на сети скоро.

В полдень мы выплыли на сети. Хромого в баие уже не было. Спустившись к лодке, мы увидели его, резко припадающего на правую ногу, километрах в двух от избушки. Он шел в направлении станка Полой, правился вверх по реке, к свободе, к заступнику всех обиженных и угнетенных, и далеко, ох, как далеко и долго ему было еще идти, добираться до тех мест, где обреталась справедливость. Иней таял, струя над берегом дымку, и скоро хромой заподпрыгивал на сверкающем приплеске, по которому катились козырьки слабеющих волн. Вот он отделился от приплеска, залетал, закружился в синеватой дымке... и — воспарил.

...Его взяли спящего в деревне Кубеково, под самым Красноярском, и вернули обратно, добавив пять лет сроку. Он убегал еще не раз и в один из побегов обморозил ступни обеих ног. Его вылечили и назначили на штрафные работы — в балластный карьер. Убежать из заполярья больше он не мог, да и бежать из Норильска с каждым годом становилось все труднее. Город обретал современное индустриальное советское лицо, лагеря, зоны, проволока, охранительные службы с будками, стрелками отделялись от города, укреплялись, вооружались. Строгие конторы в удобных домах, с теплым отоплением, с электроосвещением, с политотделами и подотделами возведены в центре города — все это ладилось, селилось, плодилось прочно и надолго, энкавэдэшники твердо верили — навечно.

Конвоир Зубило, «из бывших», водивший на работу штрафную бригаду, развлекался тем, что пелажного подростка заставлял прыгать с отвесной стены карьера и тут же подниматься обратно. Откос карьера плыл, подросток отчаянно гребся руками, ногами, карабкался, не подаваясь с места.

Нахохотавшись до колик в боках, веселый конвоир бросил подростку конец веревки, помог ему подняться. Но не успел истязаемый сказать: «Спасибо, гражданин начальник»,— как тот его снова столкнул

вниз и, клацая затвором, веселился: «А ну наверх! А ну, доходило, резво, резво!..»

«Прекрати!» — сказал конвоиру седой, раскоряченно ступающий на обе ноги штрафник по прозванию Хромой.

Бешено белея глазами, конвоир передернул затвор, двинулся на Хромого, но выстрелить не успел. Мелькнула в воздухе кувалда, и на свежо сереющую кучу гравия вывалилась горстка еще более серого ошметья, напоминающая отцеженную опару: из укоротившегося тела конвоира выбуривалась кровь, военные штаны потемнели в промежности. Овчарка — верный друг и помощник Зубилы — взлаяла, протяжно заскулила, сорвалась в карьер и через минуту уже чесала в просторную тундру.

Хромой сказал: «Спасибо, братья»,— поднял винтовку Зубилы, тремя выстрелами вызвал начальника караула и, не подпустив его близко, прокричал: «Бригада никакого отношения к убийству конвоира не имеет. Я убил его!»

Сделав резкий поворот, Хромой с винтовкой в руках кувыркнулся в карьер.

Начальник караула и запыхавшиеся стрелки подбежали к обрыву карьера и услышали: «Да здравствует товарищ Сталин!» — и следом хрясткий от мороза, одинокий, без эха, выстрел.

1964 — 1990 гг.



ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ



А СВЕТ РОССИИ — В МАЛЫХ ГОРОДАХ

* * *

Святая, долгожданная услада, —
обвал речей и половодье слов...
России выговориться нынче надо
до мук, до потрясения основ

и разобраться ей в большом
и малом,
запрятанное вывести на свет...
И стали города читальным залом,
грома гремят от шелеста газет.

Но горько под родными небесами
мне оттого, что некий пустоцвет
бренчит, как бы в мониста,
словесами...
А Слово — колокол побед и бед.

...Глянь — травы наливаются в июне
животворящим соком, не слезой,
и здесь не лжемессии на трибуне
нужны России, а косарь с косой.

Коси, косарь! А то полягут травы,
и вновь останемся без молока.
Один не спит — от эйфории славы,
другой не спит — страда-то коротка!

Аплодисменты то мощней,
то жиже...
Как истину от лжи отшелушить?
Ты глянь!—вития, он уже в Париже
в кофейне рассуждает, как нам
жить.

А как нам жить, — не глиняные
боги,
не шустрых выдвиженцев пылкий
строй
определят, а сам народ высокий,
и, может, прежде всех косарь
с косой.

Он чужд витийства и чиновной лени,
лжецы его не заарканят в плен...
Мы можем пасть, но нет —
не на колени,
мы можем встать, но только
не с колен!

* * *

Как нацию раздеть духовно догола?
Лишить ее богатств, чем нация
жила:
церквей, особняков, крестов
над отчим прахом,
старославянских книг и именинных
дней,
и повязать сердца бездумным
страхом,
перед властителями всех мастей.
А свет России — в малых городах
с их земляными древними валами,
с красивыми исконными словами,
с цветущими вишневыми садами...
А свет России — в малых городах,
что возле рек, на ветряных холмах...
Но жалки эти города сегодня,
Бреду по битым улочкам с тоской,—
бушуют страсти нищих, —
не Господни.
Вот магазин с мороженой треской,
и очередь петляет — аж за угол...
Разрушенные маковки церквей
чернеют в небе наподобье пугал.

В музей две-три картины свезены,
комод да стол из рухляди имений...
Ах, как удушлив полумрак
забвений!
В столицу едет иноземный люд,
в столице форс начальнички блюдут,
мол, не ударим в грязь
перед Европой!
А тут глубинка,
масла нет — так нет!
Безденежен и мрачен райсовет.
Свисти в кулак, брат, да по лужам
хлюпай!
Уразумеем ли в конце концов,
что каждый град явился из веков,
запечатлев, как в летописной книге,
и проводы воителей на брань,
и чьей-то музы в утреннюю рань
звук дерзкий и талантливо-великий?
Твердим, твердим, что, дескать,
мы сыны
Истории, России — ах, как просто!..
Разорены родительские гнезда
без жалости, без смысла, без вины.

Валентину Распутину

Ты помнишь: незадолго до полета
на родину из Вены в страшный час
взрывчатку заложил у входа кто-то,
и с пламенем она разорвалась?

Мы замерли среди разбитых стекол,
среди солдат и плачущих детей,
и вымытый от крови скользкий
цоколь
казался сценой дьявольских
страстей.

И под евангелическое пенье
монахинь, что-то мыслящих свое,
впервые мы террора проявленье
там ощутили, как небытие.

И позже в креслах, в самолетном
чреве,
летели мы в небесном далеке,
скорей в печали, нежели во гневе,
скорей в раздумье, нежели в тоске.

Террор, он беспощаден,
многоликий,
он напрочь поразит исподтишка
живую плоть, страницы честной
книги,
дух гения, рожденный на века.

И разве то, что под церковным
сводом
крушил оклады бешеный топор,
не есть проявленный особым родом
противу русской нации террор?

И разве шайка жить нам не мешала,
затягивая петлю все мертвей
на шеях несравненного Байкала
и лебединой Ладоги моей?

И разве то, что в классику отныне
под белы руки серость введена, —
не суть террор? И по такой причине
моя душа смириться не вольна.

И разве?.. Разве?..
Все не перечислим,
не перечислим, да запомним мы,
чтоб мощь придать непокоренным
мыслям,
чтоб до духовной не дойти сумы.

* * *

Не издавали Карамзина
и Соловьева...
Эта вина еще не вина, —
жило их Слово.

Но разорение по стране
в классовом раже
кладбищ России —
видится мне
гибелью нашей.

Сбиты кресты
с царскосельских могил,
сдвинуты плиты —
так офицеров Октябрь осудил
из царской свиты.

А что полковник
зарублен в Чечне, —
плевое дело!
Классовый принцип
компáса точней:
бело — бéло.

И над героями Бородина,
и над орлами
Плевны
поруха-разруха одна,
мусор слоями.

Словно не мы победили в боях,
перед пашою,
словно Россия склонялась во прах,
дрогнув душою.

Кладбища — каменные письмена —
размолотили,
дабы вовеки не знала страна
тех, кто в могиле.

В лагерь уже не затащишь гробá
тех, кто в мундирах...
Пусть же валяются их черепа
в ямах-сортирах!

И на кладбищах карающий меч,
всыпав повинным,
начал невинные головы сечь
махом единым.

* * *

Памяти генерала В. Д. Кренке

Виктор Данилович Кренке,
славной войны генерал;
Виктор Данилович Кренке
Шипку оборонял.

Таяла 26-я...
Турки катились, как вал...
Но, впереди вырастая,
вел смельчаков генерал.

Жил и сражался по чести,
трижды на дню умирал...
К старости — в тихом уезде,
в Тихвинском, жизнь коротал.

Нынче его деревеньки
нет и в помине... Погост,
где опочил храбрый Кренке,
жилистым лесом порос.

Зыбко припомнив заслуги,
камень с могильной земли
чьи-то незлобные руки
к тракту перенесли.

Возле — сельпо, где торговля
водкою разрешена...
Жаль, что не память сыновья
манит сюда дотемна.

Горько мне, что спозаранку
вижу на камне седом
опустошенную склянку,
хлебные корки с сырком,

что не гвардейскою ротой
в праздник почтен генерал,
а бессловесной икотой
тех, кто уже перебрал.

...Таяла 26-я...
Турки катились, как вал...
Но впереди, вырастая,
вел смельчаков генерал.

Встал у дороги я, с краю...
Шипки мерещится стынь...
Горько слова я роняю:
— Сколько ж нам жить без святыни!

ПОЭЗИЯ



ОЛЕГ КОЧЕТКОВ



НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Крикнешь — а кто отзовется!
Ветер, цветы, облака.
Как из глухого колодца,
Воля твоя улыбнется —
Призрачна и далека.
Теплая пыль под ногами,
Ласточки над головой.
Длится и длится веками
Над золотыми полями
Звонкий их росчерк живой.
Что им до наших прозрений,
До биотоков в мозгу.
Весь человеческий гений,
Может, не стоит мгновений
Жизни в их смертном кругу...

✦✦✦

Посещение России эмигрантом «третьей волны»

Топнул ногою — пушистая пыль
Шаг его обволокла...
Поле без края, дремотный ковыль,
Над головой — облака.

Топнул сильнее — и каблуком
Вмятину сделал в земле!
Вытер вспотевшую шею платком,
Капли смахнул на челе!

Ну а потом изо всех своих сил —
Топнул! Как будто втоптал
Эту... которую не выносил
С детства, и — ногу сломал!

КОЧЕТКОВ Олег Владимирович родился в 1947 году в городе Коломна Московской области. Учился в вечерней школе, работал токарем, слесарем-сборщиком на тепловозостроительном заводе. Служил в армии. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Выпустил книги стихотворений «Время настало», «Травяная дорога», «Родное лицо», «Надеждою ранят», «Покатилась подкова». Член Союза писателей СССР.

Забытье

Веселый дым над кровлей тихой.
Подсолнуха веселый лик,
И поле радостной гречихи,
И на завалинке — старик,
И осокорь через дорогу,
И ряскою покрытый пруд.
До перестройки — как до бога!
Она и не витала тут.
Ей дай масштабы, перспективы,
А здесь — ветшалость, забытье...
Но почему-то так красиво
И так естественно здесь все!
Как будто чем-то незабвенным
Повеяло — не сохранить!
Кому-то ж надо неизменным
Из этой жизни уходить!

Простор Отечества

Теченье свежих облаков
Над головой моею бренной.
А под ногами — пыль веков
В непревращенности нетленной!
И радость ржи, и окоем,
В лазурном мареве дрожащий,
И в горле — сладковатый ком...
О воздух родины пьянящий!
Простор Отечества, над ним
Поветрий столько прокатилось
С перемещением крутым,
Что кажется, вся твердь сместилась!
А он в раздумии своем
По-прежнему щемяще-горек.
Хоть целый смысл проявлен в нем —
Всех гласностей и перестроек!

✦✦✦

Истина

Реяло знамя, звало и... погасло.
Сразу померкла ближайшая даль.
Все в суете и безверье погрязло,
Рубль засиял, потускнела мораль.
Истово дремлющий ветер гордыни
Зашевелился по всем площадям...
Только духовные наши святыни
Светом немеркнущим тянутся к нам!
Ближе, и пристальней, и непременней,
Нас поднимая до смысла судеб
Связей земных и родных поколений,
Истину нам поднося, словно хлеб.
Ну, а она — в сопричастности вечной
С тем, кто за гранью любых облаков,
Реет над этой планетой увечной,
Ныне и присно, во веки веков!

* * *

Да, за веру они и царя
Свои буйные честно сложили!
И погибли, наверное, зря.
Но Отечество крепко любили!
За него-то и встали тогда,
Ни к чему нам сегодня лукавить!
Отшумели такие года —
Все равно ничего не поправить!
А ведь были — один к одному.
Корпус Пажеский, канты, погоны,
И таких расстреляли в Крыму,
Безоружных загнав в эшелоны!
Руки за спину, камень к ногам,
Да с обрыва — в морские объятья!
Так и надо им всем «белякам»!
Вот и все тебе сестры и братья!
Осуждать никого не берусь,
И ни тех и ни этих, пожалуй.
Только кто растворит мою грусть,
Хотя срок уже канул немалый?
Так случилось. Вини — не вини...
Лишь одним свою душу спасаю:
Что я дрался б в те черные дни,
А на чьей стороне, и не знаю!

Ночь екатеринбургского чекиста

С ливера да с маргарина —
О мировой революции бредни...
Ну а в сознанье запала картина —
День Государя последний:
Вопли истошные нервной царицы,
Сам, как над свечкой — иконка!
Да разметавшие косы девицы,
Да ясноглазый мальчонка.
Как наводил же, вскидывал в шоке
Свой револьвер разряженный.
— Что им — Юровский
да Голощекин
Шая? А он-то — крещенный...
...Глаз не сомкнуть...
приподнялся в постели:
— Кто там стоит за дверями?
Душу всю выскреб—клопы одолели,
Вон уж и кровь — под ногтями...

Белый камень

Начхал со своей колокольни на бога,
И камнем церковным заставил подводу.
Ждала его даль и крутая дорога,
В которой впервые узрел он свободу,
Он выстроил дом белокаменный, чинный,
Внутри и снаружи — повесил плакаты
И, клубом назвав, стал крутить в нем картины,
Про «жизнь» и «любовь» за веселую плату.
Когда все стихало, брал в руки метелку,
Окурки, плевки, шелуху выметая,
О чем-то все чаще он думал подолгу,
В себе и вокруг что-то не понимая...
И в ночь выходил, чуя тьму своей кожей,
Такой одинокий пред всею вселенной,
Стоял возле клуба и думал все то же —
О том, что вот был бы он сердцем моложе —
Подъехал с подводой, ведь камень отменный!
И выстроил снова, но — что же?.. Но что же?

Ступени

У наклоненного к полю крыльца
Мхом зарастали ступени.
«Хоть бы послал бог какого
жильца» —
Так они годы скрипели.
«Снова почуять бы тяжесть шагов,
Радуясь бодрому стуку!»
Жил тут один, да и тот —
был таков,
В городе вышел в науку.
И не вернуться ему, не прильнуть
К этому старому скрипу.
Дышит во всю он ученую грудь,
Вон — на статей своих кипу!
Раз испытали средь северных льдов
Цикл его изобретений.
За полвосторга до адских ветров,
Вспыхнув, сгорели ступени!

Тщета

Лишь в похмельном бреду
да в предании —
Косы русые, плат расписной.
Нестерпимая горечь желания
Несодеянной жизни, иной.

Пустыри и помойки Отечества,
Неустроенность — застят глаза.
А терпенья — на все человечество!
И гнетет бесприютства стезя.

Атмосфера чадящая, смутная,
Дни растерянных судеб и грез.
Впрочем, эта тщета абсолютная
Сто́ит всей нашей крови и слез...

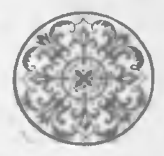
✦✦✦

Не заречемся

Несвобода порывов заветных,
Бередящих собою нутро,—
Суть явлений сегодняшних, бедных,
Где все новое — прочно старо!
А пространство щемит, ожидая
В растревоженности вековой
Не иллюзию светлого рая,
А хоть сколь-нибудь жизни
людской!
Свежий ветер не в силах развеять
Стылый сумрак родных пустырей.
Остается одно только — верить
В нерастраченность наших кровей!
Что опять на себя обопремся
Средь угара сплошной кутерьмы.
Но и выстояв, не заречемся,
Как и встарь,— от сумы,
от тюрьмы!

Родословная

Я ладонь положил на равнину,
И сквозь кожу пошел смутный гул...
Долго слушал я песню едину,
Пока в пряной траве не заснул.
А заснул, так приснилось такое —
Чему имени нет и конца.
Раздвигал я пространство рукою
До забытого ветром крыльца.
А на нем не князья да бароны
И другая дворянская знать —
Черный ворон бьет долу поклоны,
А вокруг — никого не видать!
И напрасно рука раздвигала
Пред собою пространства кольцо,
Лишь одно, лишь одно выпадало —
Только поле и только крыльцо!
Хоть лица б ускользающий высвет,
Хоть бы голос неясный, глухой!
Пусть унизит меня, не возвысит,
Только б знать: кто, откуда, какой?
Лишь крыльцо да широкое поле,
Вот и все, остальное — темно.
Нет на свете возвышенней доли —
Знать, что большего знать—не дано!
Я лежал средь притихшей полыни,
Окуная лицо в облака.
И лежала рука на равнине,
И на сердце — лежала рука!



ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

33

С этим и вошёл Дмитриев в большой механический цех, где под верхней фермой ещё добалтывался, ещё долго покачивался отцепленный поднятый крановый крюк. Тут должен был Дмитриев разговаривать со старшим инженером, отвечать на поклоны мастеров, всё рассеянно,— сам же напряжённо смотрел на сборы.

На этих рабочих, по отдельности как будто доступных любому простому разговору. А когда при смене вываливает их во двор сразу пятьсот-шестьсот — чёрных, слитных, загадочных, чужих,— не успеваешь вспомнить, что можно с каждым говорить и работать, но почему-то потупляются сами глаза, отводятся, и бессильно признаёшь неизбежное: то *вы*, а то *мы*.

Неизгладимо проведена эта черта и как научиться переходить её, не замечая, или хотя бы *им* не давая заметить?

Так и сейчас: когда они в массе переходили, садились, вспрыгивали на плиты, на гладкие выступы своих станков, а в центральном проходе поперёк вагонеточного пути ставили скамьи для пришедших из других цехов,— в этом новом объёме и качестве они были не испытаны, страшноваты. Много чугуна, стали, железа в тяжёлых массах покоились и передвигались в этом цеху и по всему Обуховскому заводу, но на то были неотклонные, раз навсегда одинаковые формулы механики, известные приёмы, ухватки, краны. А эти двести-двести пятьдесят собираемых вместе живых рассыпных мягко-телесных людей превращались в массу неведомую, с формулами неизвестными. Это уже — не инженерство было. Зря говорят про политических деятелей, что они болтуны, это — большое напряжение.

И прав Евдоким Иваныч: рабочие только и мыслимы в массе, только к этому и надо быть готовым. Одинокий крестьянин умеет двести дел, обнимает собой и своей семьёй — двести ремёсел, и наиболее полон, когда он один. Одинокий рабочий — ничто, будь он искуснейший слесарь, как Евдоким: в каждой работе ему отведено всего лишь

Продолжение. Начало в №№ 1—7 за 1990 год.

одно дело или даже одна часть одного дела, а полнота — лишь когда собирается их двести.

А вахмистр — пришёл, конечно. Широколицый, с большой значительностью осанки, как будто знает тут больше всех. И, ни с кем не заговаривая, сел на табурет сбоку оратора, чуть позади.

Портил он весь вид. Лицо Дмитриева портил перед рабочими.

Мастера группкой.

Комаров темнокожий, небритый, в сторонке. Уступал начало.

Кто в чём работал, в тёмных косоворотках навыпуск без поясов, или в куртках, или в старых пиджаках,— рассаживались теперь. И только кепки, при работе у всех на головах,— теперь, хоть и в том же цеху, по обычаю, без команды, без приглашения — а снимали. Кто-то снял, остальные за ним, и вот уже — все до единого. И куда её? Брали на колени. Вертели в руках.

И этими снятыми кепками, да ещё сдержанностью разговора, почти молчанием, показывали, что — понимают особенность этого собрания.

А снявши кепки, открыли свои головы — редко стриженные наголо, по-солдатски, редко и пролысевшие, как бывает от изнеженности, а — дружно густоволосые, неиссякаемая ещё природа. Да подстриженные кто как, и домашними ножницами, чтобы не тратиться на парикмахера.

Нет, они не благоденствовали. Утруждённые, озабоченные, прихмуренные лица. Не угоняется заработок за скачкою цен — что им эти сверхурочные, только силы терять? По-своему, они правильно отказывались от сверхурочных.

Но лишь по-своему, свою овчинку стянув на груди, свою нахлобучивши кепку, пока под острым невским ветром добежишь до своей квартиры.

Уже начавши речь про себя, ещё не начав её вслух, Дмитриев пропустил собственно начало. Он стоял — выпрямленный, приготовленный, весь — в глазах, раскрытых на рабочих, и в поколачивающей груди, и уже ждали, смотрели на него, а он пропустил посоветоваться и подумать: самое-то первое — как же? собранных вместе двести — как их называть? *Товарищи?* Нет, подыгрывание, пошло, да при жандарме и закрыто, он не хотел революционного тона. *Господа?* Кур смешить. Велик-велик русский язык, а повернуться негде, если б не:

— Братцы! Некоторые из вас...— покосился, где *свои* сидели, кучкою стянувшись. Малоземов маленький заслонён был, не видно, а светила, возвышалась строгая лысая тыква созонтовой головы,— ...знают, что у нас отделан опытный образец траншейной пушки, и теперь она пускается в серию. Сейчас как раз подошли дни, иные станки и даже мастерские надо перевести на неё целиком. И вот я... просил администрацию... и представителя Рабочей группы... созвать вáс, кому придётся участвовать, чтобы...— Разве нужно какое «чтобы»? разве не «делай, что говорят»?.. — ...чтоб объяснить вам, что́ это за пушка и к чему.

Насторожились — лохматые, челюстные, исподлобные, простодушные, прищуренные, все почти безбородые, с усами редко, а то гололицы, щёки сжатые, губы недоверчивые: с чего б — *объяснять*? Какую-нть дохлую собаку подсáвывают, стерегись.

И правда, каким же будешь в этих петербургских камнях? Через камень не подсачивается к тебе из земли ни сила, ни свежесть, ни верный совет. А в уши толкут, толкут... Елисеевская ночь...

Но слышал Дмитриев сам свой голос и был доволен — звонко выносил, твёрдо:

— Надо вам понять, что в этой войне многое пошло, как ждать-не ждала ни одна армия. Вот и артиллерия. С тех пор, как её изобрели, она существовала как бы отдельно: стояла — отдельно, стреляла — издали, с пехотой не смешивалась. Но современный бой так густ и быстроизменчив, что артиллерии быть от пехоты далеко и отдельно — нельзя. Например, пулемёты так внезапно возникают и исчезают, в такие короткие минуты надо справиться с ними, что артиллерийский

наблюдатель, даже если он в гуще пехоты, не успевает по рвущимся проводам сообщить на свою глубинную батарею, и пристреляться, и накрыть.

Не сложно говорил? Кажется, нет. Появлялся интерес на лицах. Почему не послушать? За слушанье шкуры не снимают.

— Такая у нас и есть трёхдюймовая полевая пушка, вы знаете. Пушка прекрасная, настильный огонь вот так, — рукой показал, — хорош-шо поражает. Так что одна батарея может в несколько минут уничтожить батальон пехоты в сомкнутом строю или полк кавалерии.

(*Хорошо поражает!..*)

— Но именно из-за этой настильности ей приходится умолкать, когда наша пехота сойдётся с противником ближе саженей полутораста: чтоб не попадать по своим. Именно из-за настильности и не поставишь её близко и не будешь стрелять через головы своей пехоты. И получается, что в самый тяжёлый опасный момент, когда наша пехота расстреливается пулемётами врага, она лишена поддержки своей артиллерии.

А что? Кажется забирает: слитно, молча, всё серьёзней смотрят на инженера. Да кого ж это может не забрать? Завтра это может стать твоя судьба, любого из вас, из нас... Третий год они работают на войну, третий год висит над ними как кара — воинский начальник, маршевая рота, пошлют в окопы, — а что они о той войне знают? как пушки их, выпущенные отсюда, потом стоят, перекатываются, стреляют?

— Или так ещё, острей и опасней: когда наша пехота с жертвами, усилиями, прорвёт неприятельскую позицию и ворвётся в его траншеи, в этот момент, когда всё расстроено и перемешано, все не на своих местах, не все и при своих командирах, а уж о телефонной связи и говорить нечего, — в этот момент пехота лишается и артиллерийской поддержки: и связи нет, и дым, и пыль, издали не видно, всё перепуталось — кто ж решится открывать огонь? И получается: за победу, за успех, за понесенные потери наша пехота попадает в особенно беззащитное состояние, и ничего не стоит из победы опрокинуть её назад и много побить.

А главное, горячилось и билось в груди, что, кажется, черту мучительную стеснения он переходить начал, и как-то незаметно, и даже уверенно — при осветившихся одном, другом, пятом, седьмом лице. Да ничего ты у них не украл, ни в чём не виноват, зачем же тебе глаза тупить?

И — всё больше глаз на нём. И — интерес, и — пристальность. И стрижка домашняя трогательная. А т а м-то, братцы, там наголо бреют, и с головою вместе.

— Так вот и выяснилось, уже в боях, ценой крови, что нужна артиллерия сопровождения, которая бы следовала как можно ближе к своей пехоте и открывала бы огонь при всех обстоятельствах, тотчас же — н видя всё своими глазами! А этого как добиться? Для этого наша трёхдюймовая пушка — не приспособлена. Весит она в походном положении больше ста двадцати пудов. Это значит — если дорога крепкая и гладкая, то тянут шесть лошадей. А чуть хуже — впадина, топко или пахано — надо подпрягать до восьми, а то до десяти, и номерам ещё толкать. А на поле боя какая ж дорога? Самая наихудшая. И лошадей этих не наберёшься, и их переранят вмиг. Одним словом: если артиллерии следовать за своей пехотой в бою, то не на лошадях.

Отлично слушали. Из-за плеч вытягивались, кому худо видно. Кто рот пораззявил, кто охмурился, кто осунулся. Но все понимали, принимали, сопротивления или насмешки не ощущал Дмитриев, и уже мог поддержку черпать не только в своей группке, а — почти в любом лице. И откуда берётся у них эта злость, эти крики и взмахи при уличных столкновениях, как пять дней назад на Большом Сампсоньевском? Не шибко лица развиты, да, помертвей, поодинаковей крестьянских, — но лица наших же черт, но внятные русскому слову, но открытые для тёплой речи. Каким же презреннем или чёрствостью надо их так отчуждить?

— А значит артиллерия должна стать ещё легче и мельче. Разборней. Артиллерия должна стать такая, чтоб не ехала, а *шла* с пехотой плечо к плечу и выполняла бы её заказы — в ту же минуту. Пушка должна стать такая, чтоб люди прыгали с ней как козы и лезли бы в те же самые траншеи, что и пехота. То есть *траншейная пушка,* или окопная. Вот такая самая, как мы и сделали сейчас, наша группа мастеров.

Заулыбались. Не *свои,* эти строго, наоборот, эти всё давно понимают, — заулыбались те остальные двести. Оттого что привели их к простому ясному концу. Оттого что: мы — вот какие на нашем заводе, что́ умеем.

— Наша пушка такая именно: разборная. В походном положении — семь пудов. Втроём всегда перетащишь, верно? А в узком месте и вдвоём перехватить?

Как будто — спрашивал инженер. И сочувственно, но и негромко, загудели, забурчали, заоборачивались: втроём? вдвоём?

— А лафетик ещё отдельно четыре пуда, это уж на двоих, хоть и бегом. А снаряд — фунт с четвертью, по карманам можно совать. И такая пушка даёт 8 выстрелов в минуту!

— А далеко бьёт? — осмелился мастеровой из самых тут молодой, повеселевший, безумышленный.

— Да можно — на три версты! — сразу ему Дмитриев.

Заудивлялись, гулок пошёл.

— Но — не нужно. Чаще будет бить на триста саженей, как глазу видно. А заметил её немец — разобрали, согнулись, перетащили, хоть и по дну окопа.

Одобряли пушку. Весёлый гулок расширился, отвердел.

Уж разогнался Дмитриев объяснять и дальше: чем эта пушка отличается от бомбомётов, от миномётов. И что есть уже мелкокалиберная траншейная артиллерия и у немцев, и у французов, отстали мы одни... Но почувствовал, что — лишнее и даже отвлечёт, ещё неизвестно, задор ли вызовет, что у н а с одних нет? или горечь — отчего же м ы такие?..

Он запнулся и на другом, чего не предвидел, ещё не зная успеха: а как они будут решение принимать? Ведь не голосовать же, наверно? Или голосовать? Массой рабочих, где и лучший мастеровой не единоличен, а зависит от остальных, — как вообще всегда принимается?

Да это — Комаров должен знать. Первый раз он оглянулся на Комарова. Тот — ничего, благоприятно слушал, и не уклонялся, что доволен, беспартийно, по-человечески. Он тоже ведь об этой пушке толком не понимал, вот первый раз.

И — на жандарма Дмитриев оглянулся, лучше б не оборачивался, своими глазами не казал бы его забывшим слушателям. Вахмистр, всё тот же гладкий, рассказом не возмущённый, но и не тронутый, на сборище смотрел, не ожидая добра.

А мы уже вот и заодно:

— Так вот, эта пушка, братцы, опаздывает на фронт, уже давно б ей там быть, с минувшей весны. А мы успеем ли — к следующей весне? Много их надо, просто сотни! И только наш Обуховский будет выпускать.

Однако добродушному рассказу есть предел, как и вере добродушной. И с чистым сердцем не всё по-чистому можно вываливать. Честно бы до конца: а *почему* задержались? А к прошлой весне, а к лету — почему ж не успели? А потому что, потому что... очень долго держали и пересматривали эти чертежи в высоких инстанциях, дремали и брюзжали над ними старые развалины-генералы, одной ногой в отставке, а всё не уходят, расстаться с креслом жаль. Дремали над ними, кто сам никак не угрожаем был отправиться в те траншеи и не сочувствен к

серой нашей скотинке, сидящей там. Это *они* потеряли почти полный год. А вы, братцы...

— А нам, братцы, надо сейчас эти пушки проворно выпускать, чтоб ни одна станочная линия не отдыхала...

А впрочем, что ж *вы*, братцы? вы все — учётные, и тоже не многие угрожаемы отправиться *туда*...

— Я вот в августе вернулся с Двины. Испытывали мы эту пушку. Солдаты просто нарадоваться не могли: с ней-то — жить можно! скорей бы! поторопите там, в Питере! Вы подумайте, эта пушка — сколько жизней спасёт, наших русских солдат, наших братьев!

И — голосом полным, и — в лица, в лица:

— А вы... А вы на днях приняли решение отказаться от сверхурочных. Там, на Двине, если б сейчас рассказать, что мол питерские мастеровые время меряют... после смены гнушаются остаться, и пушек не будет...

Он — верил! Он — там, в двинских окопах, сейчас побывал, и там сказал это, и вместе с *теми* задрожал от обиды:

— Весь завод как хочет, но вас, братцы, я... прошу... Мы просим... Вот, и Рабочая группа... Облегчить их кровь.

Хотя просил — но уже твёрдо просил, убедясь в их поддержке, в простодушном сердечном сочувствии.

— Нашим мастерским, отобранным здесь, надо стать на круглосуточную, и по воскресеньям тоже. Сверхурочные разделить между сменами.

В нетерпеливых мыслях он уже разводил их по рабочим местам, уже зная, кому что придётся делать, уже видя, как завтра с утра...

Сопротивления — нет, не было. Но заминка — была. Но весёлость та привяла, а — покашивались друг на друга, поглядывали. На Комарова. На жандарма.

Да, верно, никто ж из них не был отделен, сам по себе, как же им принять решение? Траншейная пушка — да, хороша, понятна, и братцы с радостью, но — кто-то сильный первый должен выявить их волю, и сразу все согласятся.

А Комаров — что-то медлил, не чувствовал себя тем первым главным, кого-то глазами искал.

И вдруг из-за всех спин, из-за металлической опорной колонны кто-то невидимый, но полногласно, прячась — но властно, резко, дерзко, насмешливо, даже по-петушиному закричал:

— А кто начинал — тот пусть кровь и облегчает! А нам — Рига не нужна, пущай её немцы заберут!!

Не ожидал! Не ожидал Дмитриев! Это был тот самый крик, о котором Евдоким... Надо сейчас же — в ответ! ещё громче! находчиво! — а что? Так глупо — пусть немцы?.. А он изо всех сил им рассказал... И что ж тут отвечать?..

Не успел. Не нашёлся. Да и миг даётся только один. Растерялся.

А жандарм — тот сразу вскочил пружинно и с цыпочек — глядь! И быстро-быстро пошёл туда.

А там — свои спины рядом. Ищи-свищи!

Только хуже сделал.

Двести же пятьдесят сидели и молчали. Головы опустя.

34

Вечерняя смена уже вся была в заводе, дневная вышла и вся растеклась: прошли те короткие десять минут, когда залито чёрными людьми расширение Шлиссельбургского проспекта перед заводом гуще любой демонстрации или гулянья. В таких-то скоплениях всё и случается, но не случилось ничего. Одни ушли к заводскому двухэтажному рабочему посёлку, другие растеклись по переулкам; кому не далее Стек-

лянного городка, пошли по проспекту пешком; кто набил паровичок, все три вагона, внутри и снаружи, и ещё другие остались ждать на остановке. Площадь перед заводом, ярко-светлая от многих электрических фонарей, расчистилась. И открылся — трёхцветный флаг над заводскими воротами (день вступления на престол). Городовой на перекрестке. Медленно проходящий проспектом полицейский патруль (нарядили патрули после волнений). Запоздавший ломовой с перегруженным возом, и лошадь его при кнуте только кивающая, но не прибавляющая шагу. Свет в окнах и часто открываемая дверь жаховской портерной, по-нашему пивной. Закрытые косыми болтами ставни и двери мясной лавки и булочной. По ту сторону проспекта — ещё и церковная паперть, где, судя по огням притвора, шла вечерня. А по сю сторону — аптека. И маленький, прилепленный к длинному заводскому забору домок больничной кассы.

Вечер стоял всё такой же предзимний — с мелкой морозгою, почти не заметной против фонарей, с лёгким снежным налётом на нетронутых местах мостовой.

В домик больничной кассы на виду у постового и патруля — заходили, и не только заводские, какая-то барышня вошла в приталенной шубке, в каких не ходят на дальней Невской стороне, но это всё проверять уже не полиции было дело, им не поручено, пусть занимаются если кому надо. Знала и полиция, и заводская администрация, что в больничных и страховых кассах, заведенных за два года до войны, постоянно копошится что-нибудь незаконное, затёсываются туда посторонние,— но именно к кассам политичнее считалось не придираться. Да после того, что бурлило в начале недели на Выборгской, городовому и спокойней было самому не соваться и неприятностей не наживать: стоишь, не трогают, и стой.

А в больничной кассе, кроме сеней, всего-то и было две комнаты, и в первой, правда, считали на счётах, заполняли ведомости больничных пособий, увечных пенсий (хотя и между ними служащие раскладывали и переписывали рукописные ходячие листки). Зато служащие второй комнаты ничуть не удивились, что вот пришёл Машистов, свой заводской, простой рабочий, а не простой, известный связями и делами, и кивнул служащим — выйти. Значило: будет тут разговор, *явка*. Двое служащих прихватили бумажки, ручки, чернильницу, промокательную колыбалку и перешли в первую комнату. А сюда сразу же вошли строгий молодой человек в драповом песочном пальто и толстом тёплом рыжем кэпи и та барышня в шубке дорогого сукна, но по-простому покрытая оренбургским платком.

— Привет, товарищ Вадим! — встретил молодого человека сорокалетний Машистов с прямоугольным неподвижным лицом.

Молодой человек снял мокроватое кэпи на картонную бумагу, застилавшую главный стол, пожал руку Машистову и познакомил:

— А это — товарищ Мария. Иногда будет вместо меня. Запомнайте.

Не так-то строго было на обуховской проходной, когда нужно было — проникал «товарищ Вадим» и туда, и где-нибудь в каморке собирали человек и по двадцать, но сегодня не требовалось, и зря не мелькать-не дразнить, назначили тут. Да не главная ли польза больничных касс и была не та жалкая подачка, какую они кидали рабочим,— бесплатные там лекарства, лечение, две трети заработка при болезни или несчастном случае, а именно вот эта легальная возможность собираться под крышей, проводить агитацию, организацию и конспирацию без помех? С каждым годом такие возможности ширились: учреждались ещё рабочие кооперативы, заводские столовые, всё новые и новые удобные места явок, встреч, передач и просто устного убеждения. Несмотря на войну, с каждым годом работать становилось всё легче, всё ближе к тому, как вспоминали старшие (не сам Вадим, ему только 22), как это было в революционные годы. Выжили и в мутный Четырнадцатый

год, когда одурели все от шовинистического смрада, когда, рассказывают, при простых рабочих нельзя было и заикнуться против этой войны, листовок в руки не брали, и писать их уже отчаялись, и свою партийную принадлежность скрывали даже от соседа по станку — могли избить. Уж хуже того времени не придёт никогда.

— А остальные? — спросил товарищ Вадим, не снимая пальто, лишь вытянул с горла шарф бурый с красными клетками, положил на главный стол. Пригладил рукой свои светло-серые с прорыжью шерстяные упругие волосы, даже кэпи не примятые, опять в пружине. И сел за стол. Вопреки своей молодости, он манерами вызывал безусловное уважение.

— Сейчас должны.— Машистов подавал слова крепкой челюстью, размеренно, неспешно, значительно.— Уксила немного задержится.

Уксила задержится, Макарова тоже не было, но вошёл Ефим Дахин, резкий в движениях и как будто сильно нахмуренный, а нахмурен он не был, но так получалось от глубокого запáда его малых глаз.

— Привет, Вадим! — отрывисто, грубовато здоровался он. Темно посмотрел на девушку, но познакомили — поздоровался, как и с мужчинами, за руку.— Привет, товарищ Мария!

— Здравствуйте! — каждому говорила Мария, почтительно подавая руку, с приклоном, от полноты теплоты в голосе негромко. Она не снимала, но расстегнула шубку на груди, откинула на спину мокрый платок, показалась чёрная косоворотка с яркими студенческими пуговицами. И как ни строго ровным зачёсом назад были убраны её тёмно-русые волосы, и как ни строго, далеко от того, вели себя мужчины, нельзя было не заметить — красавица!

А Дахин вошёл не один и тут же показал:

— А это — гордость нашего механического цеха Акиндин Кокушкин!

Стоял за ним парень с шапкою в руках перед собой, сразу видно — не партийный, не опытный, раззявистый, со лба отлогого волосы откинуты как ни попадя — на уши, на затылок, куда нагладились, лицо худощавое, ещё безволосое, и рот приоткрыт — от радости.

— Ну-ка, Кеша, расскажи, как ты инженера отбрил! — мрачно любовался им Дахин.

— Да что...? Чего?.. Так вот... — ещё радостней заулыбался Кеша, открывая вихляво растущие зубы. А рассказывать — не мог, не умел такого.

— В общем,— взялся Дахин сам, глухо-хриплым голосом,— Комаров-лакей вместе с жандармом и заводоуправлением собрали нас на свой молебен. Во имя червового туза и золотого мешка. И сунулся инженер к сердцу самому добираться. Чтоб мы по ночам, по воскресеньям ещё новую пушку им делали...

Машистов знал уже, Вадим внимательно отнёсся, а Мария — распахнула, распахнула ресницы, открыла тёмно-карий взор, изумляясь и этой наглости инженера и этой смелости отпора.

— А мой голос все знают, так я Кешу научил: стань вот тут, за столбом, да крикни посильней, чтó тебе скажу, а я тебя прикрою.

А Кеша сейчас — и голоса того лишился, голоса дерзкого петушиного, и только улыбался кривозубо, видя, как все, и баричи захожие, им довольны.

У Вадима — да, была какая-то породистость, для представления — хорошо, а например для драки плохо: кожа — белая, тонкая, не то что рукавицей, а ладошкою в кровь сотрёшь, белая, но не гладкая, а с пупырышками розовыми на сковыр.

— Хорошо. Очень хорошо,— сказал он и улыбнулся Акиндину.— Спасибо, товарищ Кокушкин.

Подумал — привстал, и пожал руку Акиндину через стол.

Тогда и Мария тоже встала, подошла — и пожала руку Кеше. Да

бережно как пожала, или нежно как — зашлось кешино сердце, голова закружилась. Барышня такая ему и издали не снилась, не то что прикоснуться.

Воротилась Мария, села. И Машистов опустился в стул медленным прочным движением. И Акиндин так понял, что и ему — сесть, да комната и тесна была на пятерых, чтоб расхаживать тут. И он — сел у ближнего же стола, перед собой на стол шапку положил. И улыбался.

И только Дахин один стоял. Хмурясь.

Вадим посмотрел на того, на другого. И замешательство заметил и оценил, что всё правильно.

— Молодец, товарищ Кокушкин,— сказал он чётко, ясно, закруглённо, как награждая каждым словом.— И всегда следуйте своему рабочему чутью, оно не обманет.

— Он и слесарь у нас не плохой,— добавил Машистов.

— Оно не обманет. Подойдёт к вам сборщик на помощь раненым, или там семействам убитых, или беженцам — что вы ответите?

Может — и знал Акиндин, может и нашёлся бы ответить тому сборщику,— а сейчас? В нужное попасть не мог, да вымолвить ничего не мог, на барышню дивную косясь.

— Что вам подсказывает чутьё?

Не стянув губ, не покрыв зубов, смотрел Акиндин на бледного важного барича зачарованно.

Но Вадим и не ждал ответа. Неторопливо, сам себя слушая, а ясными глазами глядя на Кешу, объяснял:

— Надо ответить: а разве правительство спрашивало нас, когда затевало войну? Разве это мы виноваты, что оказались вдовы, сироты, калеки, беженцы? Вот ктó затевал, кто их оставил такими, тот пусть и платит. Да разве морю народного бедствия можно помочь скудными рабочими грошами?.. А подойдут к вам собирать на политических жертв, на сосланных, на венки или на семьи — вот это наш сбор, тут кроме нас, рабочих, никто.

Ни радостного, ни похвального уже ничего не было в этих словах, но Акиндин так и застыл, полуулыбаясь.

А Мария, не по молодости степенная, сидела с тем спокойствием несуетливой красоты, какое бывает в русских женских лицах. Слушала Вадима, не пророня, и переводила на Кешу, проверяя, и благожелательно на остальных.

— Вот на этот крючок патриотизма и ловят нас. У кого сердца молотом не откованные.

Образ! Мария не упустила его тёмными распахнутыми глазами. Как это верно и метко! Вот сидел через стол от неё Машистов. Не только лицо его как будто вышло из-под того молота — не ýже к челюсти, не шире ко лбу, с твёрдыми неподвижными глазами, но и вся его ощутимая душевная железность — не от того ли откованного сердца?

А Вадим, не скупясь, продолжал и для одного Кеши, ибо остальным это уж слишком азбучно было:

— Надо открывать себе глаза, товарищ Кокушкин, что наш враг — не в далёкой где-то стране, за границей, а тут, у нас, рядом. До каких же пор будем поддаваться, что русский солдат — наш брат, ему нужно пушку скорей, а немецкий солдат, немецкий рабочий — что ж, нам не брат? Или не всё равно для пролетариата, кто его эксплуатирует — русский капиталист или немецкий? Кто вас слишком назойливо призывает спасать отечество, тому отвечайте старым обуховским лозунгом Девятьсот Первого года, вашим же лозунгом. Знаете, помните?

Где там Кеша, юнец, кажется и другие не знали, не читали. Но Вадим знал, хотя и не обуховец, и теперь уж для всех:

— *Наше отечество — там, где хлеб.*

Так, так, моргал Акиндин. Очень был согласен, польщён. Уходить — не собирался.

А Дахин стоял над ним, сердитый. Так и не сел.

Достаточно было сказано, но потому ль, что остальные не подошли, товарищ Вадим, белым носовым платком отерши углы рта, продолжил и ещё, так же ясно, гладко и без форсировки голоса:

— Нам —умирать, а им — только пир, им эта война хоть десять лет иди. Вам — бумажные деньги, а воротилы расхищают народное золото. Вот, например, что вы сейчас едите? Ведь нечего.

— Щи, картошку, — вспомнил Кеша.— Рыбу.

— А щи — без мяса?

— Когда и мясные.

— Вот. Да хлеб ржаной, ситного вы не купите. На этой еде разве по силам пушки отливать?.. А что фабриканты кушают? Вы представляете?

Нет, этого Акиндин не представлял никак. Да и другие тоже. Там какие-нибудь рябчики, плавающие в сметане, неописуемые, на земле не бывающие.

— Рубаха, — осмелел Акиндин, — раньше три четвертака и сносу нет. А сейчас как бы не три целковых. — Ещё оживился. — За угол я платил два рубля, а нынче хозяйка восемь требует.

— Вот. Вот. А ещё хотят объявить вас бесправным стадом, с завода на завод не перейти. А ещё хотят вас в маршевые роты и на фронт...

Но уже за спиной Акиндина вошёл и стал длинный белый деревянный Уксила.

И хмурый Дахин сказал нетерпеливо:

— Ладно, Кеша, ты теперь иди.

Кеша опомнился, вскочил, взял шапку, радостно поклонился, поклонился — своим, чужим, никто больше руки ему не жал, — пошёл.

Вот теперь Дахин сел. Резко.

Товарищ Вадим улыбнулся:

— Никогда не нервничайте, товарищ Дахин. Никогда не жалейте времени на агитацию, она всегда себя оправдает. Да вот вы и правильно поступили. Вы Кокушкина ведь не готовили постепенно? Сразу, да?

Имел в виду Вадим существующие разные методы вербовки и развития рабочих, прежде чем допустить такого в партийный круг: наблюдать за ним у станка, изучать его настроение в якобы случайных разговорах, давать задания сперва неответственные, вроде денежных сборов, потом — листовки переносить из мастерской в мастерскую.

— Вот, перешагнули смело — и оборонческую паутину порвали, и человека проверили. И привели его сюда, тоже правильно.

Дахин не терял своей хмурости — не выкатить было ему глаз из ямок, и губ не помягчил, — а в чём-то всё-таки видно было, что похвалой доволен.

Как слушали Вадима — заметила Мария. Насколько он был моложе всех, и какое признаваемое превосходство речи, ума, опыта.

Однако теперь остались только свои, партийные (очевидно, и Мария такая, раз он её привёл), — и все стали строже и сдвинулись ближе к делу.

— Товарищи, — сказал Вадим новым свежим тоном, не плавно-разъяснительным, как Кеше. — Я сейчас — с прямым поручением от ПК.

Пэ-Ка!! Это прозвучало!

— Петербургский Комитет очень обижается на обуховцев — как вы могли 17-го—18-го не поддержать Выборгскую сторону? Пальцем не пошевелили.

Только вздохнули в ответ. Машистов — тяжелей других. Машистов — заводской *организатор.* Главная тяжесть упрёка — ему. Пошевельнул прямоугольной челюстью:

— Что можем, делаем. Отказались от сверхурочных. Сейчас два цеха бастуют. За полторы получки.

— Тогда почему не все? — строго спросил Вадим. — Вот и смотрят в ПК на Невскую сторону, что мы ликвидаторам передаёмся.

— Ну уж! — вырвалось у Дахина зло. Глаза его иглили из углубин.

Вадим развёл белыми крупными мягкими пальцами (он не стыдился своих нерабочих рук, они нарабатывали лучше):

— А как же? А 9-го января? Весь рабочий Питер бастовал, одна Невская работала. Чем мы отговаривались? Что не пришли нас «снять», позвать? Вот и говорят, что за Невской заставой — не боевые тенденции.

Верно, усмехнулся долговязый Уксила, согнутый над конторским столом. Стыдно, давно видно — не боевые.

А руки их всех — трудовые, честные, крепкие, жилистые, привыкшие к хватке инструмента — были видны, лежали на столах, вцепились в спинку стула, — и она была допущена в этот круг! Вероника не верила себе: сегодня впервые вот так запросто, как равная, сидела с этими железными людьми, с этими верными сердцами, ещё стыдясь и несменённой своей шубки, в какой прилично пойти в Александринку, а здесь только конспирацию нарушаешь, и своих обильных волос, как выставленных для любования, и совсем уж нежных рук. За гордость, за счастье быть принятой равно этими людьми и оказаться полезной им — она клялась отречься, уже отрекалась и уходила от своей прежней пустой жизни, от бесплодной болтовни.

Отрекалась — и не совсем внимательно слышала, о чём тут говорили сейчас.

— Это — влияние Александровского завода, — вдумчиво сказал Машистов. Вдумчивость исходила от его уставленных, почти не шевелящихся глаз. — Они омещанились, домки себе устроили, коровок держат — и наши за ними тянутся.

— Сейчас к праздникам готовятся, вот в церковь повалят! — отрубисто выбросил Дахин.

— Что ещё за праздники? — удивился Вадим.

— Казанская. Потом — всех скор-бящих! — выбросил Дахин. — Престол у них.

— Ну придумают же попы — «всех скорбящих»! — изумился, развеселился Вадим. — Вот ловкие, прямо в цель! Только всех скорбящих надо на восстание поднимать, а не боженьке поклоны...

— Очень пассивные наши стали, — с сильным финским акцентом сказал Уксила. — Боятся маршевой роты. На кооперативы надеются.

Самому Уксиле, как финну, маршевая рота не грозила ни при каком случае. Воинской повинности на них нет.

— На кооперативы! — усмехнулся Вадим большими нежными розовыми губами. Накормят вас кооперативы... Гвоздёвский Столовый центр... Вы-то хоть, вы — понимаете, что вся эта возня с кооперацией и столовыми — только усиление эксплуатации, чтоб из вас же и вытянуть больше?

Да понятно, тупились рабочие вожаки, очередной обман.

— Вы плетётесь за думскими меньшевиками, за Чхеидзе, марксистскообразным лакеем Гучкова-Пуришкевича,— и даже он революционнее вас.

Молчали. Темнота.

— В общем, товарищи, было заседание ПК. И мне дали инструкцию к Обуховскому. Главная установка нашей пропаганды теперь берётся — на неравномерность потребления, на дороговизну, нехватку продуктов. И в этом направлении надо настойчиво использовать недовольство и возмущение масс. А вы — всю кампанию по дороговизне прохлопали.

Молчали, нечего ответить.

— Но не поздно и сейчас.

Из внутреннего кармана пальто достал несколько бумаг, сложенных вместе, вчетверо. Развернул.

— Во-первых, надо будет сколотить короткий митинг, принять вот такую резолюцию. Вот — проект типовой резолюции, разработанной ПК для собраний рабочих о продовольственном кризисе... Мы, рабочие... такого-то завода, вписать какого... обсудив вопрос о продовольственном кризисе... — Бойко, бегло читал, но слова не мешались, не цеплялись. — Первое, что он есть неизбежное следствие непрекращающейся империалистической бойни, второе, что в России он осложняется господством царской монархии, отдавшей хозяйство страны на произвол хищников капитала, третье, что дальнейшее продолжение войны влечёт за собой голод, нищету, вырождение народных масс, четвёртое, что кооперативы, вот как раз рабочие столовые, повышение заработной платы и тому подобные полумеры лишь выделяют рабочих в особые условия снабжения, натравливают остальное население на рабочий класс и разделяют силы революции, пятое, что единственным средством против голода является решительная борьба против самой войны. Итак, всему рабочему классу и всей демократии надо подниматься на революционную борьбу и на гражданскую войну под лозунгом «долой войну»!!

И это была — только малая часть его способностей, что он так быстро мог прочесть, охватить, объяснить материал. Уже теперь знала Вероника, что её руководитель в новой жизни почти с той же быстротою и — писал! «Товарищ Вадим» — Матвей Рысс, состоял в литературной коллегии ПК. Он был — специалист по листовкам. Он садился и почти за час уже начисто мог горячим убедительным слогом призвать массы или выйти на улицу («бросайте душные своды тюрем труда!»), или напротив — не выходить («не дайте прежде времени пролить на питерские мостовые свою драгоценную рабочую кровь!»), попеременно обратить гнев то на «романовскую шайку потомственных кровопийц», то на «акул отечественной промышленности», то на «безнадёжную мещанскую тупость социалистов-ликвидаторов». Можно признать, что в этих устоявшихся выражениях не хватало литературного вкуса, но какой напор! — он захватывал лёгкие. Да не сам Матвей придумывал эти выражения, они уже существовали и соответствовали аудитории и задачам действия, умение же Матвея состояло в том, что он сотни их помнил, и они свободно перемещались в его памяти, при нужде выныривали, при нужде тонули, — и вдруг зацеплялись и эффектно подавались под перо те именно, самые нужные, «колесницы милитаризма» или «коммивояжёры шовинизма», «коронованные убийцы» или «измученные невзгодами братья», которые должны были окружить и укрепить последние требования и призывы ПК.

Да что ПК!

— Есть указания и от БЦК! — всё суровей, всё значительней объявлял Вадим.

Как БЦК? Повернулись все, Машистов резче обычного:

— Бюро ЦК? Так его ж нет.

— На днях восстановлено, — загадочно сказал им Вадим. И ещё загадочней: — На днях вернулся из-за границы товарищ Беленин.

Вот это *из-за границы вернулся* — поражало воображение. Все фронты в снарядных разрывах, воронках, проволоках, все границы в кордонах, беспаспортный гонимый подпольщик — как он переносится, по воздуху, что ли? вчера в Швейцарии, сегодня в Петербурге,— что за богатыри?

— Беленин? Это кто? — не удержался переспросить невыдержанный Дахин.

Не знал он, кто такой «Беленин»? Косо усмехнулся длинный Уксила, ещё застылее смотрел Машистов, сожалительно облизнул губы Вадим, и даже Веронике, самой не знавшей, кто такой Беленин, стало неловко за неприличие дахинского переспроса.

И Дахин ещё глубже забрал свои глаза в притемнённые глазницы.

— Так вот, БЦК указывает, — ровно продолжал Вадим. — Всеми силами бороться против гвоздёвцев. Последовательно и по широкому фронту саботировать всё военное производство. Понятно?

Вполне. Да ведь кое-что и делаем.

— Но предупреждение: помнить, что наша главная сила — стачка. Квалифицированных рабочих не хватает, на фронт не пошлют, и можно требовать многое. Бастовать, устраивать митинги, принимать резкие резолюции, но ни в коем случае не дать себя вызвать на преждевременную бойню! Если придётся выйти на улицу, то всяких столкновений избегать. Время не пришло. Последний штурм будет тогда, когда мы установим полный союз с армией. Тоже понятно?

Как же далеко, как далеко ушло то время, вспоминала Вероника, тот июль Четырнадцатого, когда студенты на Невском пели патриотические гимны, стояли на коленях перед Зимним, и курсистки-бестужевки радовались: война — освежающая буря! Когда сидящие даже в трамваях снимали шляпы, если по улице манифестация пела «Боже, царя храни». И как же всё повернулось — когда? — что ни взятие Эрзерума, ни брусиловское наступление уже никого не выгонишь праздновать на улицу. И вот, серьёзно, как о самом близком: время последнего штурма! И вовсе открыто: не надо нам ваших пушек, война вашей войне!!

Вот это ощущение верной силы — силы растущей, знающей себя — покорило и привлекло сюда девушку, перетопляло её счастьем присоединиться. Она удивлялась сама себе прежней: как слепо и долго не могла выйти на верную дорогу.

— И ещё последнее. Постановлением БЦК, 26-го, в день открытия суда над революционными матросами, — провести всеобщую петербургскую однодневную стачку. Стачку протеста против этого суда.

— Это — какими же матросами? — не обжёгся, не унялся Дахин, всё ему знать.

— Революционными, сказали! — оборвал его Уксила.

А Машистов, хотя тоже не знал про матросов, но смотрел так преданно-твёрдо, будто всю жизнь только об этих матросах и сокрушался, уже наболело у него с этими матросами.

— С матросами вот какими, — объяснил однако Вадим. — Прошлой осенью они вели пропаганду среди судовых команд. Там... из-за пищи, из-за немецких офицерских фамилий, неважно. Но вызвали волнения на «Гангуте» и на «Рюрике», и мы их рассматриваем как революционных. Продержали их по тюрьмам, теперь готовят расправу. Да вы завтра листовки получите, вот товарищ Мария привезёт, для чего я её и привёл.

Мария покраснела, все посмотрели на неё.

— А в листовке, если хотите, вот... — Вадим охотно развернул и бегло читал с написанного выдержки, так читал, как бежит кенгуру или заяц — прыжками, только чуть касаясь кое-где, чуть унося на лапах крошки земли: — ...За то, что они в душных казармах сохранили ясность революционного сознания... не захотели быть бессловесным орудием в руках... Правительство бессильно посадить на скамью подсудимых миллионные кадры рабочих, но его презренные суды всегда к услугам... В знак союза революционного народа с революционной армией мы — останавливаем заводы и фабрики! Пусть дрогнет рука палача перед протестом народа! Долой смертную казнь!

Долой смертную казнь!.. Мечта Толстого! Мечта лучших сердец! И сколько лет блужданий потратила бестужевка в «мирах искусств», пока достигла этих людей и задохнулась от их широты!

Тонкая нежная кожа Матвея разрозовелась. Но не всё подряд читать. Сложил бумажки, оглядел зорко каждого из товарищей:

— Но одновременно это будет стачка и против ареста солдат 181-го полка. И — против дороговизны. И участием в этой стачке вы смоете свой позор за предыдущее бездействие. Готовьтесь. Потянете?

Должны были потянуть. Уксила встал в свой длинный рост. И Машистов поднялся, поднимая параллелепипед головы.

Уговаривались по мелочам, одевались.

Буро-красным шарфом Матвей обмотал горло, надевал теперь кэпи.

И Вероника натянула оренбургский платок, пряча холёные волосы свои и хоть немного опрощаясь. Жали руки все всем, и ей пожали трое. Она касалась этих честных рабочих труженых рук почтительно-благоговейно, а ей пожали крепко, железно, больно — и радостно.

Доверяли ей. Посвящали её.

Боже, как хотелось ей оказаться хоть немного полезной и достойной этих людей и этого благородного движения: кончать войну! Кончать все войны на земле, раз и навсегда! И все смертные казни! Никого не угнетать! Всех — освободить от покорения!

Вышли из домика больничной кассы — на виду у постового, где-то и патруль, и Матвей для безвинного вида взял девушку под руку, и так пошли они, пошли медленно по Шлиссельбургскому.

И хотя знала Вероника, что Матвей взял её лишь для виду, что столько заботы к ней нет у него, — а шла, как если бы всё взаправду.

— Я тебе так благодарна, что ты меня привёл. Что ты мие это поручаешь. Ты увидишь, я буду очень подходящая.

Матвей молчал, о своём думал.

Приятный был полузимний вечерок. Мелкие холодные не снежинки, но и не капельки, садились на лоб, на щёки. Фонари, фонари уводили по длинному проспекту, без тротуаров, с одной мостовой. Лежал обрывок газеты — один, другой. Запущено, вряд ли так раньше. Малолюдно было. Лавки все заперты, в переулках темно. Проехал в город новенький американский грузовик, посторонились, Вероника отбежала, шубку сберегая от обшлёпа, невольно. Да и Матвей подался.

А за двадцать длинных кварталов впереди них этот город, полгода тёмный, весь в камне, однако такой приспособленный для вечернего света, для развлечений, балов, театров, рысаков, поездок на острова, такой налаженный город блаженства для немногих,— в этот вечерний час только начинал жить своей главной жизнью, и юные гвардейцы на лихачах, вставши в рост для стати и перчатками по плечу возницы стегающие для скорости, гнали на свои назначенные удовольствия, ничего решительно знать не желая об этих рабочих окраинах, об этих стачках, уже ударявших и которые вот ударят.

И самой Веронике надо было садиться на паровичок, потом на трамвай, пересечь весь этот праздный нарядный город, его мосты, и в дальний край Васильевского острова, в конец Николаевской набережной, на 21-ю линию.

Но — не хотелось ей так быстро уезжать. А Матвей жил у отца-адвоката на Старо-Невском, но снимал комнату и здесь, близ бехтеревской клиники, скоро налево, недалеко от своего Психоневрологического института. Сейчас институт их бурлил, отнимали у них автономию, — и Матвей должен был быть близко, на месте.

И когда, миновав возможную опасность полицейского пригляда, он отнял руку, не вёл её больше, она посмотрела на него сбоку, на его смелое, уверенное, энергичное лицо, и робко сама подвернула руку в облитой перчатке под его локоть. А чтоб это не выглядело кисейным слюнтяйством, сразу и спросила:

— Матвей. Скажи...

Раньше-то всего хотелось ей спросить — кто такой Беленин (кличка, конечно)?

Но — нельзя было так спрашивать и напарываться, чтоб он на это указал. В конспирации не должно быть никаких пустых любопытств или действий. И эта замкнутость партийной тайны и собственная неуклонная твёрдость Матвея сливались для Вероники в одну единую мужественность. Эта партия — не шутила, не болтала, лясы не

точила, и так сильно отличалась от того расслабленного, бездейственного окружения, где Вероника прозябала до сих пор.

— Ска-жи... Я всё-таки вот не понимаю...

— Да? — рассеянно спросил он, глядя вперёд.

Вероника и хотела стать поскорее цельной, как все они, но всё же возникали, двоились сомнения, и она — спрашивала, Матвей и поощрял — спрашивай.

— Вот этот лозунг — превратить нынешнюю войну в гражданскую. — Она называла грозные исторические явления, а голос её был такой мягкий, домашний.— А это не может, наоборот, затянуть продовольственный кризис? Я вот думаю: если война уже на третьем году грозит народу вырождением — так что же будет, если она продлится, хоть и гражданская?

— Что ты, что ты! — прислушался и просто рассмеялся Матвей.— Как только мы сшибём это грабительское правительство и всяких негодяев Гучковых-Рябушинских, как только установится демократическая республика — сразу не станет этих хвостов, этой дороговизны, все продукты сразу появятся.

— Откуда же?

— Да их полно. Их в Питере сейчас — полно. Их только прячут— купцы, промышленники, ожидая сорвать на них сверхприбыли. Вот мы идём мимо этого длинного забора, не перескочишь. А — что за ним? Какой-то склад, наверно, и очень может быть, что в этом складе полно провизии, товаров, и только добраться надо. Не-ет,— усмехался он её неверию.— Весь продовольственный кризис — от игры спроса и предложения, от спекуляции. А установить завтра социалистическое распределение — и сразу всем хватит, ещё и с избытком. Голод прекратится на второй день революции. Всё появится — и сахар, и мясо, и белый хлеб, и молоко. Народ всё возьмёт в свои руки — и запасы, и хозяйство, будет планомерно регулировать, и наступит даже изобилие. Да с каким энтузиазмом будут всё производить! Можно больше сказать: разрешение продовольственного кризиса и *невозможно* без социализма, потому что только тогда общественное производство станет служить не обогащению отдельных людей, а интересам всего человечества!

Вероника не смотрела себе под ноги. Она уже и второй рукой держалась за локоть Матвея и заглядывалась на его увлечённое выражение. Она любила, когда он мечтал о будущем, это даже не мечта была — дрожь пробирала от яркости уже воплощаемых картин. От силы этого человека.

Когда-нибудь познакомить их с братом Сашей, вот если переведётся в Петербург. Они сразу должны сойтись. Так и видела: они просто похожи! Не наружностью совсем, но чем-то другим, бо́льшим!

— Да и это только говорится — «гражданская война». А между кем — и кем? Целому единому трудящемуся народу — долго ли может противостоять кучка эксплуататоров? Месяц-два? Да если ещё и по всей Европе пролетариат сразу же будет брать власть — и протянет нам руку? А германский пролетариат — это какая силища!

— И война с Германией прекратится?

— Так именно! именно! Как только будет создан социалистический строй, так сразу все войны кончатся. Две социалистические страны между собой — неужели могут воевать? Ну как ты себе это представляешь?

Действительно, нелепо.

— Социалистическое государство уже никто воевать не заставит! Войны затевают правители, а не народы. Кончится капиталистический строй — и кончатся людские страдания.

Как хорошо, Боже! И как хорошо, что не постыдилась доспросить, и теперь сама так стройно видишь всё.

А между тем:

— Вон остановка, иди. Значит, завтра заедешь ко мне за листовками — когда?

А ему налево поворачивать, по Четвёртому Кругу.

— Я тебя провожу,— попросила она, изгибая спину.

Пошли по этой ломаной тёмной улице, к парку туда.

Промолчали немного. Вдруг Матвей остановился. Перенял её за спину одной рукой и стал целовать. То ни взгляда, ни движенья к этому не было, а вот — часто, жадно, наминая ей губы губами, запрокидывая голову ей назад.

И платок её сбился, свалился на спину.

Но не было ей ни холодно, ни изогнуто, ни колко.

Счастливо.

* * *

Разрушим дряхлую деспотию Николая Второго, сметём с земли русской всю погань дворянскую и поповскую — и кончится насилие, и прекратятся войны навсегда. На арену, залитую кровью, уже вышли передовые отряды Интернационала. Не медлите, товарищи! Бойтесь придти слишком поздно. Да здравствует Федеративная Республика Европы!

(РСДРП)

* * *

35

Деревенское уличное прозвище редко такое пришлёпают, чтоб не обидное было, чтоб сам бы ты себе не хотел покраше. В том и прозвище — клюнуть тебя побольней: и нас по больному ожгли всех, ну и тебя же! От малых твоих лет, парень ли ты, девка, приметчиво и нещадно следит за тобой улица, глядит через окошки, хромануд ты аль из рук что вывалилось, слышит через заборы — заскулил аль замолил; не опустят тебя и в поле, на работе, в дороге ли извозной, ось ли твоя не мазана, лошадь не кормлена — вот ты уже и Шастрик, вот ты уже и Кырка. А уже бабы к бабам приглядчивы вдесятеро, уж и дёжку ты не так накрыла, и отымалку не туда кинула, у прялки не так села — вот ты уже Сувалка или Трумуса, нерасторопна или суетыга зряшная, не знаешь, что хуже. Кинет прозвище кто как приметит, кинет — и либо тут же оно опадёт сухим ошмётком, либо подхватится, подхватится уличным ветром и влепит тебе в самую щеку, ажнык хоть сгори. У садомни́, у малышей — прозвища у всех, но они почти не переходят во взрость. А уж взрослой девке влепится — и внуков с тем будешь качать, парню влепится — и в дедах таким же проходишь, смотри — и потомкам передашь: по Рюме так и пойдут все Рюмины, по Сате — Сатичи, вперекор и с фамилией. Фамилия твоя — для волости, для писаря, для воинского начальника, для земского фельдшера. Фамилия затёрта от прапрадедов и прадедов, и лишь то указывается, чьих ты, от кого. А тебя самого по-правдошнему выскаливает для своих деревенских — только прозвище. За один какой-то миг твой нескладистый, за одну какую-то промашку — так и врежется тебе на весь век.

Верно говорят: на час ума не станет — навек дураком прослывёшь.

Так же и помещиков. Назвали вот Цирманта — «заплатанный помещик», и хоть ты теперь хоромами расхлеснись, тройки в серебро убери — всё едино будешь «заплатанный», ко князьям Волхонским не мостись.

Есть в этой выхватке, есть. Обапол — никого не назовут. Высмотрено — значит в тебе это сидит. И везуч на деревне, кому прозвище кинут не вовсе обидное: Мосол — знать добычной (но — с урывом, с рычаньем), Калдаш — знать крепкий (а — и со спотыкой, и колодистый).

Елисея же Благодарёва назвали в Каменке — Стёбень. И никаким призвуком не было то обидно.

Появился он в Каменке уже взрослым мужиком, за тридцать лет, перед турецкой войной, и женился на Домаше Ополовниковой, призяченным вошёл в дом. Местиость его родная была позадь Байкала, хоть и там его прадеды не извеку жили. Как-то ж прозывали его и там, но того прозвища он сюда с собой не перенёс, никому не высказал, как и про всю ту свою опрежную жизнь, разве что Домахе когда, а сыновья ничего про то от батьки не слыхали. Что-то ж он до тридцати лет делал, где-то жил или носился, поди на чём-то хрустнул, а и на речку Савалу не ломленый пришёл, так что скоро и в бобыле признала Каменка: Стебень.

Не легко досталось Елисею Благодарёву и тут, в хилой семье без мужиков, долго на него и на первого сына не давали надела, начинать пришлось с купли в долг, выплачивать в рассрочку, потом ещё приарендовывать, лишь позже дали на две души, потом и на второго сына Арсения, а у них детей уже пятеро было, да двух сирот Елисей принял от домахиной сестры, в их же семье когда-то-сь и доросшей до выданья. Вот уже и в Каменке жил Елисей боле тридцати лет, не пил, не курил, не зарил, не буянил, только тянул свой воз, но так был воз перегружен и так зажирали колёса, что всего напряга жизни его и тела не хватало разогнуться и понестись. Как и многие, не он один, запряжен был Елисей свыше мочи, а досадливей всего — что дорога в колдобинах. И всё ж старшего сына Адриана сумел он выделить на хутор, под Синие Кусты. И всё ж додержал до нонешней старости прямой стан, сторожкость головы и ясный острый дальний взгляд, так что слишком близко смотреть ему как будто и резало, щурился он. Светло и дальне он так поглядывал и в 66 лет, кубыть молод был ещё и полагал свою могуту ещё впереди.

Арсения же Благодарёва звали по-уличному Гуря. Ростом и крепостью до батьки дотягивал он, но не было ни в нём, ни в брате Адриане отцовской ровноты и струнности. Они и волосами и поличьем были потемней, носы пошире, скулы пораздатистей, по-тамбовски, и губы пораспустенней, и голова так не взнесена на шее. Ворчал Елисей: «Испортила ты, Домаха, мою породу.»

А вот самый меньшой сын сличен был с отцом, тоже светленький да стебелистый. Сейчас бы ему было осьмнадцать. Но — подростком утоп, лошадей купая в пруду, на переплыве держась за хвост.

И двум дочерям замужество досталось на отшибе: одной — в Коровайнове, на Мокрой Панде, другой ещё дале — в Иноковке, уже под Кирсановым. Так и жили с одним Арсением, и то готовясь к выделу его. А тут война.

И — ни по чему, ниоткуда отец его сегодня не ждал. А из-под тележного навеса услышал, как звукнула щеколда калитки,— и ни по чему, а в сердце торкнуло мягко. А и по чему: Чирок гавкнул (пока овцы не поставлены на корм, по всему селу собак с цепей не спускают), второй раз полугавкнул уже с приветом, и тут же смолк, ка'б запрыгал. И, как был, с седёлкой в руках, запрягать намерялся, Елисей вышел по подворью — и сверкнуло ему:

— Сенька! Ты?

Да как будто вырос ещё! — от солдатского затяга. И только спустил мешочек с левого плеча на земь — как уж батька его грабастал, уткнулся ему в щеку, над погоном с каймою жёлтой, скрещенными пушками и пламенем взрыва, гренадерским значком.

И фуражка военная сбилась от батькиной бараньей шапки. И седёлкой по спине прихлопнул Арсения, забыл откинуть. Усами, бородкой — в голое сенькино лицо тык, свежий запах ветряной, сенный, кожаный — здешний, нашенский!

И никто не наклонясь, ростом близки.

— Папаня! А ты не погорбился.

— Я-а? — на откинутых руках, на сына дивуясь.— Я сноп спускаю без цепа, пять раз размахнусь — и сыромолотка.

И поверишь: тополь, не старик, хваткие руки на сенькиных плечах, голос твёрд, взор ясен:

— У меня навильник — копна, пока вторую подвезут — а моя уже на скирду. Я конца себе ещё не предвижу, Сенька. Коль хошь — и воевать сейчас пойду, не хуже тебя. — Поприщурил свой острый дальний взор.

Да его уже и на Японскую по возрасту не брали. А с Турецкой у него — Егорий есть. Но у Сеньки уже две лычки. А на шинельной груди вот уже два крестовых звяка (что ль теперь их легче дают?), и один Егорий такой сверклый новенький, ленточка чистая, даже жалко носить затрапезно. Не проминул батька, огладил кресты:

— Ну, ну. Значит, ничаво служишь? А чо ж без нас скончать не можете?

И заново поцеловались.

На том их мать и настигла — в окно она Сеньку не приметила, а к подворью стена избы глухая, — теперь из сеней, должно, услышала, из-за угла избы выкатила шаро́м. Роста в ней много поменьше мужа да сына, а сил не избыло, отталкивает мужика, сына к себе забирает, гнёт, обдаёт его дымным запахом да печным жаром — и дыханьем одним, не голосом:

— Сенечка! Сыночек!

Сейчас-то его и обцеловать, другой раз не нагнётся, постыдится, сейчас-то его и обцеловать, богоданного, Матушкой-Богородицей Казанской сохранённого и возвёрнутого ко самому престольному дню её.

Гладка мать, не больно морщинами иссечена. Нисколько она на отца не похожа, весь склад и выгляд, глаза тёмные, — всё другое, а тоже ясность во взоре.

Всякая баба при том плачет, а мать — дёржится. Сеньку за щеки руками, глядит-любуется, а не всхлипнула. Глядит да всматривается, да проверяет:

— Глекось, и ранетый ни разу не был?! Не скрыл?

— Не-е, маманя, целый, сама видишь.

— И с лица не смахнул,— проверяет мать.

— Да-к мы что едим, мамань, по крестьянству такого не увидишь. И забот — нетути, офицеры за нас думают, чем ня благо?

Смешно и матери.

— Да как же в пору угодил, к самому престолу! Что ж не написал? Ну гожо и так: седни до вечера да ещё вся пятница, уж напяку, наварю!

Похлопал Арсений и мамаию по плечам мягким.

— Да какие вы у меня все справные, молодые!

Кинула мать на отца, строго:

— Сла-Богу, нельзя сказать, чтоб без мужика в дому. Иные вон маются, пленных просят, а мы застоены.

Усмехнулся батька под светлыми усами:

— Да хошь проси австрияка, а я на войну пойду. Чо ж, гляди, у сопляка два Егория, а у меня лишь один?

А седёлку так и дёржит в руке. Но уж — не запрягать.

Отец старше матери на 14 лет и то говорит: рано женился, мужик до тридцати шести годов должон терпеть. Бранил Сеньку, не пускал в двадцать четыре жениться. Бою выдержано. Да уж Адриан отделялся, тоже заранился.

А где ж Катёна? Катёнушка — где? Сама мать не сказала, Сеньке спросить не ли́чит.

Пошли к заднему крыльцу, отец и солдатский заспинный мешок и седёлку тащит, и фуражку сенькину, упала ведь.

А из сеней на крылечко, сквозь дверь распахнутую, да не на карачках, а стоймя, правда за косяк придёрживаясь, ногу через порожек — мах, вот он идёт! вот он ступает, в одной сорочёнке, босой, непокрытый, льняно беленький. — Са-во-стьян! — глазки распялил на дядьку невиданного. И губу отлячил — ну, точно как тятька.

— Сынколёк мой первенький! Груздочек мой!

На руки его хвать — да в высь! Нет, не покоен, не даётся, дядьки такого не знает, тянется к бабушке:

— Ба-а! Ба-а! — вон как трясут, ведь вон как кидают.

Попестовал — отпустил мальца на свои ноги:

— Ну иди, достольный, иди, хорошо ходишь. А назнакомимся, время будет.

— Да ведь застудится, вот высягнул! Фены!

А тут и Фенечка выскочила, сестрёнка двоюродная, сиротка, всплеснулась. Востренькая, да быстренькая, чуть не на цыпочках брата встречает.

— Да ты ба-арышня какая,— прокатил голосом Арсений и в головку поцеловал, в разбор волосиков. — Выросла-то за год! Да ты скоро до Катёны дорастёшь.

Да где ж Катёна моя, что ж она не вспрянет? Про Катёну-то что ж ни слова никто?

А спросить неловко, не личит.

А уж мать:

— Фенька! Бегом за Катёной!

Да и Фенька сама догадалась: на голову — платок, на плечи куфайку, ноги в коты и — бега́ на гумна!

— Они — в риге, лён мнут, Фенька пойисть приходила. Вечёрось мы капусту дорубили, доквасили, а седни — на лён.

Чередом пошли из сеней в избу, Савостейка первый, бабушка дверь открыла, он о порог высокий упёрся, ногу одну перекинул, другую, расправился, залился — побёг, по полу некрашенному, оттого тёплому босым ногам. Ещё со своего детства Арсений помнит босыми ступнями — теплоту пола, дранного голика́ми, жёлтого.

Особливое узнавание: вот это я, отлитой, от лобика до ноготочка. Не просто мой сын, мой станется и непохож, а тут и словами не переб-рать — какое оно в склади, а до дрожи — я! второй, ещё раз!

А в прорези перегородки — зыбка, ещё докачивается на подвеси.

А в зыбке — Проська.

Спит...

Никогда не виданная дочура моя, мала́я такая... Ещё ни в чём размера нет, глазки закрытые как мизинные ноготочки, от носа лишь ноздри кверху, чо там разберёшь, на Катёну ли, иа меня похожа, это бабы умеют. А всё одно колотится сердце — кровь моя.

Дочка. Есть и дочка.

Сын да дочь, красные дети.

Прикоснулся пальцем ей ко щёчке, она и не чует.

На кого и смотреть, не знаешь. Груздочка б своего на руки схватил — нет, не даётся, теперь за бабкину юбку спрятался, оттуда выглёдывает.

И батька стоит молча, перемявшись, глядит на своего фейерверкера, как тот на груздочка. Тоже, может, лишний раз бы сына обхватил.

Та́к вот, сам старников не балуешь — вырастет сын и тебя не побалует.

Снимает солдат шинель, а мать в красном углу на скамью мостится да перед поличкой лампадку затепливает. На день раньше богородичного праздника пришла радость в дом, застигла на неубраньи.

Сошла со скамьи, на своих оглянулась и показала на колени стать.

И отец, позади неё.

Голова у батьки облая, высокая, как яйцо. А не лыс, изрядно ещё волос, от шапки примятых, седоватых, но и с желтизной.

Опустился и Сенька.

Стала Доманя читать молитву. Не бубнит она, не ломится через слова, как ночью через кусты, нет, в своих немногих молитвах выска-

ла толк, и не так Богородице молится, как разговаривает с ней по сердцу.

И Савоська, гли, без понуждения, тоже при бабке на колени стал, и когда все крестятся — тоже чего-й-то рукой махнёт, и на иконы уж так пристально смотрит, глазами разморгнутыми. И когда приучился? — лишь чуть за два годика.

Поднялись с молитвы — завертелась жизнь. И с чего начинать — не знаешь, разве с подарков. На солдатский грош — какие подарки? Кому платочек, кому ленту, кому сахарок-рафинад из пайка. Да ведь дорог не подарок, а честь, обычай.

А мать норовит:

— Да пойишь, мой соколик, Сенюшка, запрежь всего сядь да пойишь! Луковéнник есть у меня. Лещ печёный. Да и брага свекольная уж сварена, но выстаивается, рано.

Видал, видал Сенька в сенях, проходя: уже стоят кувшины, закубренные сенными затычками, и выступает через них бражная пена.

А вот она!! — влетела в избу, как бомба в землянку, только чёрно-жёлтой панёвой прометя, а пола кубыть и не коснувшись, — да в Сеньку головой, в ребро ль, куда попало, едва не проломя. И лица её не успел разглядеть, а ткнулась туда, в ребро, и то ль пышет, то ль плачет, а Сеньке затылок открыт её белый, сбористые рукава на плечах, чёрные клетки, жёлтые протяги панёвы, да самотканный пояс высоко на спине, с кистями на бок.

Вся тут, как птенец, у него под локтями, ах ты Катёнушка моя! Подкинул бы тебя сейчас как Савоську, да не при родителях же. И во Ржаксе с поезда сошёл, и Каменку с большака увидал над собою, и кольцо калитки поворачивал — и всё как во сне, не дома. А вот когда дома — Катёна под мышкой.

Дышит.

Закинул ей голову. Алеет, молчит.

Сказано — солдатка, ни вдова, ни мужняя жена.

Поцаловались.

Что ж, надо и от рук отпустить.

И вот теперь — все тут, в одной избе, — и даже всех в один обхват рук Сенька бы поместил, разве только мать широка гораздо. Служил Сенька в батарее, думал место его там, а нет, вот где — тут.

— Да ты Проську глядел ли?

— Глядел.

— Ещё погляди.

Пошли к зыбке за перегородку. Спит-поспит девка, щёчки румянистые. Это какой же? — десятый месяц!

— Она уж ползает, — Катёна хвастает, приоткрывает дитю головку повидней.

А Сенька — на Катёну, на рукава сбористые, на пояс с кистями:

— Ты что-й-то сегодня не вовсе по-буднему?

Подняла голову, глазами встретясь:

— Так, захотелось. — И тихо: — Снился.

Всего-то сказала — а по сердцу полых!

А Савоська к мамке лезет, за ногу хватает.

А Доманя велит идти к столу. Почему не писал? почему телеграммы не отбил? Батька б на станции на тарантасе бы встрел, я бы драчён напекла, пирожков... Ну, к завтрему всё будет, уж вон кулагу затворила.

— Да маманя, в один день всё свертелось. То уж было отказали, я и письмо так писал. Вечером позвал подпоручик, може, мол, и пустят, посгоди с письмом, — а через день кличет — разрешено, мол, айда к писарю за бумагой!

Текли над Сенькой месяцы и годы, вроде никак не порожние, всё служба, да команда, да немец, отдыхать не поволят, только крутись, —

а вот когда тесно подошло, не разорваться — дома! Ни глаз, ни ух, ни рота, ни рук не хватает — и материно ешь, и батьке отвечай, и к детям простягайся, Катёна вот Проську уже накормила, подносит, впервой дочку на руки взять, а она юзжит. И всё — первое, и никого б не обидеть. А и Катёна тоже не вовсе своя, как с получужим, позыркивает: как он на дочку глядит? часто ль за Савоськой руку тянет? вправду ли любит, али только прикидывается?

Да с бабами тыми не переговоришь, а самому Сеньке знать надо: как же, батя, хозяйство тянешь один? какие работы застоялись, залежались? Я сейчас с тобою эх налегну! В два пóйма знаешь как возьмёмся! Я за тем и отпуск брал, не баловать же.

И пошли из избы.

Батька и сам о том. Тяну ничего, спина не просыхает. Шибко Катёна твоя помогает — хоть и с вилами, хоть и в извозе.

Помочь — ещё бы не надо! Только теперь уже работать — опосля праздников. А осмотреться — хоть б и сейчас, пока бабы в избе суетятся.

Вышли на подворье. Чирок прыгает, руки Сеньке лижет.

Поленница у батьки за год нисколько не подалась: сколько истратил, столько доложил. Ну да кизяками больше топят, тамбовский чернозём навозу не просит. Мало лесу — так навоз.

Объясняет батька. Тут, вишь, обстоятельства понимать надо, прежде работы. Одно, что некем взяться, больше бабы, а плуги неисправны, чинить нечем, остается земля незасеянная. Другое — не для че нам хлеба столько выращивать, что ж нам сеять — себе в убыток?

До чего ж горька обида: наперёд, ещё не зачинавши, еще только завтра паши да сей, а уж сегодня знай, что себе в убыток. Обожгло Арсения. А батька:

— Мы-то сами и год, и два на своём хлебе пересидим, без посеву. Мы ноне не гонимся хлеб продавать, как запрежь. И осеннюю запашку и посев всё село сократило. Деньги у нас теперь есть. Платили нам и за лошадей, взятых в армию, и за скот. И подáтя платим в тех же деньгах, а деньги подешевели, так и подátя сильно ослабли. И уплаты в Крестьянский банк тоже. О-ох, эти деньги шалые — сгубят народ.

Докатило до Сеньки, и непривычно ему, никогда в деревне такого не бывало: на чо нам столько хлеба выращивать? И в голову не лезет, такого не помнил он в жизни.

А батька ещё побавляет: и монополки, ить, нет, тоже за деньгами перестали люди гнаться. И солдаткам спосóбия платят. Только иные бабы от тех спосóбий развязали волю, свекрам на хозяйство не отдают, а гонят на наряды да лакомства: нуметь, пёс с ним, с хозяйством, не убегёт, коли муж с войны воротится цел, тогда и заробим. Мужьям, вернутся, не понравится.

— А Катёна? — встревожился Сенька.

— Катёна — ни. Все деньги мне дочиста отдаёт, уж я ей потом отделяю. Да и матери ж ейной помогти надо. Не всё деньгами, ино и руками.

На подворьи их, с подсыпкой речного гравия, не было грязно, хотя по улицам кое-где только по доскам пройдёшь, и вся дорога от Ржаксы черно расквашена от недавних дождей. Бродили куры по подворью и ходил светло-гнеденький стригунок, подошёл и тыкался храпом, обдувая руки хозяина. Почесал его Арсений за ушами:

— Значит, кто да кто у тебя остался?

— Вот — Стриган, от Купавки. Сама Купавка с мерином. Да Кудесый.

Значит, две рабочих да рысачок.

— А тех двоих сдал?

— Сдал.

— Да-а, после войны всё заново заводить.

— После войны, Сенька, много заново, а с чего начинать? Ведь и корову сдал, и бычка, принудили.

— Остались-то — кто?

— Коровы — две. Бык полутор. Ну, и подтёлок.

— Оскудали, папаня.

— А деньги эти копим — начаё? Они ведь прах. Деньги — дарёмные, лёгкие, а купить на них нечего. Деньги до того стали лёгкие, что возьми их на медь разменяй, да на чашку весов горою насыпь — и то ситца не перевесят, где уж там сапог.

Под общей связью, двенадцать аршин на двадцать, содержались у них хлева и птица, а на свободном просторе, между яслями и жёлобом — лошади. И сколько было в батарее лошадей, тех тоже Арсений любил и знал — а милей своих всё же нет, в сердце торкаются.

Мерин как стоял — головы не повернул. Кудесый вздрогнул, засторожился, спиной забеспокоился. А Купавка — узнала! узнала молодого хозяина, и зафыркала, заулыбалась. И Арсению потеплело от лошадиного привета, обнял её за голову, поласкал.

Подкинул им сенца с поветн.

— Прежде, помнишь, за пуд хлеба мы покупали семь фунтов гвоздей. А ноне — один фунт. Подковные гвозди всегда были 10 копеек — а вот два рубля. Так мы не то что нонешний, мы и летошний хлеб много не повезли. Вон и в закроме, а тот в кладях подле овина. До снега ещё намолотим на семена.

— А с поля ты весь убрался?

— Весь.

— А теперь мыши погрызут?

— Оии! В том и дело, как его хранить-то? Чо́ мы когда держали больше, как семя да емя? Больше пудов осьмидесяти мы зимой не передёрживали. У нас и приснадобья нет его хранить. Так вот иные на поле в зародах оставляют, немолоченный.

— А эт зачем же?

— А вон на станциях да на пристанях, да из губернии в губернию, бают, хлеб силушкой отбирают!

— Но платят всё ж? — изумлялся Сенька.

— Да чо платят — по *твёрдым*? Прах! А вот и к нам полномоченные зашастывают, ходят-зарятся, де, списать запасы им надо. Седни у меня в закроме спишут — а завтра, гляди, придут забирать?

Пасмурно было снаружи, в сарае — того притемней, и лицо Елисея притемняла мохнатая его затрёпанная шапка — а глаза светлели, зоркие. Отвеку всё крестьянство стоит на том, что в ста делах, в каждом угадать дождь или сухмень, ветер и тишь, росу или заморозок, песок или подзолок, птицу, червя, дорогу, амбар, базар, и со всеми расчётами труд свой заложить — а там барыш с убытком на одном полозу ездят. Но вот сошлось — хоть голову сломи, не бывало такого, и присоветывать — не Сеньке.

После коровьего хлева заглянули в свинарник, в пустой овечий хлев — на выгоне овцы, в курятник. А гуси — то ж промышляют, ходят.

— Так вот и придёрживаются иные тем, что и на гумна не свозят. Скорый напереди, осторожный назади. А ну — цены те твёрдые да подвысят? А ну — голод какой ещё накатит, гляди? Зерно самим сгодится и для скоту. Сколько та война ещё протянется? Так спешить ли везти? А что после войны буде? Скоту сколько убыло, и ещё порежут.

Вышли наружу. С утра ясно стояло, кыб вёдро, а вот тебе натянуло, натемнило — дождь? опять же нет, лишь покрапал.

Пред Покровом и после были уж заморозки, в две волны. Отволгло опять.

— Так что, папаня, делать будем?

— Ехал ты — дорогу сильно развезло?

— Верстов пять, от Лиховатской балки, едва подковы в грязи не оставляли.

— Не разъездишься. А в сенокос — летось хорошо стояло, сена́ богатые взяли. Ты — долго ли пробудешь?

— Да за Михайлов день забуду. А до Введенья — нет.

— Хо-о, — обрадовался отец. — Так это мы с тобой, даст Бог, первопутка дождёмся, да поедем в луга сено забирать. Саней тридцать возьмём, а то и поболь.

За заплотом стоял пустой сенник, ждал загрузки. Лишь чуть натрушено на полку, спал кто-то.

— Ну, коноплю ещё поставим да привезём. Сарай вот защитим, до морозов успеть.

А крыша? Закинулся Сенька на избу с этой стороны, а с улицы уже видал: нигде не нарушена кровля, соломой «под глинку», обрезанными снопами.

— Хорошо, батя, хорошо дёржишься!

Сколько ни писали Арсению писем с поклонами и приветами, но не выражалось в них ясно: а как же именно живут, по каждой стати? И только обойдя и своим глазом окинув — хор-р-рошо живут! справляются.

И отцу лестно услышать от сына, как от равного.

Ну хорошо-то не хорошо, обезлюдели, стихли ярмарки, две дюжины годовых, от Туголукова до Сампура, от Токаревки до Ржаксы,— лошадиные, щепные, гончарные, спас-медовые, и в самой Каменке в марте тиховато прошла этот год. И не сбираются артели в извоз, лишь гонят на подводную повинность. Жизнь — убирается к себе во двор да к себе в избу.

— А там — сушить да молотить пойдём, из сырого лета необмолоченного много. А може с тобой ещё хранилище для свиного корму выкопаем? Запасать надо на худое время.

— А что ж, и выкопаем, батя. Враз.

Сила — живая, сыновняя, готовная. А всё решает — осколок один, зазубренный, как пролетит. На вершок бы ближе — и нет бы твоего сына, и вой тут один. И за тот вершок, и за тот осколок — ни царь тебе не вспомнит, ни земство. Всё у Бога в руках, вот — сын живой.

— А назёму поменело у тебя. Ведь во как у нас накладывалось раньше.

— Скота позабрали, навоз позолотел. На арендованные поля, где и нужно бы, никто теперь не кладёт.

— Да, порезано скоту с этой войной. То-то мы в армии мясо едим, как сроду не едено. Ведь, батя, кажный день — свежая убоина.

— Я служил — нас так не кормили,— удивляется отец.

— Сказывают, за последние года много в армии получшело. А сейчас, к празднику, как будем?

— Да барана — я вчера заколол. Хотишь — ещё одного?

У верстака батькиного постояли, посмотрели работу, и уже в садик собрались, как вспомнил Арсений живо:

— Да, а пчелишки-то? Стоят?

Особо радостно и спросить и ответить. Как будто и хозяйство, а — нет, душевное что-то.

— Стоя-ат! Уж в омшанике.

А тут — Катёна, понькой чёрно-жёлтой мах, мах, а на плечи поверх ещё разлетайку накинула, спереди не сходится, позади сборы густые.

— Сенюшка, мама спрашивает — насчёт бани как?

По семье топить думали завтра, под праздник, но для Сенюшки сегодня надобно. Мать бы и да, да дел взагрёб, рук не хватает. Но Катёна подхватилась:

— Сегодня, сегодня, что вы, мама! С такого пути! Да и там — какое у них мытьё? Да я — огнём, между делом, и не отобьюсь!

И — зарыскала в баньку бегать.

— Тебе — дров? водицы? — Сенька сунулся помочь. Да дрова-то у батьки неуж не заготовлены и вода из колодца с банею рядом — а погуторить с жёнкой пяток минут где-то-сь на переходе.

Тут и Фенька, с гумен воротясь, кидается тоже с банькой помочь, отваживает её Катёна: тебе мать указала, что делать. Да и месиво для коней время запарить.

Фенька уже ко многой работе приучена, разумеет, уж и коров справно доит, самое время девке всё перенимать. А вертится, льнёт, не оставляет их, оттого что сама в годы входит, и пробужено это в ней: муж со женою в первый день — как? что? Своими глазёнками поглядеть, приметить, для себя вывести.

Где там! — калитка стучит раз, и два, и три: соседи потянулись, на служивого поглядеть, кресты потрогать. Никого не звали, никому не сообчали, а кто в окошко доглядел, кто через забор, до кого слух докинулся, в деревне разве что утаишь? Первый — Яким Рожок, в пояснице перегнутый, ему всё первому всегда надо вызнать, не сосед, аж с Зацерковья, с дальнего конца присеменил. Тут — и Агапей Дерба, чёрен да длинён, ноги как очепы переносит. Чирок на него одного излаялся, Дерба и головы мрачной не воротит. Всегда он всех слухает, а только в землю глядит угрюмо, от него же редкое слово жди. Тут и дед Иляха Баюня в шароварах полосатых, пестроцветный кисет зажат за пояс, сильно уже на палку прилегает. И — Нисифор Стремоух, гляди доселе не взятый, а меньшой брат его уж на костылях воротился.

— Ну, служивый, ну! Покажись!

— Ну, как там воюете?

Неразумные бóшки — к а к? Ступай сам пошшупай...

— Так и воюем, очен просто: под головы кулак, под бока и так. Ждём, чего хвитфебель завтра выдаст, сахарок ли, чаёк. У вас вот нетути, а мы усем обеспечены.

— Да хорошо, сказывают, в солдатах, да что-то мало охотников.

— Мотри, служит парень быстро, с того года лычек добавили. Эт — кто ж ты теперь?

— Фейерверкер.

— А кресты твои де ж, показывай!

Кресты — на шинели, шинель в избе. Да снаружи не рассядешься, уж холодно. И в избу-то не ко времени, сажать их некуда, в избе не убрано, бабы стряпают, носятся оголтело, а мужики вот уже и цыгарки крутят, уж и кресалом тюк-тюк, искру кидают на трут, спички теперь для печи берегут, мужикам не достаётся. В избу вошли — лишь дед Иляха один на образа перекрестился. И — задымили в избе, а сами Благодарёвы николи не курят, никто.

Да мужиков-то, посчитай, сколько ещё по Каменке дома, не старых.

— Леший бы вас облобачил, что ж вы дома сидите? Вот из-за вас-то мы германа никак и не одолеем.

— Ну а всё-таки — *подходит*?

— Чья берёт-то?

— Да много яво накладено, — легко отвечал Арсений. И потяжельше: — Наших тож ня мало... Ой, мужики, ня мало... Сколь этих берёзок молоденьких на кресты посекли, сколько ям обкадили... А вперёд — ни тпру.

Тут Проська, орёпка, как в крике зайдись, что-й-то ей не то, и Арсению с непривычки — не чья-то чужая, своя дочка кричит. Но и Катёна кмигу метнулась, выхватила, распеленала, обмыла, покачала, баранки в марлю нажевала, опять в зыбку закинула.

А мужики-то с надёжей пришли, подсели: *замиренье* — как? не сулят ли? не слыхать ли?

В драке, де, нет умолоту.

— Не, мужики. Ни с какой стороны не шелептит, и ветром не напахивает. Только — газ едучий.

А — газ? Как это? Как?

— Ох, мужики, и врагу не пожелаю. Осколком чухнет — эт как в драке, почти и не обидно. А отравы той наглотаешься — из нутрей всего корчит.

Расскажи да расскажи, вот не отступя, тут же им — и за что второй Егорий, и какие вообче случаи.

Стал рассказывать Арсений про свою батарею, лес Дряговец, про хода сообщения — зайдёшь, не разогнёшься, надёжу не имаешь — когда ж до блиндажа. Стал рассказывать по-лёгкому, иногда и Савостейку уловя да к колену притянув — бродит тут между ног, вражонок, глазки лупит да чего-то вякает. Стал рассказывать легко, а вытянул так — не долго, смех оказался короткий. Там, в батарее, друг перед другом, они не скулили, разве что по дому, жизнь там шла дюже простая, беззадумчивая, — а здесь, в родном селе, соседям, та жизнь никак беспечально не перекладывалась. Там-то привыкли, что дешевó солдатское горе, а тут, в своей избе, Савоську притрагивая, на зыбку поглядывая, на Катёну тайком, на батьку с маткой, — сразу вывешивалось горе во всю свою тяжесть. Свой брат Адриан дважды ранен — и опять на фронте, нисифоров брат на костылях, у деда Илюхи двух сыновей унесло. Лишь потá и сносна была война, пока доступно было сюда воротиться, о брёвна родные спиной потереться, да жёнку на ночь к себе подобрать. А там, у Дряговца, где фельдфебель сахар выдаёт, под ладан улечься, под крестом жердяным уснуть — ня поухмыляешься.

Высунулся Яким Рожок, от пола, у стенки на корточках сидючи:

— Всё ж таки Адриан два раза ранетый, а ты вот, сла-Богу, ни разу?

— Что ж, не всяка пуля пó кости, иная и пó кусту.

Отцу разговор такой перёк груди, встал да вышел.

А мужики другое задымили: вот слух идёт — сахар, хлеб да кожу к немцам вывозят, через Хинляндию, что ль. Правда ли?

Того Арсений не знает, к им в батарею столько ж вестей, как и в Каменку.

— А только,— вздохнул,— немец не провоюется, не.

Подступила к гостям Домаха сама — норовом она тверда и речью, по всему селу славна, мужики её уважают.

— Вот что, соседушки, не даёте рукам размаху! А покиньте мне сына на первый хоть день! Ещё будет время, нагуторитесь, на престол приходите.

Ничего, не обиделись мужики, подобрались и со своим дымом пошли вон: первым — Рожок присогнутый, отгибая голову вверх и назад, там — Стремоух, дед Баюня о палочку, о палочку. Агапей же Дерба, ещё угрюмее и темней, чем пришёл, картуз понёс, как две руки в него спрятал, глаза в пол, закидисто перенося ноги через пороги и зацепясь-таки полою сермяги.

Открытую дверь вослед им подержала мать, выдымиться. А сама принялась ко празднику и для теста стол скоблить добела.

Проводил Арсений мужиков, пошёл в сад — и Катёну перехватил. Из баньки бежит, в разлетайке.

— Ну? чего помочь там?

— Не, Сенюшка, скоро истопится.

Ушмыгистая, а придержал её. Тогда — о Савоське она: ну как тебе он, как? Любишь?

Сама-то уже видит, что да, иначе б и рта не раскрыла.

— Больно в меня, сам теперь примечаю. И губу так отлячивает.

— Да только ли! Ещё увидишь. Он и простодушный в тебя. И могутой в тебя будет. И хваталки у него, погляди, уже сейчас здоровы, чисто твои, палец в палец, а как схватит! Вилы ему подай отцовские! И спина у него чисто твоя.

Спина? Не знал Арсений свою спину и не догадался б савостейки-

ну смотреть. Спина-то — как может быть в два годка похожа, не похожа?

А Катёна — шмыг и пробилась, молча.

Спина... Спину-то мужнину насколько ж помнит? Во, бабы.

Поддогнал её разик, ещё до двора:

— Кать! А как чуяли мы тогда, после Масляны не разлучились, да?

Катёна залилась, голову опустила.

Ещё ни про какую войну никто не ведал, и с Масляны по закону надо было обрывать, хоть и молодожёнам. А Катёна — ещё не понесла. А жадалось им. И сшептались: будем грешить, може Бог простит. И так — до Вербной. И, видать, простил же им Бог, какого сына родила! А подклонились бы закону — и осталась бы Катёна яловой на войну.

Отец Михаил потом над святцами хмурился, грозил Катёне. Она со спохваточкой своей живой: «Батюшка, истинно говорю, лишнего переносила. Чего-й-то он никак не выкатывался!»

— В пост Великий — а какой получился! То ж великой, да? — не пускал её Арсений бежать.— А теперь весь отпуск мой прежде поста, далеко свободно.

Да ночи долгие, осенью.

— Сенечка, Сенечка, погоди, пропусти, мама ждёт, Фенька ждёт!

И тут же, оборотясь:

— Не будем в избе. А чулан занятой. В сеннике постелю, не холодно будет?

— Не хо-о-олодно! — пока Арсений выдохнул, уж её и нет.

Ещё с отцом походили. В омшаник. По саду. Какие б деревья, кусты отсадить. Рассказов у отца много, и кому ж слаще, нежели — сыну? За третьего дня у Савалы в бочаге ловил лещей — длиннее локтя, вот ты ж ел. А ту неделю высыпка куликов красных, айда?

Елисей — из первых охотников на селе. И Сеньке-Гуре задору передал.

День — какой в конце октября? Давно лиополдень было, а вот уж усочило свету. Ещё померили с отцом, где копать, а дымок от баньки отошёл, и кричит Катёна:

— Сенюшка! Иди!

В сенцах баньки накидана солома чистая, и под окошком на лавчёнке выложила Катёна чистое мужнино бельё. Солдатскую верхнюю рубаху и сапоги с портянками скинул Арсений — внутрь нырнул. Натоплено в меру, слишком-то жарко Сенька и не любит.

Вот и на батарее построили землянку-баню, и попросторней, а — нет, не своя. Своей домашней каждую половицу знаешь ногой, каждую доску полка, и окорёнок тот, и бадейка, и ковшики — один худой, а не выбрасывается.

Всё показала — и вертанулась:

— Так ладно, Сень, я пойду.

А — на полмига дольше, чем в дверь шмыгнуть, — лишний повёрт, лишний окид глазом.

— Чо пойдёшь? — протянул Арсений медленную руку и за плечо задержал.

Катёна — глаза вбок и вниз:

— Да ночь будет.

— Хэ-э-э! — раздался Сенька голосом, — до ночи не дождаться!

Подняла Катёна смышлёные глаза:

— Феня вон покою лишилась, доглядывает. Счас томится там, минуты чтёт, когда ворочусь.

А Сенька руку не снял.

И Катёна уговорчиво:

— Расспрашивать будет. Стыднушко.

Вот это девичье-бабье стыднушко, если вправду оно тлеет, не придуманное, никогда Арсений понять не мог.

— О-о-ой! — зарычал, как зевнул, широко. — И расскажешь. От кого ж бедной девке узнать?

Опять голову опустя и тихо совсем, шепотком:

— И лавка узка, Сенюшка...

— Да зачем нам лавка? — весело перехватил Сенька. Перехватил её двумя лапами и к себе притягивал.

А Катёна голову подняла, медленно подняла, и — в полные глаза на мужа — и как будто с испугом, а он же её не пужал, аль то бабья игра такая? — их пойми:

— А веником — не засечёшь?..

— Не засеку-у-у! — Сенька довольно, и уж сам, рукой торопя...

А она, задерживая:

— А — посечёшь?..

И как это враз перечапилось: то сечки боялась, а то вроде бы упустить её боится. Ещё гуще Сенька в хохот:

— Посеку-у-у! Подавай хоть счас!

И Катёна — ещё одетая, как была, — погнулась за берёзовым веником!

И — бережно, молча, перед собой его подымая... выше своей головы, ниже сенькиной... подала!

И из-под веника — смотрит: чего будет? Секи, мол, секи, государь мой.

Остолбенел Сенька, сам напугался:

— Да за что ж? Да ты рази...? Да ты уж ли не...?

Леш-ший бы тя облобачил!

36

Арсений был мужик не жестокий, не жёсткий — и со всеми людьми, а с Катёной вовсе мягкий. Оттого стояли между ними ласковость и свет, только радуйся, пожаловаться не на что.

Пока Арсений за ней ухаживал и их первые месяцы до войны, когда она понесла Савосю, прошли у них как под солнышком тёплым, без единого резкого окрика, без единого удара разлапистой его рукой — да она ведь ему и осерчать не давала, быстрей того догадывалась и исполняла.

Потом война выгрызла всю жизнь, оставила ломотками — первый отпуск, как сон летучий, теперь вот второй, а меж ними безмужье: носить, рожать, кормить да о муже думать — и каким вернётся и что будет у них?.. Преж того — вообще ль вернётся? И тоскуя, тоскуя, тоскуя по своему избранному, сколько раз за топкой, за дойкой, за птицами, за жнивом, за сенным согрёбом, за мочкой, за чёской, за пряжею, за тканьём она и так, и сяк, на все лады строила его возвращенье: и в какую пору года, и в какую пору дня, и за чем её застанет, на пороге ли, в сенях ли первый раз поцелует.

Но потайней и упорней, себе самой дивнее, ещё и иное что-то разгоралось в ней. И не назовёшь-то — что.

Такое что-то не добранное, самой себе не понятное. Такое что-то таимное, что и подружку верную на угадку не призовёшь. Такое нутряное, или уж самой доведаться, или покинуть, смириться.

И в жалобу не сложишь. Кажется, жили — милей уж некуда. Коротко только. А разлуки вот: должей куда. И в эту вторую разлуку, после первого отпуска, встрапилось Катёне: хотелось ей, чтобы муж воротился с войны не целиком прежний. И вся простота бы светлая оставалась, и вся добродушная ласка. А — ещё бы что-то. И на руки подкинет, как дитя (ему по весу — всё одно, что Савоську). А — ещё бы.

Плужникова жена Агаша, хоть и старше Катёны на два года, но в одни хороводы ходили когда-то. Агаша — уж такая пава была, да и в

замужестве такой осталась,—а и переменялась же рядом с мужем, ну вся дочисту. Вот диво: и та ж оставалась, и вся дочисту переменённая.

Как-то ей Катёна и скажи про это.

Зубы открыла свои жемчужные крупные:

— Ты с мужем, что ж? И не жила, поди, почти. Вот поживёшь, во вкус войдёт, да пригнетёт — тогда и ты переменишься.

Пригнетёт!—ведь вот слово какое сказала! Пригнетёт!

И встряло это слово в Катёну. Нераскрытое, а в нём — всё.

И так, и так его обчуивала. Было в нём что-то.

Воротился бы Сенька не прежним лишь милым, а — грозным, что ль? Нет, не грозным. А — ко власти повёрнутым?

Были до войны в Каменке и в соседних деревнях случаи, когда парни гурьбой ловили девок поодиночке, задирали им подол наверх и выше рук, выше головы завязывали верёвкой. Иногда — по озорству, пустить девку на посмех, голой и безглазой, ино — в наказанье, если считали парни, что та девка нарушила честь и закон, тогда ещё и ремнями нахлёстывали. И когда слух потом проходил между девок — все полошились, квохтали, охали, страшней и позорней кары придумать нельзя, оборони Бог попасть под такое насилие, и честили-проклинали тех парней, да пойманная, когда в темноте, не успевала их и опознать. И Катёна, в лад со всеми девками, тоже отмахивалась, и за головоньку бралась, и жмурилась — а в зажмуре, а в ядрышке ото всех: а вдруг бы то — о н был сразу? по голосу, по руке, сердцем ли угаданный — сразу о н? и не для посрамища на деревню, а только — власть пришёл заявить? И рученькам размаху нет, и глазами не видишь, только убегать можно,— а ведь ноги нейдут, воли нет, так и рухнешь?..

Сласть дрожащая...

Все же видим: петух с какою яростью курицу топчет, кажется — закогтит насмерть, а поднялась, отряхнулась как омытая, и плавно яичко понесла.

Только Арсений при росте своём, при своей могуте далее всего от пересилья, Катёну боится меж лап раздавить, так и говаривал, не про неё одну: «Баб ещё с девок жалеть надо». Скажет Катёна ему: «Сенечка, не надо мне попускать! Сенечка, не бесперечь меня лаской, а то я попорчусь!», — смеётся: «Ты — не попортишься.»

И правда, уж так вилась, трепетала — за одно одобренье его.

А в этот год второй военный — встрапилось Катёне. Но не знала, при приезде мужа — решится ли выговорить? Да ч т о выговорить? — не знала сама.

А он и приехал совнезапу, без письма — а сразу на порог! В двери-то ни в одной не помещался, выше всякой двери — го-спо-дин! Как завихрилась, завертелась Катёна втрое быстрее своего обыка, все дела справляла и баню готовила, семенила-бегала, а в самой кологилось, колотилось — а что? чего?..

И не думала, что засечёт, — «а не засечёшь?». В игру просто — «а посечёшь?». А как веник стала подымать — вдруг обмерла, уже не нарошку, страшно стало, а руки сами веник тот подымают, дрожат.

Как крикнет Сенька:

— Да ты уж ли не...?

Надо же! *что* подумал!.. Из игры-то!

— Нет! нет! — закричала Катёна, головой замотала, волосишки туда-сюда...

А веник-то — уж брал он от неё. Уж взял.

— Нет, нет!! — ещё кричала Катёна, а — зажмурилась. Почему — зажмурилась? коли бы в глаза ему, он бы поверил! А так — не поверил.

И — страшный новый голос услышала, не сенькин:

— А ну, задирай панёву!..

Открыть бы глаза, голосом полным кинуть ему, что — нет!! Так— голоса нет. Так голова — сама вниз, вниз. И — руки вниз. И — взялась за панёву.

А Сенька тогда — ещё жутче:

— Повыше!.. Повыше!.. Никни!..

А этот голос озверелый уже и не смилуется. Впоследне, ещё не закрытая, нашлась, посмотрела ему в глаза, а он-то выпученный!

— Сенечка, нет! Ни с кем! — то ль крикнула, то ль шёпотом.

А он — во весь гром, уже замахиваясь веночищем:

— Никни, говорю!

Но не толкнул. Сам рукой — не погнул, на пол не кинул. Если б кинул — вскочила бы. Но — не кинул.

И — сама себя, покорно, сама себя закрыв — и открыв же! — опустилась коленами — и ниже — и ничком — головой невидящей и локтями — на банный пол.

И — ожгло, и ожгло наискось и поперёк, горячее, не так как на полке хвостаются, не ждала, как больно,— ожгло! и за разом раз! и за разом раз! — и руками не защититься, руки сами себя закрыли! — и обидно, что бьют, да ни за что ж! — а не крикнула больше.

И он — в молчанку сек.

Жалко себя, беззащитвую, заплакала тихо. Но — не крикнула. Плакала в руки, в подол, чуть извиваясь тельцем от охватных ожогов в сорок розг — а не выбиваясь.

От поясницы до подколенок жгло её и рвало — за вины небывшие, за будущие, чтоб их не было, за никакие вины. В покор.

Плакала и ждала, где он остановится, где гнев его пройдёт.

Где милость его наступит.

Остановился. Ещё распалённо:

— Что молчишь? Говори — *с кем?*

Плакала, всхлипывала.

Пождал.

Помягче два раза опустил веник. Протягом по спине, уж больше как банная ласка.

— С кем?.. Что молчишь?

Похлипывала, ответить не выходит.

Наклонился низко, близко и уж без гнева, напуганный:

— Катёнка?!

Сам ей подол с головы отвёл, лицом к себе вывернул, тогда:

— Да ни с кем же, Сенечка! Замкнутая я без тебя...

Сенька ошалел:

— А что ж ты не сказала?

— Да я ж тебе крикнула.

— Да ты не так крикнула!

Боком, щекой прилегла Катёна на пол.

— А чего — не вскочила? Не вывернулась?

Доплакивала Катёна.

До самого полу и он, к её лицу. Тихо, близко:

— Чего ж лежала так покойно?

— Покойно!.. Попробуй...

— А — за что ж я тебя? — охмурел.

А она доплакивая, ещё доплакивая, улыбнулась.

— Ничего. Ты ж — господин мой. Буду волю твою знать.

И сама губами дотянулась — стала целовать. Целовать.

А он!.. А он!..

И носил, как дитя малое.

И качал.

И губами исправлял, чего веник наделал. Станушка наискось по спине задержалась, она помягчила.

...Забыли они, ждёт ли Фенька Катёну, или свекровь её ждёт к печи, и думают там что, или соседи ещё собрались,— надолго они так и остались в баньке.

Таково — ещё и не было никогда. Не подтопляло так до горла.

После Покрова коротки дни, рано смеркается. Через маленькое банное оконце свету и совсем уж не достаётся. Однако не зажигали они плошки из бараньего жиру, какая тут на оконце стояла, — привыкшим глазам доставало отсвету, да и он лишний.

Уже в темноте они баньку покинули и, никем не ждомые, не назренные, перешли в сенник. В избе уже не светилось, как и у соседей, почти всё село темно стояло.

Дети — в избе оставлены, на Доманю, а здесь настелила Катёна перин своей домашней набивки, а поверху ещё и тулуп, как всегда молодым на холод.

Под единым тулупом сразу жарко, невтерпёж, опять раскрывайся.

Над ними крыша была сплошная, а наискось — с просветами, и полоски неба посветлей крыши. Да ведь месяц за облаками.

Ничуть не хотелось спать, и долго-долго они говорили. И не то чтобы по порядку: перебивала Катёна то о детях, о привычках, разуме их, и в чём Савоська характером уже теперь на отца похож. Или — спросом об армии, как там одно, другое. Но больше всего и ладней всего говорили они о будущем: ведь кончится же война и, храни Бог, Сенька уцелеет,— так как будут они жить? Привёз Сенька слух такой, что георгиевским кавалерам после войны будут землю раздавать, по семь десятин. Вот тогда они заживут! А у нас, Сенечка, слух стоял, что после войны и вообще всем мужикам наделы увеличат. Только откуда ж её столько наберут, лихо какое? А — от помещиков, от Удела, от банков разных, на-айдут, в России ли нет земли? Поступиться не хотят. Но если и на этом обманут, всё равно, ручек не съёжим. Да отделимся на свой простор, земли ещё може прикупим, когда-то и расплатимся,— да вместе-то, да любя, да при детях, Богом посланных, это же радость одна: сперва работать на долг, потом и в зажиток. Без труда нет добра. Своё трудовое — не под гору катится, а ложится кирпич на кирпич. А Катёна *способие* своё и сейчас уже копит, что свёкор оставляет ей — на мелочи не тратит, сохранится — пригодится. Только вот деньги дешевеют. Отделяться — на отруб, это непременно, чтобы вся земля при себе, в одной черте и не сменная. Молоды, здоровы, всё в своих руках, только бы дал Бог Сенюшке уцелеть. Так на отруб, может, и батя захочет? Ну, там решим. Да наверно он на месте останется, а — поможет. Так крепче будет. На отруб — много денег надо.

А чего не умела в хозяйстве Катёна? Всё умела. Хотя излюбленное её было — гуси. Надо так хутор ставить, чтоб рядом если не речка — то пруд, иль, нык, самим запрудить. И — много гусей развесть.

О гусях Катёна могла говорить и говорить, пока не скажешь — хватит. Что за птица умная! — уже на яйцах сидели, а в избе не топилось два дня, так гусыни — пить отказались! сообразили, что на оправку вон идти, а яйца застудят. В избе-то гуси никогда не оправятся. Знала Катёна срок: 12 дней, по снеге, гусаков кормить зерном и тут же резать, а день единый перепустишь — и пошло перо в пенёк, и снова 12 дён ожидать, два срока. А гусыни занесутся — лишь мякиной кормить, ни зёрнышка! Гусиная жизнь: на трёх гусынь один гусак. С четырьмя — гусак выбивается, на пятерых — уже нужно двоих. Но главное уменье — выбирать гусаков, угадывать их мужские стати: 19 перьев в хвосте — хорош, а 18 — не бери. Развернёшь полотно крыла, у кого в основаньи чёрные пятнышки — силён, а белые прогалины — слаб. И подпёрки под крылом — два ли, три, четыре — показывают, сколько гусынь может одолеть.

— ...Слышь... А как же эт ты *спину* мою запомнила?..

— Я — всего тебя помню...

— А коли убьют — тож помнить будешь?

Прижалась-прижалась.

Уж поздно было, и примирённо, совсем бы им засыпать. А нет, что-й-то опять защекотило.

Катёна в ответ:

— Сенюшка, только спине-то... болячо...

— Ну, ин как иначе...

И опять она, с испугом будто:

— Сенюшка! А если... *ещё*?

Сенька беспечно:

— А его нам и надо!

— А — девка опять?..

— Ка-ти чередом!

— А потом — ещё?

— А хоть и ещё.

Ой-й, в-весело!!

КАК ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ, ТАК И НУЖДОЧКИ НЕТ

37

Кегель-клуб называли их собрания в ресторане Штюссихоф, хотя кегельбана не было там.

—...Швейцарское правительство — управляющее делами буржуазии...

«Кегель-клуб» — из насмешки: что не будет толку с их политики, а много шуму.

— ...Швейцарское правительство — пешка военной клики...

Но и сами усвоили название с удовольствием: будем сшибать мировых капиталистов как кегли!

(Он — воспитал их. Он излечил их от религии. Он внедрил в них понимание насилия в истории.)

— ...Швейцарское правительство бесстыдно продаёт интересы народных масс финансовым магнатам...

Это уже несколько лет как завёл Нобс — дискуссионный стол в ресторане, на площади Штюссихоф. Собирал молодых, активистов. Постепенно стал ходить сюда и Ленин.

(В этой чванной Швейцарии — сколько унижений надо перенести. Бернские с-д вообще смотрели на Ленина свысока. Переехавши в Цюрих прошлой весной, собирал было русских эмигрантов, лекции им читать, — растеклись, не ходили. Тогда перенёс усилия на молодых швейцарцев. Казалось бы, в 47 лет обидно: вылавливать и обрабатывать безусых сторонников по одному,— но не надо жалеть часов и на одного, если отрываешь его от оппортуниста Гримма.)

— ...Швейцарское правительство раболепствует перед европейской реакцией и теснит демократические права народа...

Простоватый широколицый слесарь Платтен (слесарь — для большей пролетарности, а, руку сломав, чертёжником стал) по ту сторону стола. Он — вбирает, всем лицом вбирает говоримое, такое трудное. Напряжён лоб его и в усилии собраны пухлые мягкие губы, помогая глазам, помогая ушам — слова не пропустить.

— ...Швейцарская социал-демократия должна оказать полное недоверие своему правительству...

Удлинённый стол — на хорошую швейцарскую компанию. Без ска-

терти, обструганный, с ямками выпавших сучков, локтями и тарелками обшлифованный лет за сто. Поместились просторно все девятеро, на двух лавках, и ещё одно место отобрано столбом. Кто с малой закуской, кто с пивом — для ресторанной видимости, да швейцарцы и не умеют иначе, и каждый платит за себя. А со столба — фонарик.

Самое энергичное лицо, треугольное, удлинённое, — у Вилли Мюнценберга, эрфуртского немца — под распавшимися набок непослушными волосами. Он воспринимает легко, ему этого мало даже, беспокойными длинными руками он протянулся бы взять ещё, он на митингах и сам это звонко выкрикивает.

(Повезло в Цюрихе с молодыми. Сейчас их шестеро здесь — и всё вожди молодёжи. Не то что в Четырнадцатом: посылал Инессу к швейцарским левым — Нэн рыбу ловил, а Грабер бельё вешал, жене помогал, и никому нет дела.)

— ...Надо научиться не доверять своему правительству...

Ленин — на углу, у столба, столбом прикрыт его бок. А Нобс — осмотрительный, вкрадчивый кот — на другом дальнем углу, искоса. Подальше от опасности. Сам это всё затевал — не сам ли теперь жалеет? По возрасту — он с ними, тут все вокруг тридцати, но по партийным постам, но по солидности и даже по животику — отошёл, отходит.

Над каждым столом — фонарь своего цвета. Над «кегель-клубом» — красный. И аловатый цвет на всех лицах — на крупной открытости Платтена, на чёрном чубе и крахмальном воротнике фатоватого уверенного Мимиолы, на растрёпанной нечёсанной курчавости Радека с невынимаемой трубкой и никогда не закрытыми влажными губами.

— ...В каждой стране — возбуждение ненависти к своему правительству! Только такая работа может считаться социалистической...

(Только над молодёжью и стоит работать, здесь нет унижения, это дальновидность. Впрочем, не стар и Гримм, на 11 лет моложе Ленина, но — схватился уже за власть. Не глуп, а не поднимается до теории. Вооружённого восстания не хочет, а что-нибудь левое клюнуть ему хочется. Когда в Четырнадцатом Ленин въехал в Швейцарию именем Грейлиха и устроился здесь поручительством Гримма — виделся с ним, проговорили полночи. Тот спросил: «А что б вы считали нужным в положении швейцарских с-д, вот сейчас?» Щупая, на что он способен, блеснул ему: «Я бы — провозгласил немедленно Гражданскую войну!» Перепугался. Да нет, подумал — шутка...)

— ...Нейтральность страны есть буржуазный обман и пассивное подчинение империалистической войне...

В мускульных сдвигах, в мучительном усилии платтеновский лоб, и в усилии и растерянности глаза. Как это трудно, как это трудно — постигать великую науку социализма! Как не складываются грандиозные формулы с твоим ограниченным скудным опытом. И война — обман, и нейтральность — обман, и нейтральность — всё равно, что война?.. А на товарищей покосишься — всё понимают, и стыдно признаться, и делаешь вид.

(А это — не легкомысленная фраза была: по дороге через Австрию он всё это вынашивал воодушевлённо, в Берне закрепил как тезисы, потом перелил в Манифест ЦК, потом отстоял в лозаннской публичной схватке с Плехановым. Можно тысячу раз знать марксизм, но когда грянет конкретный случай — не найти решения, а кто находит — тот делает подлинное открытие. Осенью 1914, когда 4/5 социалистов всей Европы стали на защиту отечества, а 1/5 робко мычала «за мир»,— Ленин, единственный в мировом социализме, увидел и всем показал: в о й н у! — но *другую*! — и немедленно!!)

Кружка пива и перед Лениным, хоть терпеть не может он этот тип — швейцарских политиков за пивным столом, но таков обряд. Бронский — сонный, как всегда, не возмутимый ничем. А Радек, чёрные бачки круговые от уха до уха пропущены под подбородком, в очках роговых, со взглядом быстрым, зубы торчат из-под верхней губы, и

перекладкой, и перекладкой вечно-дымящей чёрной трубки,— всё это слышал, всё это знает, тесно и мало ему, и медленно.

— ...Мелкое стремление мелких государств остаться в стороне от великих битв мировой истории...

Про себя барахтается Платтен, стараясь не проявиться наружно. Очень понятна задача мировой революции — но как трудно применить её к своей Швейцарии. Ум — согласен: если миновали мировую бойню, надо не успокаиваться, надо звать в социальные бои. А душа неразумная: и как хорошо-мирно живут крестьянские дома, прилепились на горных уступах, все мужчины дома, и четырежды в лето снимаются травы с лугов, как бы ни были откосы круты, и сенным запасом полнеют до крыш высокие сараи, и полными днями с отрога на отрог перезваниваются сотни колокольцев, коровьих и овечьих, как будто горы сами звенят.

— ...Узколобый эгоизм привилегированных маленьких наций...

Медлительный ход пастухов. Изредка — бич оглушительный по каменистой дороге,— и несёт его эхо за повороты холмов. Длинные, коров на двадцать, водопойные чаны под горными родниками. Перемены ветров по всколыхнутым травам, перемены туманов, курящихся над лесистыми ущельями, а когда солнце прорвёт дожди, так бывает и радуге развернуться негде, встаёт она просто столбом из горы. И на отеле пустынном, вершинном, тихая надпись: «Хранит живущего одеяние родины».

— ...Промышленность, связанная с туристами... Ваша буржуазия торгует прелестями Альп, а ваши оппортунисты ей в этом помогают...

Не удержал, не спрятал сомнения Платтен, отразилось доверчиво, бесхитростно.

И Ленин — заметил! И с угла стола, средь молодых единственный старый, ему на вид куда за пятьдесят,— живо, подвижно, искоса, как метким ударом шпаги, меткое слово — ключ агитации:

— Р е с п у б л и к а л а к е е в! — вот что такое Швейцария!

Радек зароготал, ловко, весело трубку перекладывает, да каждый раз по-новому пальцами, с серьёзностью сосёт свой важный дым. Вилли — весело ловит взгляд Учителя, руки длинные выкручиваются в нетерпении — дай ещё! дай ещё!

Да Платтен — разве спорит? Платтен — только в недоумении. Страна, пожалуй, и похожа на украшенную гостиницу, но лакеи бывают подобострастны, суетливо-податливы, а швейцарцы — медленны, самоуважительны. Да даже и жёны министров не держат лакеев, выбивают сами ковры.

(Впрочем, не было в Швейцарии случая, чтобы письмо пропало. И библиотечное дело отлично поставлено: в дальние горные пансионы высылаются книги бесплатно и тотчас.)

— ...Подачки послушным рабочим в виде социальных реформ, только бы не свергали буржуазию...

С этим совещанием три недели хлопотали, наконец вот собрали, 21-го в пятницу вечером — уж перед самым, как раз, накануне партийного съезда. И очень помог, пригодился Радек.

(Радек если когда хорош, так хорош, архидружба. Сегодня жить бы без него нельзя. И по-немецки — что говорит, что пишет, и любой поворот с ним лёгок, не надо втолковывать. Негодяй, но блестящий, такие очень нужны. А бывал — омерзительным, в Берне даже не встречались, переписывались по почте, с февраля — порвали навсегда, в Кинтале выступал совершенно провокационно.)

— ...Швейцарский народ голодает всё ужаснее и рискует быть втянутым в войну, и убитым за интересы капиталистов...

У Нобса скептический янтарный мундштучок, сам на губе держится.

(И как же было, во всей Европе одному, начинать борьбу за обновление Интернационала, нет, за разгром его и постройку Третьего?

То — соскрести своих большевиков-заграничников, кто приедет. То, помощью Гримма,— женщин десятка три, Интернациональную Социалистическую Женскую Конференцию, а самому неудобно присутствовать, а надо их направить,— так в том же народном доме просидеть три дня в кафе, а Инесса, Надя и Зинка Лилина бегали ему докладывать и спрашивали инструкции.)

— ...Идти на бойню за посторонние чужие интересы? Или принести великие жертвы за социализм, за интересы девяти десятых человечества?..

(То — интернациональную социалистическую конференцию молодёжи, и полутора десятка не набрали, в основном — кто дезертировал от воинского призыва и наверняка против войны,— и опять три дня сидеть в том же кафе, а Инесса с Сафаровым прибегают за инструкциями. Вот тут и появился Вилли.)

Двадцать семь лет тебе — а с семнадцати это кипение молодёжное: встречи, организации, конференции, демонстрации... И среди равных открывая в себе голос и удаль, и удачу,— слушаются! — как на помост, по ступенькам, чтобы лучше видели,— поднимаешься, поднимаешься, и вот уже ты — постоянный оратор, делегат, секретарь... И вожди партии уже стараются притянуть тебя к себе и настраивают не слушать вот этого азиата с его дикими идеями, а ты как раз от него, от него и зажигательного Троцкого, узнаёшь всё правильное и важное!

— ...«Защита отечества» есть обман народа, а вовсе не «война за демократию». И со стороны Швейцарии тоже...

Двадцать семь лет! — да пройти через раннюю смерть матери, побои мачехи, побои отца, прислужничество в отцовском трактире, с гостями в карты играть и говорить о политике, и у мачехи близ прачечного корыта всегда страдать от своей рваной одежды, ботинок не по размеру, и сапожным подмастерьем затянуться в пропаганду, и уже в двадцать лет эмигрировать в Цюрих, чтобы здесь, аптечным дрогистом, пройти все классовые бои...

Под красноватой лампой полно веры и ожидания преданное решительное лицо Мюнценберга. В узком остром его подбородке заострилась проверенная воля. Брови готовно сдвинуты навстречу революционным мыслям. Уже многое он делал, как Ленин говорил, и хорошо получалось. Созывал молодёжный день на Цюрихберге, больше двух тысяч, и потом с «Интернационалом», красными флагами и «долой войну» повёл их через город. И в Кинталь — уже был позван, и вместе с Лениным подписал резолюцию левых.

— ...«Защита отечества» — лицемерная фраза. Она подготовляет бойню рабочих и мелкого крестьянства...

Нескладный Шмидт из Винтертура недоумевает с дальнего края скамейки, заглядывает через весь ряд:

— Но нашу страну война не может затронуть, мы нейтральны...

— Да вступленье Швейцарии в войну возможно в любой момент!

Нобс пережёвывает янтарный мундштучок под светлой усовой пушистостью. Улыбка у него котяче-приятная, а глаза недоверчивые и хохолок с сомнением.

— Конечно, отказ от защиты отечества ставит необычайно высокие требования к революционному сознанию!

(Всю жизнь — лидер меньшинства, всю жизнь с горсточкой против всех,— нужна и тактика острая. Тактика такая: побольше вытрясти из резолюции большинства — и всё равно её не принять: или включайте наше мнение в протокол или уходим!.. Но вы — меньшинство, почему вы диктуете?.. Тогда — уходим! разрыв! скандал! позор!.. Так было на всех этих конференциях, и не было большинства, которое бы не ослабело. *Ветер всегда дует с крайнего лева*! — и нет в мире социалиста, который мог бы этим пренебречь. В том была и неуверенность Гримма, отчего он и поспешил собирать Циммервальд.)

— ...Ни одного гроша на постоянное войско даже в Швейцарии!..

— Как, и в мирное время?

— Даже в мирное время обязан социалист голосовать против военных кредитов буржуазного государства!

(Долго не было Ленину приглашения в Циммервальд, и он изнывал, боясь, что Гримм не позовёт,— а навязываться было совсем неприлично. Да и что там будет за конференция? Соберётся куча говна и будет «за мир и против аннексий». *За мир* — слышать он не мог этих слов!.. Между тем тайно влиял, чтоб натянуть в депутаты побольше своих сторонников: кто против своего правительства — это и будет ядро левого Интернационала!.. Но стянули таких только 8 человек: сами трое с Зиновьевым и Радеком, Платтен, один латыш и три скандинава. Да и весь-то «старый» Интернационал, через 50 лет после своего основания, поместился на четырёх фурах, какими извозчики повезли конференцию в горы, чтоб не привлекать внимания властей, а власти и не заметили: ни — как приехали депутаты в Швейцарию, ни — как разъехались по домам, только из иностранных газет и узнали.)

— Но особенности Швейцарии...

— Да никаких особенностей! Швейцария — такая же империалистическая страна!

Платтен — откинулся, лоб нараспашку, лоб застигнутый перегоняет морщины. Сопротивляется чувство непросвещённое: хоть и крошечная наша Швейцария — а разве не особенная? И от первого союза трёх кантонов — мы кого же силой захватили? Но — напряжением ума заставляет себя, заставляет принять передовую мысль. Крупные сильные беззащитные руки ладонями вверх на столе.

(Через этого одного Платтена, благодарный материал, можно бы повернуть всю цюрихскую организацию. Если б он больше работал над самообразованием.)

— Итак, среди нас, среди левых циммервальдистов, теперь установлено полное единодушие: мы — о т в е р г а е м защиту отечества!

Косолапым не всем понятно:

— Но, отвергая защиту отечества, мы оставляем страну беззащитной?

— В корне неправильная постановка вопроса! А правильная: или мы дадим себя убивать в интересах империалистической буржуазии, или ценой меньших жертв совершим социалистический переворот в Швейцарии — единственное средство освободить швейцарские массы от дороговизны и голода!

(В Циммервальде почти не выступал, направлял своих левых из тени. Это — самый верный расчёт сил. Уж Радек ли не выступит! — остроумно, находчиво, развязно, самоуверенно. Обязанность же вождя — сплачивать своих немногих. Враг — это ещё полврага. Но кто б ы л с нами и вдруг от нашей линии отвихивается — это двойной враг! вот по таким — первый удар! А лучше — предусмотреть, и между заседаний накачивать своих на сепаратных совещаниях.)

— ...В том и весь позор пацифизма, что он мечтает о мире без социалистической революции.

У Радека весёлая легкоподъёмность: все карманы у него оттопырены газетами, книгами, на первый день есть, если бежать на революцию — так прямо отсюда. А — интересно как!!

(Но — следить за мошенником: в любую минуту переметнётся, изменит. То — путал, мирил Гримма и Платтена, когда их надо всячески ссорить.)

— ...Переворот — абсолютно необходим для устранения всех войн...

А Бронский — как дремлет. Бронский мог бы тут и не сидеть, он — для счёта всегда. Когда нужно — проголосует. А когда нужно — и скажет, что нужно.

(Да — глупый он. Но — так мало нас, пригодится каждый в своё время.)

— ...Социалистический строй один избавит человечество от войн...

Нобс — как будто одобрителен, и в глазах и в губах — сочувствие, а ушки — покойно на месте, а лоб не взморщится. Да ведь — главный редактор главной газеты левых и мягко продвигается по партии на председательские места. Он очень, очень нужен им тут всем.

Нужны — и они ему, Нобс отлично понимает, что ветер всегда дует слева. Вот — их кучка, вот — их несколько человек, а ведь могут повернуть всю швейцарскую партию? Да только не дать им на шею сесть.

— ...Это непоследовательно: стремиться к окончанию войны и отвергать социалистическую революцию...

(Но вскочил Ленин и крикнул на письмо Либкнехта Циммервальду: **«Гражданская война — это великолепно!»** Осторожность хороша на 9/10, а в 1/10 надо переступать. Идти в окопы с пролетарским лозунгом: братание! В войсках проповедывать классовую борьбу! Обращать оружие — против своих! **Эпоха штыка наступила!** Конечно, рискованно так эмигранту в нейтральной стране, но — всегда обходилось. А в Циммервальде гнусный подлый немец Ледебур: «Вы здесь подпишете — вам не опасно, а т е м? Езжайте в Россию — и подписывайте о т т у д а!» Уровень аргументов!..)

— ...Швейцарская партия упорно остаётся в исключительно легальной колее и не готовится к революционной массовой борьбе...

От стойки с двумя пузатыми старыми бочками и десятками цветных горлышек, официант с нетёсанным швейцарским лицом медленно носит к столам золотистые кружки, бордовые бокалы и стаканы. Другой от кухонного окошка — дощечки жёлтые с наструганными бурыми копчёностями, да тарелки с жарким и рыбой — непомерно изобильные швейцарские порции, как четверные, неторопливо убирают швейцарские животы. И ещё на огоньках подле каждого обжоры подогревается вторая половина порции.

— ...Социалистическое преобразование Швейцарии вполне осуществимо и настоятельно необходимо. Капитализм вполне созрел для превращения в социализм — и немедленно!..

(На последнем заседании Циммервальда от полудня и всю ночь левая бушевала на каждой поправке, каждый раз требовала «особого мнения» в протоколе — и так незаметно сдвигала резолюцию влево. Ни Гражданской войны, ни Нового Интернационала не провели, конечно. Но создалась циммервальдская левая как международное крыло, и Ленин — вождь её, а не какой-то русский сектант. Руководство же осталось за центристами, и слава конференции — за Гриммом, во всех мировых газетах. Чуть старше тридцати, а — в Исполкоме Интернационала, потому что с оппортунистами заодно. Двадцать лет как Ленин по Швейцарии то ездил, то жил, — никакого Гримма и слышно не было.)

Втягивающее, узкое лицо Вилли. Он — согласен, согласен со всем, но, главное, точно ему понять: к а к делать? с чего начинать?

— В Швейцарии необходимо будет экспроприировать... максимум... всего не больше 30 тысяч буржуа. Ну и конечно сразу захватить все банки. И Швейцария — станет пролетарской.

От столба, искоса наблюдает Ленин, всем душевным напором, взглядом толкающим, лбом котловым наклонённым, — и успевает проверить, насколько в кого втолкнулось. Оскудевшая рыжина на куполе выступает сильней под красным фонарём.

— Подрубать корни современного общественного строя — *на практике*! И — теперь же!

Вот этот шаг и труден всем социалистам мира. Сощурился Нобс, как от боли. Даже винтертурский пролетарий что-то крив на рот. И Мимиоле давит шею высокий обруч крахмального воротника.

Хорош наш Ульянов — но слишком уж крайний. Уж крайних таких — не то что в Швейцарии, не то что в Италии, — но и во всём мире нет.

Трудно им, трудно. Переменчиво-бегло осматривает Ленин все эти разные, уже свои, а ещё не взятые головы.

А они все боятся попасть под уничтожающую издёвку его.

(Есть такой приём: когда трудно входит — навалить ещё тяжелей, и тогда прежнее трудное уже входит легче.)

И через весь стол, на шестерых швейцарцев, по всем шести линиям сразу вмешался, послал, голосом напряжённым, но не полного звука, в груди ли, в гортани, во рту неизменно теряя его и прихрамывая на «р»:

— А путь для этого — т о л ь к о р а с к о л! Это — мещанское кривлянье, будто в швейцарской социал-демократии может господствовать «внутренний мир»!

Вздрогнули. Замерли.

А он:

— Буржуазия вскормила себе социал-шовинистов, своих сторожевых псов! И какое же с ними *единство?*

(А уже начав — в одно место, в то же место, в ту же точку, чуть меняя слова, это главный принцип пропаганды и преподавания:)

— Это болезнь — не только швейцарских, не только русских, но всех социал-демократов мира: раскисляйская склонность к «примирению»! Для фальшивого «единства» все готовы поступиться принципиальностью! А между тем без полного организационного разрыва с социал-патриотами невозможно продвинуться к социализму — ни на шаг!!!

Как бы ни замерли, что б ни подумали — но уверенность учителя против класса: даже если весь класс не согласен — прав учитель, всё равно. И — ещё гортанней, и ещё нетерпеливей и нервней:

— Вопрос о расколе — основной вопрос! Всякая уступчивость в нём — п р е с т у п л е н и е! Все, кто в нём колеблются, — в р а г и п р о л е т а р и а т а! Истинные революционеры — никогда не боятся раскола!

(Раскалываться — всегда! Раскалываться — на всех этапах движения! Раскалываться до тех пор, пока станешь хоть в самой малой кучке — но Центральным Комитетом! И пусть в ней останутся самые средние, даже самые ничтожные люди, но — единопослушные, и можно достичь — всего!!!)

— В международном масштабе — раскол вполне созрел! Уже есть превосходные сведения о расколе среди немецких социалистов. И пришла пора — рвать с каутскианцами своей страны и всех стран! Р в а т ь со Вторым Интернационалом — и строить Третий!

(Это всё проверено — ещё на заре века. Так прорезал и убил экономистов лучом Что-Делать, замыслом конспиративной профессиональной кучки. Так стряхнул раскачкой Шаг-Два-шага хлипкий липкий мешок меньшевизма. Не власть нужна ему, но не может он н е управлять, когда все другие управляют так беспомощно. Не может он дать искиснуть, изгнить — несравненным способностям руководства.)

И это всё — как *тут* родилось, вот сейчас за столом, как откровение единомгновенное и покоряющее: р а с к о л своей партии — и через то победа революции!!

И замер Нобс — от сладкого страха, не мурлыкнув. Отвергнешь — тоже потеряешь? Быть может — и лучшее место здесь, за краешком этого стола?

И лапа Платтена замерла в охвате пивной кружки. О, сколько же тяжёлого ещё будет на пути социалиста!

И Мимиола победил сжимающий воротник, вырос, вырос из него. Но хмурясь.

И — просветлённо и удивлённо полуулыбался Вилли. Он — готов. И он — поведёт молодёжь. Он — всё повторит это им с трибуны.

И — лбом котловым, когда стенка пробита, доталкивая, доталкивая:

— В моей книге «Империализм» окончательно доказано, что во всех индустриальных странах Европы неизбежна скорая революция!

Там — ещё двое, они верить хотят, но — как это? Живя в своей обычной комнате, вот выйти утром между знакомыми зданиями — и делать революцию? — как?.. Кто бы показал? Ведь никогда не видано.

— Но в Швейцарии...

— А что — в Швейцарии? Прекрасная стачка в Цюрихе в Девятьсот Двенадцатом! А — этим летом? Прекрасная демонстрация Вилли на Банхофштрассе! крещение кровью!

Да, это гордость Вилли:

— И сколько раненых!

Не так даже первого августа, как третьего, в защиту павших.

Мнутся:

— Но всё-таки... в Швейцарии?..

Ему — как не поверить? Он с каждым молодым — как с равным себе, во всю серьёзность, не как отмахиваются от незрелых едва поднявшиеся вожди, но на каждого сил не жалея, собеседуя, донимая, донимая вопросами до петли...

— Но всё-таки — в Швейцарии...

Радек за это время, что разъясняли тут, из своих набитых карманов две газеты прочёл, одну книгу перелистал, а они всё не поняли?

Тычет им черенком трубки:

— Да собственный ваш прошлогодний партсъезд... Резолюцию ж приняли, о революционных массовых действиях! Ну! И — что?

И — что?.. Мало что, приняли. Принять не трудно.

— Потом и Кинталь!

Их — пятеро здесь, кто были в Кинтале, — уже и Нобс и Мюнценберг, пятеро здесь, а там их было — двенадцать, из сорока пяти. И снова грозили взрывать, уходить, покидали зал и возвращались. И большинство поддавалось меньшинству, и сдвигали, сдвигали резолюцию всё левей, всё левей: *только завоевание политической власти пролетариатом обеспечивает мир!*

Всё — так, но мало что в резолюциях...

— А у нас в Швейцарии...

Да какое ж терпение не взорвётся с этими лбами корявыми! И в новом взрыве непостижимого откровения, — сухим полётом, сиплым шелестом прорвавшегося голоса:

— Да знаете вы, что Швейцария — революционнейшая страна в мире??!

Как — ссуиуло всех со скамей, со стола, вместе с кружками, тарелками, вилками, и фонарик на столбе качнулся от ветра голоса, и Нобс подхватил мундштук рукой, выранивая...

??????????????.........

(А он — видел! Он видел в Цюрихе — вот, близкобудущие баррикады — пусть не на банковской Банхофштрассе, но — к рабочему району, у Народного дома на Хельвеция-плац!)

И — выплеском взгляда разящего из монгольских глаз, и голосом, лишённым сочной глубины, зато режущим, ближе к сабле калмыцкой (только выщербинки на «р»):

— Потому что Швейцария — единственная в мире страна, где солдатам отдаётся на дом, на руки — и оружие! и амуниция!

И?..

— А что такое революция — вы знаете? Революция это: захватить банки! вокзал! почту-телеграф! и крупные предприятия! И — всё, революция победила! И что же для этого нужно? Только оружие! И оружие, вот, — есть!

Что только слышал Фриц Платтен от этого человека, своего рока и судьбы своей! — леденило кровь иногда...

А Ленин не убеждал уже, он требовал резко — у ослушников, у растяп неспособных:

— И чего же вы ждёте? Чего не хватает вам? Всенародного военного обучения? Так пришло время и потребовать! Для этого...

Импровизировал. Соображал между фразами, разглядывал между мыслями, а голос не прерывался:

— Офицеры — выборные народом. Любые... сто человек могут потребовать военного обучения! С оплатой инструкторов за казённый счёт. *Именно* при гражданских свободах Швейцарии, её эффективном демократизме — колоссально облегчается революция!

Он налегал на стол, он был как косо-крылатый, и взлетев отсюда, из зальчика ресторана Штюссихоф, — вот взмоет сейчас над площадью пятиугольной, замкнутой, средневековой, сама-то величиною с хороший зал, пронесётся над фигурой комичного фонтанного воина с флагом, завьётся спиралью мимо нависающих балконных выступов, фрески двух сапожников, выстукивающих на своих табуретках на уровне третьего этажа, гербов на фронтонах у пятого, — и над черепичными крышами старого Цюриха, над нагорными пансионами, разукрашенными шале республики лакеев:

— Немедленно начать пропаганду в армии! Разъяснять войскам и призывной молодёжи — неизбежность и законность применять оружие для освобождения от наёмного рабства!.. Издавать летучие листки за *немедленный* социалистический переворот в Швейцарии!

(Для беспаспортного иностранца несколько опрометчивые советы, но это — та самая 1/10, без которой не победишь.)

— Уже сейчас захватывать в свои руки все правления во всех союзах рабочего класса! Требовать от парламентских представителей партии — публичной проповеди социалистической революции! принудительного отчуждения фабрик, заводов и сельхозучастков!

Прямо идти — и у людей имущество отбирать? Без — закона? Швейцарцы косолапые помаргивать не успевают.

— Для усиления революционных элементов в стране — натурализовать беспошлинно всякого иностранца! При малейших шагах правительства к войне — создавать нелегальные рабочие организации! А в случае войны...

Отвагой полны вожди молодых, Мюнценберг и Мимиола:

— ...Отказываться от военной службы!

(Впрочем, Мюнценберга и Радека, как дезертиров тех армий, выслать в Германию и Австро-Венгрию закон запрещает.)

Нич-ч-чего не поняли! Насмешка, но не злая, пронеслась по ленинскому лицу. Делать нечего — снижаясь, опять снижаясь, мимо сапожников, рабски-старательно вколачивающих свою работу, над голубою фонтанной колонной, и — нырь в ресторан, сюда опять:

— Да ни в коем случае не отказываться, что же вы поняли?! Именно в Швейцарии: дают оружие — брать!! Требовать демобилизации — да, но — сохраняя оружие! С оружием — и на улицу! И — ни часу гражданского мира! Стачки! Демонстрации! Формирование рабочих отрядов! И — вооружённое восстание!!!

Широколобый Платтен — как откинутый, в лоб ударенный:

— Но во время всеобщей войны... соседние державы... потерпят ли революцию в Швейцарии? Вмешаются...

А здесь-то и было зерно ленинского замысла! — в исключительной неповторимой особенности Швейцарии:

— Вот это и замечательно! Пока вся Европа воюет — а в Швейцарии баррикады! А в Швейцарии — революция! А у Швейцарии — три главных европейских языка! И по трём языкам в три стороны па-льётся революция по Европе! Расширится союз революционных элементов — до пролетариата всей Европы! Сразу вызовется классовая солидарность в трёх пограничных странах! Уж если вмешаются — то революция вспыхнет по всей Европе!!! Вот почему **Швейцария — центр мировой революции сегодня!!!**

Опалённые красным пламенем сидели кегель-клубцы, кого в каком

положении застало. Мюнценберг выдвинул узкий треугольник бесстрашного лица — вперёд в огонь. Подпалило и Нобсу пушистость. Миммола — и галстук сорвёт, и своих темпераментных итальянцев поведёт через все развалины. Бронский в лукавой меланхолии делает вид, что тоже к бою — готов. Радек — поёрзывает, губы облизывает, запрыгал задор за глазами: да если б так — это же штук каких наколоть можно!

(Кегель-клуб — зародыш III Интернационала!)

— ...Вы — лучшая часть швейцарского пролетариата!..

А резолюция для завтрашнего съезда швейцарской партии у Радека уже лежит готовая. Вот если б Нобс её напечатал...

Гм-м-м...

А — кто её на съезде предложит?..

Гм-м-м...

Уже и ресторану скоро закрываться, расходились.

На площади Штюссихоф горели три фонаря на столбах, и много окон из домов со всех сторон. И можно было легко прочесть табличку, как бургомистр Штюсси погиб тут недалеко в битве в 1443 году. А дом семьи его «на ветру» стоял, на 60 лет старше. Да Штюсси и был наверно — посреди фонтана вот этот комичный швейцарский воин в латах и в голубых чулках. Тонкие струи слышно лились в голубоватый водоём. Было сухо и, по-здешнему, холодно.

Расходились, ещё договаривая на площади, измощённой малыми камешками подгладь. Площадь — как замкнутая, и если не знать щелевых улиц — кажется, всё, тупик, никогда не выберешься. Одни уходили вниз по откосу, мощённому коревато, и дальше переулком к набережной. Другие — мимо пивной «Францисканец». А Вилли провожал учителя по той же улице в другую сторону, мимо кабаре «Вольтер» на следующем углу, где всю ночь бушевала богема, и им встречались на узкой мостовой ещё не взятые проститутки. А от вольтеровского кабаре — круто вверх под фонарь престариннейший на чугунном столбе, по переулку-лестничке, почти можно обеих стен достать раскинутыми руками, став рядом вдвоём, — и всё вверх и вверх.

Ленин — крепкими альпийскими каблуками по камням.

Вилли ещё и ещё хотел набраться уверенности от учителя. Он не забыл летнюю драку на Банхофштрассе — но ведь опять всё смыло, подмело, и всё те же витрины сверкают, и всё то же мещанство гуляет, а рабочие спокойно слушают своих уговорчивых вождей.

— Но народ ведь — не подготовлен?..

На крутом повороте переулка из-под тёмной шапки, в слабом свете чьих-то верхних неспящих окон — голос тихий, но с тем же прорезающим лезвием:

— «Народ» конечно не подготовлен. Но это не значит, что мы имеем право откладывать *начало*.

И даже зная свою трибунную удачливость, и испытавши вопли молодёжных сходок, всё-таки возражаешь:

— Но нас — такое малое меньшинство!

А тот из темноты, остановясь, чего не открыл даже лучшим, собранным в кегель-клубе:

— А большинство — всегда глупо, и ждать его нельзя. Решительное меньшинство должно действовать — и после этого становится большинством.

На другое утро открылся съезд — в Купеческом зале, на той стороне реки. Ленин, как вождь иностранной партии, был приглашён приветствовать. А Радек, как от польской социал-демократии, тоже. Двое наших, один за другим.

В первое утро делегаты съехались ещё не все, это не было многолюднее, чем хороший реферат. (Ленин и не привык многолюдно, он и не знавал, что значит говорить тысяче сразу; один раз на митинге в Петербурге, так язык отнялся.)

И едва он поднялся над залом — осторожность овладела им. Как и в Циммервальде, как и в Кинтале, он не рвался высказать тут главное,— нет, вся пылкость убеждения естественно приберегалась на закрытое совещание единомышленников. Здесь — он конечно не призывал ни против швейцарского правительства, ни против банков. Стоя перед этой, формально социал-демократической, а по сути буржуазной массой самодовольных мордатых швейцарцев, рассевшихся за столиками, Ленин сразу ощутил, что его тут не воспринимают, не восприимут, да ему почти и нечего им сказать. Даже напомнить им их собственную прошлогоднюю весьма революционную резолюцию — как-то не выговаривалось, да и можно всё испортить.

И его приветствие было бы совсем коротко, если б он болезненно не зацепился за выстрел Фрица Адлера, две недели назад. Во время войны ухлопать главу имперского правительства! — это убийство заняло воображение всех, об этом много говорили, и сам Ленин для себя тоже искал оценку, а для того выспрашивал обстоятельства: чьё это влияние (не русская ли эсерка его жена?). И потаённо связанный с проработкой этого вопроса (вечный спор), Ленин тут, на съезде, половину своего выступления неуместно посвятил террору... Он сказал, что заслуживает полной симпатии приветствие террористу, посланное ЦК итальянской партии, если понять это убийство как сигнал социал-демократам покидать оппортунистическую тактику. И подробно защищал, почему русские большевики могли спорить против индивидуального террора: л и ш ь потому, что террор должен быть действием м а с с о в ы м.

А швейцарцы жевали, мычали, попивали — не понять их.

Но нет! субботнее заседание пошло хорошо, подало надежду! Аплодировало Платтену большинство, и *папа* Грейлих 75-летний, в пышных сединах, стал шутить, что «партия нашла новых любимчиков». (Да то ли ещё будет, последним *швицевским* ругательством вас покрыть! Да мы вас — повесим, когда к власти придём!) Шло, шло на лад! Ленин приободрился и ощутил себя как старый армейский конь в боевой суматохе. А дальше — Нобс оглядчивый не отказался выступить с резолюцией кегель-клуба (радековской): съезду — следовать кинтальским решениям. (Туповатые швейцарцы могут из моды проголосовать, сами толком не зная, в чём там кинтальские решения, — а и попались потом! Потом — их же решением — их и клевать. Гримма клевать!)

Мелочь? Нет! — именно т а к и движется история: от одной завоёванной резолюции к другой, натиском меньшинства, — сдвигать и сдвигать все резолюции — влево! влево!

И следующий шаг: вечером в субботу, по замыслу кегель-клуба, собрали отдельно и тайно (индивидуально приглашая), в другом, не съездовском доме, приватно, — всех молодых депутатов съезда: ставка на то, что молодость всегда сочувствует *левому*. План был прост: вместе с ними выработать (предложить им готовую, Радек уже принёс) резолюцию, которую они завтра, в воскресенье, *от себя* предложат съезду и протолкнут.

На этом приватном совещании молодых председательствовал, конечно, Вилли — со всей свободой призывающих рук вожака, весёлого бодрого голоса и волос распавшихся, — а рядом Радек стал, как обмазанный курчавостью, в боевых весёлых очках, читал свою резолюцию, разъяснял, отвечал на вопросы. (И оратор хорош, но — перо! но перо! — нет ему цены!) А Ленин, как всегда, как любил, сидел в ряду, незаметно, и лишь внимательно слушал.

И всё было бы хорошо: молодые депутаты прислушивались к русско-польскому товарищу и соглашались.

Всё было бы хорошо, но случилась крайняя неприятность: не подумали, не догадались запереть дверь. И в незапертую вошли, да их и не заметили сразу, — две сплетницы, две гадкие бабы: госпожа Блок, приятельница самого Гримма, и Димка Смидович, приятельница Мартова. А зашли бабы — не выгонишь, будут визжать, скандал! И не уйти всему собранию в другое помещение! Да уже слышали, видели — Радека как докладчика, и всё поняли, конечно, что резолюцию швейцарскому съезду — готовят русские.

Ах, какая дьявольская досада! Ах, какая грандиозная неудача! Что за мерзавки бабы, мизерная интрига! Конечно, тут же бросились — и нашептали Гримму. А он, нахал и сволочь, скотина последняя, поверил глупому бабью! И заварил пошлую склоку, в своей «Бернер Тагвахт» напечатал гнусные намёки, абсолютно непонятные 99/100 читателей: какие-то *несколько иностранцев,* рассматривающие наше рабочее движение через свои очки и абсолютно равнодушные к швейцарским делам, хотят в порыве своего нетерпения искусственно возбудить у нас революцию!..

Ахинея! Архипошлость помойная! И это — рабочий вождь?

И на съезде — высмеяли резолюцию Нобса. Где предлагал он постановить впредь выбирать в парламент только таких депутатов, которые против защиты отечества, Грейлих возвеселился: если пошлём таких депутатов, они по пылкости могут оказаться на *кегельбане.*

И съезд — хохотал.

И рассмотрение кинтальской резолюции тоже отложили — на февраль Семнадцатого.

Что ж за трагическая судьба?! Сколько вложено сил, вечеров, убеждения, ясности, революционного динамита! — и только обломки пошлости, глупости, оппортунизма, серая вата, чердачная пыль.

И в затхлой Швейцарии торжествует бацилла мелкобуржуазного тупоумия.

А буржуазный мир — стоит, не взорванный.

~~~~~~

ВЫ ЛЮДИ РЕЧИСТЫ,
ВАМ ВСЕ ПУТИ ЧИСТЫ.
А МЫ ЛЮДИ БЕССЛОВЕСНЫ,
НАМ ВСЕ ПРОХОДЫ ТЕСНЫ.

~~~~~~

38

Двадцать пятого октября после полудня, ещё раз заглянувши в Главный штаб на последнее додельце, Воротынцев вышел на Невский. Его билет был на поздний поезд, с Ольдой он уже попрощался утром, а вечерок мог провести наконец с няней и с Верой. И оставалось пройти Невский до Караванной, последний раз.

Как будто светлым звонким победно-успокоенным веществом он налит был весь, не на костях держалось его тело, а — распором этого вещества. Как будто он ни в чём, никаким родом не отполнялся эти дни, а лишь набирался, набирался этого победного вещества и пребывал теперь в таком звенящем состоянии жизни, как незапамятно когда, как может быть никогда, как думать было невозможно неделю назад.

У Ольды на стене висел ещё и гонг темноватого металла. После удара волосяной палочкой он долго-долго сохранял внутреннее гудение, протяжный глухой радостный звук. Вот таким же тронутым гонгом чувствовал сейчас себя и Георгий. Он сам до сих пор не знал, что

из него извлекаются звуки, он думал только, что он обладает массой, что он металл и наблещен. А вот звук — гудел и гудел в его груди, и оттого казался новым весь мир и особенно — женщины в нём.

Восемь дней он пробыл в Петрограде, кончал девятый — а не выполнил того единственного, для чего задумана была вся поездка,— так и не встретился ни с кем серьёзно. Такой измены долгу в своей жизни не мог бы он вспомнить.

Он упрекал себя разумом, а телом — был благодарен. Утекали единственные месяцы или недели спасать положение, но и он же, Воротынцев, жил жизнь единственную и тоже, может быть, последний месяц,— и как же он мог отклонить, если судьба придвинула такое? Он был бедняк без этого, он просто — жизни бы так и не узнал без этих восьми дней.

Он упрекал себя, но были и оправдания. Во-первых, он телефонировал Гучкову несколько раз и просил передать, и даже сегодня днём брал телефон, но не застал опять: в городе, воротится вероятно вечером. Ну, значит, не судьба. А во-вторых Ольда, отобравшая его от долга, отчасти и затмила его уверенность. Всё сложней намного, чем он думал с налёту, и требует размышлений. Как-то он за эти дни поостыл кого-то искать и что-то выяснять.

Из Румынии вылетев как снаряд — в пути незаметно и мягко он потерял разрушительную скорость.

Идя по проспекту, Воротынцев по обычной военной привычке замечал косым зрением встречных военных, чтобы не упустить отдать честь. И теперь, перейдя Полицейский мост, он таким косым зрением увидел мощного военного в папахе, генерал-майорские погоны,— и острый взмах руки сам собой отдался ещё прежде, чем Воротынцев посмотрел на лицо этого генерала и узнал в нём — Свечина!!

Ответил и тот сперва тем же механическим взмахом, тоже не сразу разглядев и опознав.

Вообще-то Воротынцев читал в «Русском инвалиде» и знал, что Свечин — уже генерал-майор, помнил, однако и не помнил, не держал в памяти отдельно от прежнего Свечина,— и теперь моргнул от неожиданности.

Повернули, сшагнули, сошлись в рукопожатии.

— Е-горий?

— Ваше превосходительство!

— Ну уж! — приобнял.— Был бы и ты, сам не захотел. Помнишь известное определение: генерал — это достаточно поглупевший полковник?

— Хорошо, что ты не забыл. Ещё не отказываешься?

— Хотя по себе не замечаю,— сильными губами улыбался Свечин,— но отказываться было бы неблаговидно. Впрочем,— косился золотого эфеса воротынцевской шашки,— разве это хуже?

Сказал для вежливости, так не думал?

Да Воротынцев не завидовал — ни когда первый раз прочёл в списках, ни когда увидел сейчас. Двух чувств он вообще не знал в жизни — зависти и обиды, вероятно от высокой уверенности в себе. И никогда за два года он не раскаивался, что тогда на ставочных генералах душу отвёл и правду насытил.

А всё-таки и в «Инвалиде» кольнуло, и сейчас кольнуло...

— Или это не ты? Вас — двое, что ли? Ты же в Ставке, вот письмо в кармане, звал меня заезжать.

— Так и вас — двое? Я тебе в полк писал, а ты — в Петербурге?

Удачная встреча! Воротынцев не знал, насколько серьёзно истолковать свечинское письмо, полученное перед самым отъездом, и — заезжать ли в Ставку на обратном пути.

— Уже уезжаю. Сегодня ночью.

— А я — через три часа. Жаль, что не вместе.

В левой руке Свечина был крокодиловый чемоданчик, настолько

маленький, что ни грузом, ни багажом нельзя было его назвать, и даже генерал мог нести его, не противореча уставу.

— А приехал когда? Вот не встретились! — порывом пожалел, а на самом деле не мог жалеть Воротынцев: за Ольдой когда ж бы им?

В чёрных глазах Свечина просверкнуло холодное:

— Сегодня утром.

Не понял:

— Сегодня и приехал, сегодня уезжаешь?

— Я... — с жестоким пожимом больших губ,— приезжал только порвать с женой.

В толк не взять:

— С утра — и до вечера?

— И дня много,— жестоко небрежно говорил Свечин мимо Воротынцева.

За это время они непроизвольно повернули — так, как шёл Свечин, перешли Мойку, постояли, перешли Невский к Деловому клубу, постояли. И, как складывались сами шаги, пошли по Мойке в сторону Гороховой.

Весь день провисело тяжёлое небо, особенно тёмное сейчас, к ранним северным сумеркам. И начинался дождь, серая поверхность Мойки помарщивалась от капель.

— Понимаешь, — хмуро объяснил Свечин. — Несколько месяцев назад я узнал, что жена прибивается к распутинской компании. Я её — предупредил. Но я не евангелист, предупреждаю не семьдесят семь раз, а только один. Особенно женщину.

— Почему же к женщине строже всего? — с беззаботностью возразил Воротынцев.

— К ним-то? — настаивал Свечин.— Никак иначе. Иначе пропадёшь. Можешь денщика простить до десяти раз. Можно вольноопределяющегося простить за бегство с поля, ему не закрыто исправиться. А женщина — или понимает с первого предупреждения или безнадёжна.

Странный, безжалостный вывод. Но как приятно неожиданно встретиться со старым другом, при сохранившейся полной простоте отношений. Да вообще после Ольды — что могло бы ему не понравиться? Всё отлично, всё кстати, даже дождь.

— Но что ж именно случилось?

— Ничего. Только чай приезжал пить Старец. В моей квартире — пил чай!! — длинные губы Свечина перевились как жгуты. Это был признак бешенства, за то звали его, ещё при яркой черноте глаз, Сумасшедший Мулла. Однако в служебных делах никогда он это бешенство не проявлял.

— Ну — чай, слушай! Простое гостеприимство! — всё веселей, как будто дразня, возражал ему Воротынцев.— Да наверно ж и другие гости были, духовные разговоры вели.

— Молиться — церковь есть,— сурово отклонял Свечин, бесчувственно к шутке.— Нужны обязательно старцы — езжай в Оптину. Да там, видишь, старцы не те. А если шестеро баб надевают прозрачные платья и трутся около здоровенного мужика...

— Ну, не по шестеро!

— Да по двенадцать! Рассказывают: в баню с ним ходят, графини-княгини, вот такие же жёны, по очереди мочалкой его трут.

— Ну, не все. Ну, не всякий же раз,— легко возражал Воротынцев.

Вот как. Бредём все разумно по набережной, а в сторону на шаг оступись и — бултых.

— Да я этих графинь в общем виде не осуждаю. Моя оговорка лишь в том, что *моей* жене там не место, она должна знать своего хозяина. Даже если там только чёрные сухарики принимают в душистые платочки да выпрашивают грязное гришкино бельё поносить. Пили чай за моим столом, была предупреждена,— достаточно.

— Но что она сама говорит?

— Не знаю. Это не имеет значения.— Сложил губы как для свиста.— Я, видишь ли, не застал её дома. А ждать не стал, мне завтра в Ставке быть. Написал записку, сложил вот этот чемоданчик, всё остальное — ей.

Поразился Воротынцев: чтобы так — не в кавалерийской атаке, а — кончать семью?

— Сыновья — оба в кадетском. Дальше в училище пойдут.

А дождь усилялся, да крупноватый, мочил им папахи, шинели. Они прошлись вдоль Мойки, воротились к Кирпичному переулку. Темнело, сырело, скоро зажгут фонари.

— Так ты куда сейчас?

— Да никуда. Пообедать.

— Так вместе? Хочешь, пойдём к моей сестре?

— Да давай в ресторан. Вот тут Кюба рядом.

Пошли по Кирпичному. Вот и мимо тройных витражей ресторана, уже задёрнутых, тепло освещённых изнутри. Завернули на Большую Морскую, к мраморному портику на штукатуренном доме. На повороте обошёл их мягко лихач на дутых шинах и раньше остановился у Кюба. Сошёл молодой человек, принимал за собой подругу. В песочном пальто и чёрной шляпке, не покрывавшей всех волос, она спрыгнула, тонкая, лёгкая, пошатнулась, и спутник придержал её, как обнял. Они вошли перед офицерами — и в дверях и в вестибюле потянулся ток духов от той девицы.

Под розовыми абажурами друзья с удовольствием раздевались в тепле, отстегнули и шашки. А те двое — у соседнего гардеробщика. Без пальто выявилась статуэточная отточенность девушки в золотистом платьи до щиколоток, а без шляпки — избыток длинных волос, назад двумя каскадами. Спутник назвал её Ликонеей.

Казалось — уж Георгий был переполнен, а нет,— появилось внимание смотреть. Вот и эту бы он раньше не заметил. А сейчас, встретясь с ней глазами, не счёл неприличным задержаться чуть дольше, будто надеялся успеть не полюбоваться, а выявить ей что-то своё.

— Такие барышни разве ходили сюда раньше? Кюба ведь был для деловых встреч?

— Вернёмся — многого не узнаем,— мрачно отозвался Свечин.

Да первое неузнаваемое и неприятное был спутник её — с выложенными подвитыми серыми локонами, чуть не напомаженный, с уверенно-ленивыми манерами. Надменно окинул он высших офицеров с их академическими аксельбантами и академическим серебряным прибором — как гардеробщиков, не больше отпуская им интереса.

— Это во время войны, сопляк такой. Погонять бы его по ходам сообщения, в три погибели.

— Да-а,— бормотал Свечин. — Читают стихи сомнамбулические, слушают этих истериков Северянина да Вертинского. Что тут пока растёт — нам неизвестно.

Первый этаж ресторана был длинная зала в коврах, в теплоцветных шёлковых занавесах на больших трёхарочных окнах, верхний свет несильный, а на столах стояли заабажуренные лампы. Но тип ресторана изменился, да: сидели дамы, переблескивая украшениями, курили длинномундштучные папиросы. А в дальнем углу у содвинутых столов, перегруженных блюдами, большая компания справляла какое-то тыловое торжество. От них доносился избыток сытого шума, и ещё на помосте, за занавеской, мастерили для них какое-то зрелище.

Воротынцев никогда не был любителем ресторанов — по многолетней денежной стеснённости, но и принципиально: любой ресторан снижает темп дела и раздувает долю удовольствия — пропорция, которую Воротынцев себе в жизни никогда не разрешал, да давно и не желал.

Но сейчас приятно было опуститься в мягкий стул против Свечина и, уже в обхвате сложного соединения многих съестных запахов,

невообразимых для фронтовика, поджидать пока поднесут меню, а раньше того что же? — закурить.

Случай так случай! — хорошо открывалось поговорить с другом — нестеснённо, обобщённо. Хотя в Петрограде от всех разговоров Воротынцев скорей растрясся, чем собрался.

И Свечин расположился удобно, потянуть время до поезда, и с удовольствием поджигал трубку. Ни по чему было не угадать, что в этот самый час, или около, его жена входит в квартиру и от мужа, который мнится ей за семьсот вёрст, читает гильотинную записку.

Поразительно, как это смог он круто так, и как собой владеет.

Потому им было легко друг с другом, что ничего не надо проговаривать подробно: хоть и не виделись два года и почти не переписывались, но только назвать — и обоим ясно большей частью от начала, большей частью до конца.

Если *Шампань*, так это не родина шампанского, а участок, где всё прошлое лето обещали союзники начать наступление в вызволенье нам, но не начали, но дали нам сгореть в нашем прошлогоднем бесснарядном гибельном отходе — и снарядов тоже не прислали нам. А когда у нас всё кончилось, то они без пользы выпустили три миллиона своих в этой самой Шампани.

Да что союзники сделали за весь Пятнадцатый год? А английская пехота — много ли дралась? С начала войны продвинулась на несколько сот метров. Очень уж себя берегут.

Или: кавказскую армию зачем гоним в ненужное безнадёжное наступление по турецким горам? Что может быть бессмысленнее нашего наступления в Турции? Горы, снег, суворовские богатыри и чудеса, взят Эрзерум! — а применить ничего нельзя, всё зря.

Но выручает союзников под Салониками. Но выгодно для Англии в Месопотамии.

Ничего не надо объяснять, только называй. Сентябрьский ли измолот гвардии под Свинюхами-Корытницей (названья — как прилеплены, по достоинству операции). Или мартовское бессмысленное наступление у Нарочь-Дрисвяты — без всяких шансов на успех, спеша до оттепели, не считая потерь, продвинулись — и распутица, окопы залиты водой по колено, артиллерия и обоз не передвигаются.

— А всё только — выручить союзников под Верденом. А и верденский бой начали немцы, союзники б не решились.— Воротынцеву уже всё к одному цвету, отчаянному.

Но Свечин из Ставки может быть и справедливей:

— Это — измолотные бои. Французы под Верденом тоже может быть за двести тысяч потеряли.

Воротынцеву всё равно не по нраву:

— Они хоть — с шумом на весь мир, хоть в историю войдут. А Эверт сколько потерял? Наверно...

— Тысяч семьдесят.

— Вот! И — ни звука. Вот так мы умираем.

Свечин-то много знает, не всё сразу вытянешь.

Орудия нам присылают — на тебе, убоже, что самому не гоже. От нашей хрустящей конской амуниции, от зарядных ящиков из кондовой древесины — не отказываются. А паровозов нам нужно 300 штук — не дают. Их формула: потребности Западного фронта громадны, оторвать от него не можем.

Да это что! — а людей!.. Уже вскоре после самсоновской катастрофы союзники имели наглость просить у нас четыре корпуса во Францию через Архангельск. А потом у них были потери в ударных сенегальцах — и с марта этого года они бессовестно требовали от нас 400 тысяч наших солдат, на свой фронт, по 40 тысяч каждый месяц.

Воротынцев не то что высвистнул, а — выдохнул как пар паровозный: во-о-он за чем приезжали эти морды благообразные, Вивиани с Тома, отснятые для всех иллюстрированных журналов. И получили-таки русский экспедиционный корпус! Дичей этого корпуса выдумать нельзя: чтобы сидели русские мужики за семью морями в чужих траншеях как колониальные сенегальцы.

— Ну, ни за что б я не дал этого корпуса! — бурлил Воротынцев.— Значит, воевать до последней капли крови, только русской? Ну, нет у Государя твёрдости, ну нету!

И по Свечину пошарил взглядом, как он насчёт Государя? Не должен бы измениться.

— А куда ж денешься? — со своим обычным спокойным пессимизмом возражал гологоловый, гололицый Свечин, обстриженные маленькие чёрные усики под большим носом.— Алексеев поторговался с Государем, с французами, но 6 бригад по 10 тысяч пришлось дать. У союзников логика железная: поскольку недостаток вооружения не позволяет русским использовать все свои силы, то не нам должны добавить оружия, а мы должны свободный людской персонал уделить на их фронт.— Усмехнулся: — Как модный поэт читает по эстрадам: «Лишь через наш холодный труп пройдут враги, чтоб быть в Париже.»

А взгляд Воротынцева, мимо свечинского плеча, пришёлся на ту пару, севшую через три стола. И почему-то тот неназванный модный поэт совместился для него с этим декадентом с навитыми локонами, спиной сюда. А Ликоня сидела очень удобно для наблюдения, в три четверти.

И хотя Воротынцев уже давно убрался от них мыслями, и разговор со Свечиным был жизненно важен, и всегда б он был весь тут, вонзаясь,— а вот какое-то новое остаточное внимание появилось в нём, не уходило из глаза, из мысли: о чём они там могут разговаривать? чем живут? И что ему эта девица, которую он никогда не увидит больше? — но что-то встромчивое от неё вошло, её присутствие почему-то всё время ощущалось. Разной женственности, оказывается, бывают женщины. Эта изгибистая девушка виделась как концентрация всего, что так густо в эти дни захлебнул Воротынцев. Но уже по тому, как она с извозчика соскочила в обнимку, и у гардероба была вся повадка отданная, привязанная, досадно убеждался и самый бескорыстный наблюдатель, что эта Ликоня со внимательно-медленными глазами и двойным водопадом волос...

— Так и выражаются откровенно: вы нам — солдат, тогда мы вам — оружия. Подвигами нашими умеренно восхищаются, а платежей требуют как ростовщики: за все военные заказы систематически платим наличным золотом в лондонский банк, а в долг — ничего. И вот истощилась валюта — и не можем делать военных заказов, сокращаем.

Свечин морщил крупный жёсткий нос как от дурноватого запаха.

Даже не в долг?!. Ну, как бы ты ни был предостережён, как бы ни ждал дурного — а всего никогда не угадаешь. Требуя по 40 тысяч русских тел в месяц — и за каждую железку тут же золото на кон? Нет, этого западного торга нам никогда не понять! И докуда же мы отдаём?

Воротынцев страдательным голосом:

— Ком-мерсанты! Мы для них — не товарищи по несчастью, а удобная дубина? Франция — просто купила нас. Как же можно при нашем богатстве да так попасть? Как же воевать так неравно?

И под такие вопросы — только *одно* лицо всегда выставлялось перед ним, со своим стеснённо-равнодушным выражением. Ведь *он* — всё это знает! Как же он может так уступать? Зачем полез в такую петлю? Почему не заговорит с союзниками твёрдо: мол, иначе выйдем из войны?

— Мы — вообще одни, никто с нами искренне,— выливал Воротынцев свою настоявшуюся горечь.— И что когда-нибудь хорошего делали нам англичане или французы? Почему, собственно, они наши союзники? Как легко мы им простили крымскую войну! А японскую?

Ведь Англия была японским союзником, подарила Японии два броненосца с британским экипажем, продала три десятка вспомогательных пароходов, снабжала японский флот своим углем, на их угле Того вёл все сражения. А у Франции с Англией было «сердечное согласие» — а с нами само собой тянулся союз против Германии,— как это? Где ж наше соображение? И сегодня же союзники наперебой отплёвываются, что им, демократам, пришлось взять в союз такую гадкую реакционную Россию. В прошлом году Ллойд-Джордж публично злорадствовал нашим отступлениям и потерям.

— Их друзья американцы — к нам открыто враждебны вторую войну. Зачем и почему мы с ними союзники?!

Возобновлялись их обычные прежние друг с другом роли: роль Воротынцева — произносить горячие разоблачения, роль Свечина — с угрюмой насмешливостью напоминать безнадёжные факты, но побольше молчать и равномерно служить.

— Или Балканы? — не унимался Воротынцев.— Стоило нам для болгар брать Плевну, мёрзнуть на Шипке? Вся идея возглавить славянство — ложная, вместе и с Константинополем! Из-за славянства мы с немцами и столкнулись. Шли они на Балканы, дальше в Месопотамию — а нам что? Это — английская забота. Да и для сербов — чего мы добились? Третий год воюем за Сербию и Черногорию — и что? Они стёрты с лица земли. И мы — шатаемся. Миллионы — в земле, два миллиона в плену, если не больше, да крепости сокрушены, области отданы,— всё для союзников! Почему Англия могла перебросить войска на материк через год — а мы должны были в две недели выложиться? А после Самсонова — можно было не переть на Германию, вопреки собственной доктрине, не перемолачивать кадровую армию? И румын в союзники нам навязали французы!

Свечин и спорил и не спорил, усмехался попышливо, дымом:

— И нас же упрекают, что наши военные усилия в Румынии недостаточны. И румынские неудачи приписывают русскому предательству.

— Да ну? Вот это так!.. И всё — из-за проклятого константинопольского миража! — сек Воротынцев.— Как будто нам дуракам наши дорогие союзники уступят проливы когда-нибудь, чем мы думаем? И что за тупая жадность — почти всеобщее ослепление этим Константинополем, будь он неладен! И Достоевский туда же. И от самых крайних правых и до кадетов, даже до Шингарёва,— жизни им нет без Константинополя!

— А наш Головин? — посмеивался Свечин.— Помнишь: Россия — заколоченный дом, куда можно проникнуть только через дымовую трубу.

— Спутали все двери и окна! Свои же окна хламом завалены. Мне здесь пришлось побывать в кадетских кругах — так против Англии слова не пикни, все сразу на дыбы. У Головина-то мы ещё восемь лет назад говорили: развивать военное производство, чтоб ни от кого не зависеть. Так тогда и нафталинные старцы и умная Дума пожалели именно золота. А теперь — отвезли его всё.

В меню стояли цены непостигаемо высокие. Но и—выбор. Не слишком по карману... А что ж тут пить? Генеральские звёзды надо ж обмыть? Не может быть, чтобы водки не устроили, небось как-нибудь тайно...

Как церковная вера неуклонно раскладывается на народ, а для чистой публики всегда допускаются полегчания, так и здесь не могло не быть изъятий.

Свечин когда и согласен, так посмеивается, Свечин свои заборцы знает. Он — критик особенный, к нему привыкнуть. Вот, он знал о союзниках горше Воротынцева, но через каменные заборцы не прыгал. Знай ругай, а служи в своём загоне.

— Кстати, знаешь: Алексеев предлагал вообще с Турцией помириться и фронт ликвидировать.

— Да что ты! И он бывает такой умница? И что ж?

— А ничего ж. Чем у нас может кончиться?.. А по-твоему что ж, надо было союзничать с немцами?

— Один отставной корпусной генерал, как только войну объявили, сказал: ну всё, погибли две империи, российская и германская. Я тогда ещё этого не оценил. Не говорю союзничать — но можно было удержаться в хорошем нейтралитете. И они нам его не раз предлагали, хоть в Девятьсот Седьмом.

— Но нам нужно было одним рывком избавиться от немецкого засилия.

— Но для этого не непременно воевать! У нас это проговорить невозможно — сблизиться с центральными державами. Кадеты мешали вооружаться — но при этом с Германией не мирись! Конечно, уже имея договор, получается, что надо было спасать Францию. Но раньше того: мы не нуждались ни в этом договоре, ни в этом союзе, ни в территориях. Наша потребность — только внутреннее развитие. Это понимал и делал Столыпин.

Но свечинскую глыбу так просто не сдвинешь. Скучно посапывал:

— Да и Германия во время японской интриговала. Она в таком союзе с нами была, чтоб задушить торговым договором, брали зерно задаром. А старое вспоминать — так кто на Берлинском конгрессе запретил нам проливы? Почему Скобелев говорил: «дорога в Константинополь ведёт через Берлин»? Всегда смотрели немцы на Россию как на навоз для удобрения.

Это правда, что ни вспомнишь — то унижение. Ну, и русская политика.

— В общем — были пути уклониться от этой войны. И надо было.

— Нет. Раз Германия твёрдо решила с нами воевать — без унижения мы уклониться не могли. Они бы вынуждали нас, следовал бы позор за позором. Чтобы против Германии мочь ровно стоять — нам неизбежен был союз с Францией. Вот Александр III и принял. А иначе б мы остались один на один.

— Ну и что? Что ж, у нас спина хрупче, чем у Германии? Ну, не-ет! Ещё одна Отечественная война? Так вот тогда б наш народ и стал — заедино и до последнего, не как сейчас. А стань в положение Германии, разве она не одна? Кто у них по сути союзник? Да никто. А стоят — против всего мира, я-те дам! Они стоят одни — так мы, гигантская страна, не простояли бы? Ну что нам этот коммерческий конфликт между Англией и Германией? — он нас не касается, зачем мы туда встряли? Если Россия куда лезет — то только по несознанию своей силы. Если б мы понимали себя — никогда бы мы не тесались в игру этих мальчишек. Что нам в каждой драке непременно надо? Дураки политику обдумывают. Вообще никто не обдумывает. Мы — тем сильней, чем твёрже в своих пределах. Да, ты прав, нам послан был урок турецкой войны: мы воевали, умирали, а другие, в нейтральности, пальцем не пошевеля, направили как хотели. И нам бы всего только — не мешаться в эту войну, деритесь, а мы ни при чём, да два года мирно постоять,— так не было бы силы, сравнимой с нашей.

— Ну, Егорий, что о том говорить, чего не жарить, не варить. Правильно, неправильно, но историю не переделаешь, что́ уж ты так горячишься.

— А то, что и сегодня из этого вытекает, как нам быть дальше! — не гнулся Воротынцев.

— Как же? — уже заранее высмеивал Свечин.

— А-а... — менять весь наш взгляд на веденье этой войны. Перестать пробивать стену лбом, не считаясь с жертвами.

— Вот тебя не поставили вместо Алексеева! И как бы ты это делал?

— Я бы? — Готов, но замялся. — Ну, по крайней мере Шестнадцатый год *продремал* бы, никуда бы не лез.

Тут усилился шум на банкете в конце залы, что-то объявили — и те не пойманные мародёры или провизоры, нажившиеся на опиуме и кокаине, стали аплодировать холёными руками. Кто-то раскланялся — свадьба-не свадьба, юбилей? выгодная сделка? — отдёрнулась занавеска, а за нею —

подвешено какое-то колесо. И двое служителей стали быстро поджигать его в разных местах. И отскочили тут же.

Колесо само завертелось, густо рассыпая искры бенгальского, всё сплошней занимаясь огнём по диску, в три цвета: серебристый из центра, голубой по большему кругу и красный по ободу, как бы национальный флаг, только во вращении. Закружившийся, заверченный флаг.

Ах, как забавно! Ах, как весело придумано! — смеялись, хвалили, аплодировали мародёры.

Но пиротехники не рассчитали: поредел серебристый цвет, поредел голубой, и исчерпались оба, а объемлющий красный — нисколько. Так и вертелся налитым ободом.

Красным.

Алым.

Багряным.

Огненным.

Докручивался, рассыпая искры.

Не так, а где-то что-то подобное... ?

Да! Мельница горела в Уздау...

•

39

Водку подали им в нарзанной бутылке. Изобретателен бес. Как это может быть? Да платят полиции взятки, вот те и не замечают.

А уж это — причуда посетителей-офицеров, что они к нарзану заказали солёную закуску.

А на какой-то стол принесли толстый чайник с «белым чаем». Устраиваются.

Ну что ж, начали?

По стопке, по стопке — с отвычки грело и разбирало веселовато.

За эти полчаса со Свечиным Воротынцева уже покидала та самодовольная победность, распиравшая его тело, дозвуки гонга в нём уже не стали звучать, — возвращалось тело в свою обычную жизнь — и дремавший ум просветлялся.

Войну — надо вести иначе. Не надеяться, что она вот к лету кончится, а — менять весь её характер.

Свечин согласен: менять методы веденья войны. Как мы застыли в окопных линиях — из этого вырваться не просто, можно и десять лет просидеть. И вот есть идея, которую в Ставке никто не слушает: не стараться толкаться целыми фронтами, а формировать хорошо подготовленные, отлично снабжённые ударные группы, все — на копытах и на колёсах. Прорвать фронт хоть узко, хоть на несколько часов, — и бросить такую группу глубоким рейдом! Такой войны немец не выдержит, это будет почище партизан в Отечественную. А ответить тем же он нам не может, потому что наши рейды у нашего населения найдут помощь, а он — не найдёт.

Нет. Вот теперь-то, обежав места неразногласные, и раздиралось их понимание от разноты опыта за два года.

— Не в приёмах, Андреич. Уже не в оперативных приёмах. Я тебе говорю: менять весь характер!

Из Штаба Верховного видно не то, что из полковой землянки. Кто засиделся в штабе, тот забывает чувствовать погибших. Им — можно ноли при числах подсчитывать. Но...

— Ты оглянись, ты ощути — сколько мы уже народа нашего перебили? Уж офицеров — и лучших, и средних, всех перебили, давай вспоминать. И сколько уже таких полков, как 1-й Сибирский, где ни одного не осталось? Вместо кадровых — прапорщики «с идеями». А главную массу наших унтеров мы погубили в 14-м году. Сейчас русских уже побито больше, чем когда-нибудь в нашей истории, в любых войнах. И льётся именно и почти исключительно — русская кровь. Кавказцев — мы не призываем, хорошо. Туркестанцы не захотели идти даже на тыловые работы — мы согласились, хорошо.

— А инородцами много не навоюешь. В пехотную службу они пойдут неохотно, они — кавалеристы, а по нынешней войне кавалерию надо как можно уменьшать, знаешь сам. А такого упорства в бою, как у русских, — ни у кого нет.

— Кто тянет, того и погоняй, да? Что мы делаем! — ратников гоним, беззащитные бороды. Своими руками гоним Россию на смерть! Если других щадим — почему же своих не щадим? Мы проигрываем больше, чем войну, — народ! Это невероятно, что мы выкачали из страны миллионов сколько? тринадцать? и продолжаем качать дальше, уже мальчиков 19-летних. А в окопах всё равно не сидит и три миллиона — а где остальные? И лошадей сгоняем, разоряем тыл — зачем? У немцев был перерыв в войнах сорок три года, а у нас — всего девять. Но кто же воюет умелее?

— Со всей их умелостью они сейчас лошадей кормят суррогатом из соломы и древесины. Конечно, организация. Но они задыхаются без людей, без продуктов, без материалов — и наш фронт, наоборот, представляется им грознейшей силой.

— Да? А наш тыл? Нам с фронта ещё очень мало видно. — Он сказал «нам с фронта» из вежливости, понимая, что у Свечина в Ставке слишком взнесенная и не угнетённая точка зрения. — Мы с позиций только и смотрим вперёд, на неприятеля. А поездишь — наслушаешься... «Надо бить немца сперва внутреннего!..» «Не умеете воевать — кончайте!» Рабочие уже бунтуют и захватывают запасные части.

— Ну уж! Страсти-мордасти.

Да! Вот за эти дни в Петрограде. Очень серьёзные волнения на Выборгской стороне. Полиция... А соседний запасной 181-й полк... Чуть передайся через мосты — и во всём Петрограде...

Ну уж!

Когда не случилось — так всегда «ну уж!». А когда случится, так: иначе быть не могло.

А мародёры там, в глубине зала, шумно веселились, в хохоте взрывались. И все, конечно, имеют законное право не воевать, сорить деньги и праздновать в ресторане Кюба даже по будним дням.

Не очень верил Свечин. Впрочем, десять дней назад и Воротынцев, — из армии как можно в это поверить?

— Где и муки даже не стало хватать. Сейчас как бы не опаснее, чем летом Пятнадцатого. В прошлом году, как мы ни отступали, но сыт и крепок был тыл.

— А как уж мы так отступали? — рассердился Свечин. — За Москву, как в Отечественную? До Полтавы, как Пётр? Даже не до Днепра, как от поляков бывало не раз. А мы — всего лишь на краю Польши стоим. Ну потеряли Польшу, Галицию, часть Лифляндии...

(Польшу, Галицию, Лифляндию, — но оставалась Ольда. Имея Ольду, уже не чувствуешь себя в столь побитой армии.)

— Тебе бы поотступать самому с венгерской равнины — попятиться задом на Карпаты.

— В Пятнадцатом страшно показалось оттого, что без снарядов. Ну, отошли на 500 вёрст, а ни одной армии, ни одного корпуса не дали окружить. А сейчас снарядов — завались, и с каждым месяцем больше. И армия — прочна, и тверда, и исполняет свой долг, не знаю случаев неподчинения. Ты невольно поддаёшься — от румынских впечатлений. А кроме: Германия и Австрия уже нигде не способны на большое на-

ступление и переходят к обороне. И обречены на истощение, к ним силы ниоткуда не подходят. Пленные немцы стали — упавшего духа.

Увеличенно крупная, а по слабости волос всегда стриженная под машинку, голова Свечина была не кругло-овальная, как у всех людей, а с выпирающими несимметричными буграми, как бы знаками упорства. Волосы скудные, а голова — непробиваемая.

— Мы, напротив, войну уже неотвратимо выиграли,— пёр он своими буграми. — Ничего, хоть эти чёртовы доблестные союзнички где выиграют — всё равно война наша. Пойми: центральные державы изготовляют в сутки 600 тысяч снарядов, а Согласие — 800, это ж когда-то всё равно перевесит.

Но лишь всего один такой снаряд — да в гущу нашего окопа...

Воротынцева пригнуло к столу — к Свечину, через стол навстречу. Устойчивый наклон, как ходят в атаку. И твёрдо, и глухо:

— Наш корень выбит, Андреич! За эти 27 месяцев выбит наш корень. Не считай союзниковы снаряды, поезжай посмотри наши полки. Это — уже не те полки, какие шагали по Пруссии, тогда у Самсонова. Нам — армию подменили, Андреич! Никакая победа нам не заменит убитой России! Мы сейчас — добиваем тело народа. Не считай союзниковы снаряды, да и наши, — народу обещали войну в три месяца, народ выдохся, народ хочет только замирения! Настроение солдат такое: затеяли баре войну и убивают мужиков. Если Россия подменится, станет другая Россия, — зачем нам победа?

Пахнуло на Свечина.

Но не убедило, даже изумило:

— Так тебе что — уже и победа не нужна??

— Я просто — вижу, как оно есть, — отдышивался Воротынцев после выпаленного. — Такую логику мы уже помним: «претерпевый до конца, спасен будет», да? Если мы не уничтожимся, вот это и будет победа, после всех глупостей. Нам победа в Европе ничего не даёт, что́ она нам даёт? Ещё земли захватывать? Опять Константинополь?

Но Свечин смотрел с недоумением. Нет, этого он не принимал:

— Так что ты предлагаешь? Теперь выскакивать из войны, что ли? Сепаратный мир? Но если Россия отделится теперь от союзников, она и окажется в побеждённых. Преждевременный мир привёл бы Россию к беде. Даже к революции.

— Как раз наоборот! — спокойно выставил Воротынцев.

Но так прямо — сепаратный мир — он не хотел или ещё не готов был сказать.

А Свечин:

— Знаешь, я соглашусь: может быть и умно было в эту войну не встревать. Но уж встряли — надо кончать её, а не метаться. Война сорванная, наспех законченная — грозит ещё худшими последствиями, чем нынешнее напряжение. Да как это, ну как это выйти из войны — и без ущерба для России?

— А продолжать и тянуть её — не худший ущерб, чем выскочить? Практически это можно обсудить. Один из вариантов, говорю, задремать.

— А что скажут союзники?

— Да не о союзниках мы должны думать, а о спасении своего народа! Это — интеллигентская кадетская фраза: что России будет несмываемый позор, если она расстроит единство с союзниками. А эти союзники довольно на нас покатались, хватит. Да все войны всегда они вели для своей выгоды, а только мы болваны без толку суёмся... Я иногда думаю, правда, что нас хитро впутали в эту войну: союзники нуждались осадить Германию, — а хорошо это сделать русскими руками: заодно и Россия крахнет внутри, раз она даже японской не выдержала. Они выиграют — они и победу захватят, мы — лишь бы им выволочили. Так пусть они свою победу берут, а нам нужно только

не уничтожиться, перестать терять людей. Бывает болезнь, бывает усталость, когда дальше — ни шагу нельзя?

Из сходного знания они делали разные выводы. Эта страстность разногласий между сходными — она и досадна, когда всплывает, но она ж и плодовита всегда.

Да нет же, нет, как раз наоборот! — убеждал Свечин.

— Самый важный год в войне и будет Девятьсот Семнадцатый, и именно после всех жертв тут и нельзя ослабить напряжения сил. Мы даже должны *увеличить* армию — теперь, когда фронт растянулся до Чёрного моря. Сейчас белобилетников переосвидетельствуют — ждём от этого 600 тысяч. Да ратников 2-го разряда — ещё 150 тысяч. Да очередной призыв. И с этими ресурсами...

Ресурсами, Боже.

— Да нельзя больше испытывать народное терпение, пойми!

— Да ты стал выражаться, как народник, а не как офицер генерального штаба! — смеялся Свечин чёрными сочными очами.

— Нет, как доктор. Как доктор, приложивший ухо к груди — и услышал смертные хрипы. Поверь! Не пустое говорю. Знаю.

До этой минуты Воротынцев высказал всё, что хотел, не смягчая, — и сколько бы Свечин ни возражал — но сказано, и между ними легло. Однако продолжать дальше, — а *решения, пути* — он не мог предложить. Он только знал, он чувствовал, что — надо действовать!! И вот такая встреча! Куда естественней! — умён, силён, быстр, доверие полное, теперь и фигура — генерал в самом сердце Ставки. Не намного мельче и Гучкова. Во всей поездке такой встречи не было и не будет.

Но Свечин — служака. Он может всё понимать, а содействовать — не будет:

— Тут в Петербурге все взбеленились, будто мы войну проигрываем. И с чего это взяли? И друг друга настрёкивают. И, конечно, Гучков туда же, в первых рядах. Что за дерьмовое письмо его Алексееву, читал? Придрался — не к существу, чтобы только правительство выбранить и шума поднять побольше. Раздул, раздул — и распространять, дамский приём, истерика, как у всех тут. А что в письме доказано? Ничего. Очередной столичный экзерсис.

Вот повернулось: сам же Свечин и налетел на центральную фигуру, и Воротынцев опешил его защитить. Там, в Румынии, это письмо сослужило ему переполняющей каплей, подожгло его нетерпение — оттого ли, что мы так бываем готовы слишком? А сейчас подумал: правда, что за форма?

А Свечин доламывал:

— Гучкову как раз стыдно не разобраться: он и военным себя считает, и на фронт заглядывал, и снабжение как будто знает, или даже занимается. Хотя его эти военно-промышленные комитеты неизвестно что больше: помогают снабжению или путают, нельзя иметь столько хозяев. Да и все же только рвутся на фронт — агитировать генералов да раздавать офицерам ротаторные речи.

Тут подали им уху, немного умеряя и отвлекая обоих. А водка их уже была при конце. Не давая остывать, накинулись на уху.

Немного подсправясь, опять усмехнулся чернобровый безбородый башибузук:

— А видел бы ты, чего это Алексееву стоило, — он с тех пор заболел, не выздоравливает. Ведь он, как истинно-русский человек, больше всего на свете боится начальства. А тут — Государь мог подумать, что Алексеев и действительно состоит с Гучковым в переписке!

Сразу мысли: а сам Свечин — разве не боится начальства? И, если уж до конца: как он сегодня к Государю? Это — ключ.

— Ну и так, как он, работать, тоже заболеешь. Ведь он через свою единую голову не только всё армейское, но уже и всё гражданское: заготовки провианта, фуража, металлический голод, топливо, даже милитаризацию заводов. Он по-прежнему: помощников себе не ищет и хо-

рошего штаба никогда не создаст. Половина Ставки — вообще бездельники. Один у него советчик был Борисов, нечёсаный, немытый, дух запазушный, и тот не работал. Алексееву нужны только исполнители, вроде дурака Пустовойтенки, лишь бы бумаги вели в порядке, а не совались. Старик даже не желает смотреть оперативные планы нашего отдела: мол, если решение должен принимать один человек, то он один должен и планы составлять. Сам! Предложишь ему что-нибудь вроде рейдов — только отмахивается, поменьше нам этих новинок, увольте!

— Ну, хоть и в одиночку, а решения, я смотрю, он принимает неплохие. Если, ты говоришь, он — за мир с Турцией. И, если я правильно слышал, он и с Румынией не хотел вязаться, а отдать предпочтение северной части фронта. Да ведь как ему, наверно, его величество ещё подпорчивает?

Пристально на Свечина.

Тот, над ухой, размеренно:

— А союзные дипломаты? А царица? И даже Распутин, свинья, передаёт Алексееву советы.

Не добавил глазами больше сказанного, но — всё понимает, конечно. А сворачивает на своё:

— Но и нельзя же все задачи армии и страны пропускать через одну голову. Это как раз свойство человека, одарённого не щедро. У нас — бранить принято Государя, сколько угодно правительство, только не нашего старика, он стал как признанное достояние России. А между нами поближе: разве он достойный главнокомандующий великой армии?..

Вот именно. Только не он — главнокомандующий. Верховный с ним по соседству — спит, гуляет, обедает с генералами и дипломатами, слушает охотницкие истории, посещает кинематограф.

— Ну конечно, после Янушкевича и Данилова — на Алексеева можно молиться. Но вот это и есть та лопата, которую ставят вместо иконы.

Тут — как не присоединиться:

— Это, Андреич, и есть тоска десятилетий бездарности. Даже когда искренно хотят поставить даровитого человека — уже не способны найти его. И ставят, по наследству, со своей печатью ограниченности. А соваться в такую войну — надо быть твёрдой властью, иначе бы и не соваться. Тот же и тыл — выдержал бы и вчетверо, как в Германии выдерживает, — если была бы твёрдая рука.

Свечин как не слышит:

— Да я о нём — и не плохо. Не корыстен, не честолюбив, разумно понимает дело. Да и не отвергнет правильного решения, если только оно лежит на привычной плоскости и в умеренных пределах. И спать не ляжет, пока всех распоряжений из головы не выдаст. Только стал над Россией возвышаться как монумент бесценного опыта. Но я к чему веду: сейчас старик серьёзно заболел. И видно надолго, и видно в отпуск уйдёт.

— Да что ты? Чем же?

— Что-то с почками. И температура всё время. Это — злословим, что перепуг от письма Гучкова. А старик здорово подался. Но к чему я опять веду: что перед Алексеевым невозможно было и заикнуться, что вот такого и такого делового человека взять бы в Ставку. Скажет: спать поменьше надо, и сами справимся. Но теперь, если он надолго уйдёт, — неизбежно в Ставку будут брать новых людей. Ты сейчас здесь — в отпуску? или по какому делу?

Сердце стукнуло:

— Дней через пять думаю быть в полку.

— И сгниёшь за мамалыгу, — твёрдо уложил Свечин твёрдую руку на воротынцевскую. Деловито, как опасаясь дружеской благодарности: — Ты не думай, что я о тебе эти два года забывал. Но была

не та обстановка. В штаб великого князя тебе, ты понимаешь, возврата не было.

Да замечательно бы! Если хотеть участвовать в каких-то кардинальных центральных изменениях — так Ставка и лучшее место.

— Там, левей вас, сейчас две новых армии формируют до устья Дуная.

— Когда? Не было.

— Вот, с 17-го числа. И пихануть тебя туда из Девятой, ещё дальше, ещё грязней, ног не выберешь. Там уже передвигают. До каких пор тебе околачиваться по закраинам?

Это и была одна из болей: уж полком бы — ладно, но зачем на таком чёртовом краю? На Дунай? — значит, против Болгарии? Это и значит — ползти за византийской мечтой. Когда фронт стоит на Двине — обидно умирать за Константинополь.

— А пока старика не будет — я хочу попробовать быстро забрать тебя в Ставку. — И якобы уговорчиво: — Полковых командиров мы ещё наберём. Но ты — стратег, где твоё место?

Уговаривать ли его, что он стратег? С какой клички он и начинал юнкерскую жизнь! Только несколько академистов и знают по-настоящему, что́ может Воротынцев. Никому проронить нельзя, но даже пост командующего армией он не считал бы для себя чрезмерным. Ставка, Ставка! — и ему нужна, и он ей.

Однако:

— Но есть приказ брать в штабы только офицеров третьего разряда, полуинвалидов?

Как командир действующего полка Воротынцев истово ненавидел раздутость штабов в русской армии. Как полковой командир он вполне был бы доволен и переводом хотя бы на Северный фронт.

— То в штабы, а то в Ставку, — с дружеской грубостью отбросил Свечин. — Да и в штабах сидят здоровые, не выковыришь. Не дури, Егор, не брыкайся. Скажи, куда тебе вызов послать, — в два-три дня вышлю. А то — так заезжай в Ставку сейчас, на обратной дороге?

— Всё — так, Андреич, — обдумывался Воротынцев. — Это — очень хорошо...

Но если уже этого касалось — имел ли он право, благородно ли было скрыть от Свечина свой сегодняшний образ мыслей и свои смутные планы, которые хотя и замыслом ещё нельзя назвать, а всё же... Свечин должен знать, кого рекомендует. А и — назвать это всё очень трудно, это ещё всё нужно обсуждать. Но мысли мятежны, это — несогласие с тем упёрто-загипнотизированным ведением войны, как ведёт или плывёт Государь. Мысли — мятежны, на чей взгляд они — к спасенью России, но чуть сдвинь акценты — их можно назвать и государственной изменой?..

И ведь не один Воротынцев так думает: это носится в воздухе, так думают и другие, конечно.

Не Свечин?

— Всё так, Андреич. Но я говорю тебе: в разорении — дела *общегосударственные*. И поэтому требуется от нас нечто большее, чем простая служба в Ставке.

Вглядывался в башибузука.

Тот — доедал рыбу, осмотрительно к костям.

Воротынцев переклонился вперёд, опираясь о столик, собирая на большеглазого, большеухого, упрямого — весь душевный напор, с которым вылетел из Румынии. От нескольких фраз, построенных правильно или неправильно...

А над их головами:

— О-о-о! Да тут сегодня, я вижу, собираются младотурки?

Вскинулись — стоял подле них Александр Иванович Гучков!!

Тёмно-серый сюртук, чёрный галстук на стоячем крахмальном во-

ротиичке. Улыбался, и даже что-то мило-застенчивое в улыбке было. Приветливо поглядывал через пенсне.

Воротынцев радостно вскочил:

— Александр Иваныч! Вот чудо!

Свечин поднялся сдержанно.

Ответное пожатие Гучкова было слабоватое. И весь он выглядел не бодро, хотя добирал тем, что голову держал назад.

— Какое ж чудо?

— Да вот — встретили вас!

— Я у Кюба — нередко. Большее чудо, что тут — вы. И вдвоём.

— Я ведь... звонил вам, искал вас!

— Мне передавали.

Серьёзно-печальное выражение выкатистых глаз. Под глазами и в щеках — отёки. В набрякшем лице — тяжесть.

Хоть и видно, а:

— Как себя чувствуете?

Плечи покатые. Весь в линиях ненапряженных, усталых. В скруглённом бобрике, виски зачёсаны назад, в скруглённой бородке, бакенбардах — седина.

— Да как! Хворь и поросёнка не красит.

Штатская одежда, спокойная благообразность, неторопливость, даже осторожные движения. Средний интеллигентный купец, на избыток денег может быть собирающий картинную галлерею или содержащий пансион для одарённых детей. Не вполне достаточного и роста, рыхловат, комнатная фигура.

А кто же — из первых задир и дуэлянтов России? А кто же вдохновитель младотурок? кто это устроил в 3-й Думе небывалый кружок из думцев и молодых военных?

Средний образованный купеческий посетитель ресторана Кюба. А между тем — душа Москвы. Человек, которого боится царь! Неугасимо ненавидит царица! Однако и сам коронованный славой — и оттого недоступный для кары.

— Судари мои, — подсмехался он, — но вы так беседуете, с конца зала видно, что составляете заговор. И что тут у вас за обед? Если вы с досугом — у меня кабинет заказан, поднимемся? Ко мне, правда, должны придти, но я успею протелефонировать и отодвину.

Лучше и придумать было нельзя. Свечин с Воротынцевым переглянулись.

Если дома ты оставил последнюю разрубающую записку и только ждёшь отхода поезда..

Если ты и ехал в Петербург увидеть этого человека...

Гучков пригласил их к лестнице на второй этаж.

Он не то чтобы хромал, но тяжела была его стопа, раненная в бурскую войну, а теперь скрытая в высоком ботинке на особом каблуке.

40

В ресторанном кабинете — совсем как дома: вся домашняя непринуждённость, но и свобода от дам, мужской деловой разговор, и ни ушей, ни глаз посторонних. А ещё удивительней, по сравнению с надоевшей окопной едой да и с офицерской столовой в Ставке, — то, что здесь предлагалось. На удлинённом столе на шесть персон к их приходу уже расставлены были: осетрина копчёная, осетрина варёная, сёмга розовая в лоске жира, давно не виданная шустовская рябиновка — она существовала, оказывается! она не исчезла вовсе с земли. Да что там, в углу на табуретке стоял под большой раскинутой салфеткой обещающий бочонок со льдом. Весь вид был — нереальный.

Пока Гучков ходил к телефону, Свечин оценил:

— А он — не лицемер. Деньги есть, торговые связи есть, зачем притворяться?

Хотя внизу они уже вычерпали уху — а вот когда оскалился в них настоящий солдатский аппетит, который и три обеда проглотит.

Гучков, воротясь, заметил выражения друзей и добавок весёлости в них. Усмехнулся:

— Что ж, судари мои, Россия-то не обедняла, в России всё есть, только не на своих местах. Правительство с перевозками не справляется, а мы — пока справляемся. Кому чего соблаговолите? А впрочем, я человек больной и неповоротливый, давайте-ка по дружески, распоряжайтесь сами. Виктор Андреич! Георгий Михалыч!

Не забыл. А сколько уже не виделись.

Не понуждая уговаривать себя дальше, пошёл Свечин к бочонку, вынул изо льда бутылку водки да прихватил и вазочку зернистой икры.

— Что там за взрыв на «Марии»? Отчего? — сразу спросил Гучков у Свечина.

— А что, напечатали в газетах? — шевельнул бровищами Свечин.

— Да, в сегодняшних.

Друзья и не видели.

— Это случилось ещё 7 октября, — вставил Воротынцев. — Мне в дороге рассказывали.

— Ну вот, а мы, обыватели, узнаём только из газет, — поморщился Гучков, и это недовольство как нельзя лучше шло сейчас к его лицу.

А Свечин смотрел жестоко:

— Ничего не выяснено. Причина неизвестна. И броненосец потерян. И пятьсот моряков.

— Но странно совпало, — предупредил Воротынцев, — именно в те дни, когда немцы наступали на Констанцу.

— Но есть и продолжение, — черно сказал Свечин. — Только что произошёл крупный взрыв на пароходе в архангельском порту, ещё не напечатали? А там — склад взрывчатых, и могло распространиться на весь порт.

— Ого!

— Да это что ж, единая шайка работает? Что ж, мы так беспомощны? — ужаснулся Воротынцев. Вдруг представил ещё стену этих невидимых опасностей от тайных врагов, о чём на фронте не думаешь, как же ещё с этими бороться?

— С этим правительством! — фыркнул Гучков. — На что оно способно?..

Показалось Воротынцеву верно: с *этим* бороться неспособно наше правительство, да ещё заклёванное.

Сели за одной половиной стола — Гучков на торце, друзья по обе стороны, три прибора оставляя для отсроченных гостей.

Наливал Свечин Воротынцеву и себе, а хозяину — спросясь.

— Губы помочить, — печально отвечал Гучков.

— Да-а, за вашей болезнью мы следили, — с участием кивал Воротынцев. — Вся Россия следила, Александр Иваныч. На Новый год было страшно за вас — в пятьдесят четыре года?!.. Миловал Бог.

Те бюллетени о смертельной болезни в газетах утренних и вечерних дали Гучкову отведать необыкновенного тепла, принять этот голос не партий, но самой России, эту лавину нежданных писем из разных концов страны, от незнакомых людей: живи, Гучков! твоё дело нам нужно! (Потёк и такой слух, что его отравила распутинская банда.) В провале немощи испытал он свою высшую силу: в покорной подначальственной стране, не имея ни чина, ни власти, ни солдат, в облаке чёрных анонимок справа и слева («удавись добровольно, пока мы тебя не убрали»), под полицейским надзором и в болезнях, — единственный и особенный человек на всю Россию, он заставил бояться себя императорскую чету и сменных министров!

Прилив сочувствия ото всей общественной России сразу — это, может быть, и спасло его на одре. Но когда при каждой встрече каждый с жалостливыми глазами спрашивает тебя о болезни — даже и досадно это сочувствие стойко-здоровых людей, кто болезни может лишь вообразить со стороны, удивляясь им. А если болезней у тебя ещё и не одна, но несколько их, как в насмешку, накинуты на твоё неутомимое тело, будто вериги под европейским костюмом, и пока ты грустно улыбаешься в ответ на сочувствия — они, звено за звеном, сжимают и гнут тебя круче, чем ненависть династии или распря с кадетами?

— Весной ещё долечивался в Крыму, — кивнул. — Такой радости доставить Алисе не хочу.

Он зримо гордился, как он насолил императрице.

Гучков в глазах Воротынцева был редкий на Руси характер: он соединял в себе те две смелости, которые обе сразу почти никогда не даются русским: природную им военную смелость и непривычную гражданскую. (Правда, и за собой Воротынцев такое соединение знал.) Да только так и можно сдвигать наши глыбы. И — собран волею был Гучков. Но смутнее с его взглядами: и сшибался с кадетами и как-то сливался с ними. Давно не виделись — и Гучков мог сильно измениться за эти годы.

Неторопливым мягким голосом, через пенсне на Воротынцева внимательно:

— Полком? Где вы теперь?

— Да хуже не придумаешь, на самом левом фланге Девятой, — нахмурился Воротынцев. За дни поездки отвык, будто это где-то *там*, а не у нас.

Малыми бережными движеньями покачал Гучков.

— Не скажите. Есть и хуже.

— Где же?

— Кавказский. Вот еду сейчас. Приватно пишут мне: косит тиф. Медицинской помощи не достаёт. С провиантом и фуражом — плохо. — И с большим значением: — А — почему всё? Почему именно *на них* не хватает?

Не бралось в ум. Почему — особенное почему?

А Гучков так и выдавливал особенное значение, остро отблескивало пенсне:

— Не догадываетесь? *Кому* это месть?

Только тут наконец невразумительно передалась Воротынцеву мысль: Николаю Николаевичу? — царица? Неужели уж от неё так прямо зависит? И неужели такое возможно представить: из-за одного великого князя мстить всему Кавказскому фронту? всем солдатам? Нет! это был наговор, чрезмерность. Гучков в своей ненависти к императрице тоже меру терял.

Неприятно.

А Гучков ещё настаивал всем видом:

— Вот поеду, сам посмотрю. Дай Бог, чтобы преувеличивали.

И взял маринованный грибок, ел осторожно.

Кажется — довольно полон? Нет, отёчен. Всё ещё нездоров, сильно подорвался. Это нездоровье смущало: может быть и сил у него уже нет?

А положение исключительное: центр общественной жизни, с главнокомандующими фронтов запросто, с начальником штаба Верховного — запросто. Если что-то предпринимать — кому бы, как не ему! Но если болен?

— Да! — вспомнил Воротынцев. — Я Москву проезжал — там про вас упорный слух, что вы арестованы.

Гучков улыбнулся, как будто довольный:

— За письмо Алексееву? А вы читали?

Воротынцев подтвердил, однако уже и без восторга. А Свечин — только кивнул безволосым булыжником головы. Он распоряжался, ещё к бочонку вставал, пил и рябиновку, ел много, сильной хваткой.

Да и Воротынцев. Распускались фронтовые кости. Медлительная тающая солоность сёмги. Как хорошо. А через пяток дней — снова шлёпать по мокрым окопам, толкать людей — опять на безнадёжность. *Думает* что-нибудь Гучков? Не думает?..

А тот сплёл кисти на подъёме заметного-таки животика, пожаловался:

— Вот такая теперь жизнь. Напишешь официальному лицу письмо. Ну, натурально, покажешь одному-двум знакомым, имею я право? Например Родзянке — уж кто престолу преданней? он из преданности хоть и Царское Село сожжёт, если нужно для охраны царской чести. А вот — разгласилось, запорхало, сперва по Думе, там и по России, читают и в Самаре, и в Нижнем. А уж в Москве и в Питере — только что на стенах не развешивают. — Улыбался слабо-лукаво, но от печали всего лица его улыбка не радовала. — Вот и вашу тогда тираду в Ставке — вы бы в своё время записали, показали бы трём друзьям...

Воротынцева и поскребла манера, как Гучков был доволен этой разгласкою, но и приятно было, что вспомнил о его подвиге. Однако никогда б не пришло ему в голову такое, это у них — газетная ухватка.

— Да какое б я имел право? Военная тайна.

— Вот тайной нас и душат, — с оттенком боли, может быть и телесной, вздыхал Гучков. — Государственной тайной. А между тем тогда — ещё не поздно было всё спасти. Ещё верили все — во всё, и Россия была готова всё одним плечом поднять.

А теперь — неужели поздно?.. Коронованный народным доверием должен знать время каждому действию и каждому слову, когда его произнести на всю Россию.

— А хорошо вы их тогда почистили за всех нас. Не жалеете?

— Нисколько. Никогда, — быстрым глазом метнул Воротынцев.

Правда не жалел. Правда.

Свечин держал губы косовато.

Тут вошёл метрдотель уточнить у Гучкова о винах: подавать ли Шато Ляфит к паштету из гусиной печени, Пишон Лонгвиль к баранине по-нивернуазски? Это явно относилось уже к следующему обеду, не их, уж слишком причудливо для фронтового вкуса, то был обед другого класса.

Гучков произносил фразы по смыслу энергичные, а тоном усталым:

— Вот нас тайна и довела, что оставались без снарядов. Я в Четырнадцатом предупреждал — в Думе верить не хотели. Так что справедливо хочет Россия гласности наконец.

Свечин кинул:

— Уж если в России вам гласности мало — не знаю, какую вам гласность.

— А что же? Достаточно? — изумился Гучков.

— А что же — мало? — прокатал и Свечин глазищами, каким никогда не понадобится очков, и пенсне бы посадить — смехота. — Газеты распущены, как ни в какой Франции и ни в какой Англии во время войны. И вполне безответственно. Дутые известия, никем не проверенные, и всегда подрывные. Врут, что мы бесконечно отстали и разоружены, даже не замечают нашего промышленного чуда. На правительство — сплошная брань. Какой номер ни развернёшь — хуже нет, как в нашей стране, и глупее нет наших министров, и всё проиграно, и нет спасенья иного, как передать власть кадетам и Земгору. Это не свобода слова, а просто понос. И всю Россию будоражат, и армию. И все газеты — левые.

Это он верно порубывал, но зачем с таким раздражением к Александру Иванычу? Кажется, Свечина что-то раздражило ещё с самого гучковского прихода — то ли шутка о заговоре, ещё в нижнем зале, то

ли о младотурках, упоминания которых Свечин не любил. Порубывал, не сдерживаясь:

— С вашими младшими братьями кадетами очень гордитесь, как всё колеблете и раскачиваете. Смотрите, на голову бы не свалилось.

Гучков не обиделся, но развёл пальцами, ища у Воротынцева справедливости. Уж если *ему* братья — кадеты, с кем он одиннадцать лет непрерывно сражается... Он знал о предмете слишком многотрудно, чтобы переговаривать плоско. Не по рангу ему было оправдываться перед этими офицерами и походило бы на злословие сказать о Милюкове, что у того нет мужества убеждений и прямодушия действий, что он всё провалит, к чему прикоснётся. Или о 4-й Думе, что она не способна ни сотрудничать с правительством, как 3-я, ни как следует поссориться с ним: поглянется, будто он от обиды, что самого не выбрали. (Да не всегда и сам уследишь за собой: прошлой осенью может быть именно то, что его не выбрали от московского общества даже и в предполагаемую делегацию к царю, что он так пошатнулся в своей же Москве, — может быть и толкнуло его на мятежные шаги и на конспирацию.) Год назад, да чуть ли не сегодня же, 25 октября, предлагал Гучков этим младшим братьям объединиться и вместе идти на последний разрыв с властью, — где там! Их желание стать правительством превышает их готовность рисковать собой. Прошушукались год по частным квартирам, чтобы только сохранить Прогрессивный блок.

Вот какой жест был у Гучкова: он козырьком ладони пригораживал лоб, как бы от лишнего света, от верхней лампы, то ли сосредоточиваясь, — упирался локтем в стол и так сидел.

Но в этой позе энергичный Гучков выглядел потеряннее тех кадетов. Оттого ли, что в своей неукладистой деятельности уже столько раз расшибался о стену?

А Свечин раскраснелся со всей крепостью дюжего подвыпившего человека и не проявлял жалости:

— И они и вы Россию раскачиваете, неизвестно кто больше. Все — патриоты, все — за победу, и безопасно для себя. И эти *письма* — очень не к добру бывают.

Вдвоём со Свечиным уже налаживался разговор! — так Гучков перебил. Теперь втроём могло начаться самое интересное! — так Свечин выбрыкивал. Однако, его резкостью ещё приосветилось Воротынцеву в *письме*: сходство с кадетскими газетами, да. Верно, как бы соревнование, кто крикнет громче.

Он замялся, смутился, не удержал Свечина от его тона. А ещё оттого ли, что они пили, а Гучков нет, — создалась разница температур и громкостей. И без надобности громко Свечин:

— Так и Сухомлинов. Ну конечно он дурак, и мотылёк, и не место ему в военных министрах, но вы уж настолько ничего не жалели, чтоб его сшибить, вы в бою всё забываете, только б ударить крепче.

— Это есть, — слабо улыбнулся Гучков.

— И саму Россию! И при чём этот Мясоедов, никакой не шпион? Чтобы только сбить министра — во время войны играть шпионажем вокруг военного министерства? Как это можно?

— Он — доказанный шпион, — построжал, похолодел Гучков.

Воротынцев перехватил, что Свечин распаляется тут и спорить. Сам он — толком о мясоедовском деле не знал, в газетах читал глухо, и даже интересно бы узнать, — но только не дать сейчас разломаться всему разговору!

— Важней всего, — остановил он Свечина, — не кого Гучков разоблачает, а что́ Гучков реально сделал для армии.

Но Свечин, всегда скептически выдержанный, уж если распалится, то как никто, не обуздаешь:

— Да и с военно-промышленными комитетами меньше бы вы цацкались, Александр Иванович. Всё конвенты завариваете.

Гучков отнял козырёк ладони задетым жестом:

— А кто же «промышленное чудо» вам делает, если не промышленные комитеты? Своим участием в них — я горжусь.

— А почему за всё дерёте в двадорога? Почему казённая пушка стоит 7 тысяч, а ваша 12? Всей общественностью проталкиваете через министерство высокие цены. И строите заводы, где и не нужны, только бы казённые погубить. А железнодорожными планами 1922 года — зачем ваше дело заниматься? А социал-демократы зачем там сидят при вас? Неужели о победе радеют? А не вынюхивают, как всё взорвать?

— Рабочая группа? В том и замысел, что лучше пусть они около меня сидят помощниками и консультантами, чем по улицам с красными флагами. Что же делать, если власть... Я знаю эту власть: правительство и само ни к чему не способно, и не желает протянутой ему помощи. При этой власти, если не вмешаться нам, — победа будет невозможна.

Что он хотел сказать — «не вмешаться»? Или — только о промышленном комитете? Воротынцев зорко следил, хотел проникнуть, ничего не пропустить. Но опять его скребануло — а! цель — победа! Но «всё для победы» ещё не значит — для России. А если по гучковскому же письму война так безнадёжно организована — как же сметь её продолжать?

— Да вы сядьте на место правительства — ещё взвоете! — Уже и стул был Свечину неподвижен, он закачался на задних ножках. — Что б за правительство, грош бы ему цена, если б оно вам во всём уступало? — хоть там самые реакционные министры сиди, хоть самые либеральные. Если министры — то и должны управлять они, а не парламентские ораторы и не промышленные комитеты. А у вас каждый самовольный съезд — только чтоб давить на правительство и давай четырёххвостку! Ниспровергать власть — это у вас выполнение «гражданского долга перед Родиной».

Как круглый сильный камень свалится, скатится под самые ноги и перешибает путь, так и Свечин сегодня перешибал всю желанную, задуманную встречу с Гучковым. И осадить его было трудно, потому что разогнался, пьяней, и потому что, чёрт, во многом прав. Хотя и: правительство действительно бездарно, вот в чём ужас.

Но, как бы не замечая его резкости, Гучков отвечал выдержанно:

— Однако и организованной общественности, если она состоит на службе родине, естественно требовать себе и политических прав.

Свечин с разгорячённой мрачностью качался на задних ножках стула:

— Да просто почувствовали, что власть без опоры, — и все лезут захватывать. Ослабла власть — значит и хватай за горло. Во время войны — немедленно менять им государственный строй, во как! С ума посходили!

Свечин отвечал Гучкову — а так получалось, что — Воротынцеву? Чего Воротынцев ещё не высказал, ещё не предположил вслух — а Свечин уже отвечал?

Да не строй менять, а... А что именно менять? При неизменном, допустим, монархе — а правительство новое, — что ж, из кадетов? Не для них же стараться. Вот это главное бы тут обсуждать, а разговор сбивался. Так удачно исправленные обстоятельства встречи с Гучковым нельзя было дать упустить, нельзя разойтись впустую! Но положение Гучкова было несравненно, и это ему решать, заговаривать или не заговаривать *о таком*.

Гучков укрепил пенсне при выкатистых глазах:

— Но выиграть войну с этим бездарным правительством — действительно невозможно!

Ну, конечно, он *думал*! У такого человека не могло не зреть в голове что-то переворотное!

— Чем же выиграть? — Свечин с раскачки пристукнул передними

ножками стула о пол, как зубами, — тем, что искры по соломенным крышам бросать?

Тут внесли бульон и блюдо горячих пирожков. Сразу запахи — ах! Кажется, только что по ухе съели офицеры, но теперь и по чашке огненного бульона охотно наливали из судка. Да под бульон хватанули ещё отвычной ледовой водки. Хор-р-рошо!

Это всё — примиряло. Свечин перестал качаться.

Гучков тоже, с удовольствием нездорового, потягивал горячий бульон.

— Нет, конечно, — говорил он, когда лакей вышел. — Я именно против всякого поджога. Как раз этого и не понимают кадеты: что революционную мысль нельзя швырять в массу.

Вот это Воротынцеву очень нравилось: Гучков не ждёт сотрясений пассивно, как кадеты, но хочет активно их предотвратить. Вот на это он и надеялся с Гучковым.

Свечин — примирительней:

— Чего-то они, Александр Иваныч, не понимают, а что-то лучше вас. Я по себе скажу, что иногда мы сами не отдаём себе отчёта, а проводим чужие мысли. Просто незаметно находимся в их влиянии. Вам кажется — вы развиваете независимую смелую там программу, — а на самом деле примитивно идёте по какому-нибудь масонскому замыслу. Вы сами, честно говоря, хотя всё равно не скажете, — не масон?

Шутил — а и не шутил, досматривал.

Но вид у Гучкова был откровенный, лоб ясный. Тоже усмехнулся:

— Честно говоря, мне лично не предлагали, или когда-то несерьёзно. Хотя чувствую, что кто-то где-то зачем-то вступает. Но я б никогда не вступил. Я — монархист, и уже поэтому не мог бы быть масоном. Масонство — это моральная нечистота: смотреть людям в глаза и обманывать их. Немужественная игра. Хочешь действовать — действуй прямо, открыто, а зачем по закоулкам, в масках? Мне кажется, историю можно делать и объяснить без масонских тайн. Добиться сдвигов в ней — прямыми, ясными действиями.

Прекрасно сказано! Воротынцеву очень понравилось. А если уж — Гучкову не предлагали, то все эти неопределённо-смутно-страшные масоны сразу теряли в объёме, сжимались в уголок.

А у Свечина была манера, выпив и в кругу своих, становиться особенно перечным и жёстким, высказываться гораздо дерзей, чем он разрешал себе на службе:

— Всё равно, Александр Иваныч, не радуйтесь. Вы и безо всякого вступления, совсем невольно и бессознательно можете отстаивать не масонскую линию, так еврейскую. Вам кажется, что вы самостоятельны, а вы...

— Я-а-а?

— Да-а-а! У евреев такая хватка есть: ни одного важного узла действий, ни одной важной личности не упустят, чтобы не пытаться её направить. Уж чего там Распутин, а вошёл во влияние — и его обсели. А уж вас!.. Ну, проверьте, в вашем отношении к правительству какая с ними разница? А им просто — наплевать на русскую судьбу.

Гучков поставил твёрдо локти на стол.

— Как раз тут одна из границ между кадетами и нами.

— Да какая же? — задирал Свечин.

— А вот. Для кадетов еврейский вопрос — почти первый политический вопрос. Он и партийную программу у них открывает. Кадетов послушать, так главная цель войны — это еврейское равноправие, а не существование самой России, чтоб устояла она вообще. Тут все кадеты как в одной капле. В трёх Думах они не давали провести крестьянского равноправия без еврейского, так и утопили! Кадеты в голову не вберут, что эти два равноправия для России всё-таки не равно спешны. Не равно задолжены. А мы...

— А вы с ними не меньше но́ситесь! — большой ладонью отмахнулся Свечин. — Все адвокаты — евреи. В Думе в журналистских ложах одни евреи сидят. Если они так угнетены, как же им доверено выражать и внедрять общественное мнение России? Несколько хилых правых газет издаются на *тёмные* деньги, а вся либеральная пресса — на *светлые* деньги? Откуда эти деньги? Да еврейские! Вот — и направляют газеты. Посмотрите, кто издаёт. Черта оседлости второй год не существует, все города и столицы ими переполнены. С этого года и университеты есть — где шестьдесят процентов евреев, где восемьдесят. И торговлю им распахнули, вся торговля через них. Завод князя Путятина! — кстати, плохие шрапнели, — а это выпускает Рабинович, заплатил Путятину за имя. И сколько таких заводов у вашего промышленного комитета? А еврейские сахарозаводчики гонят русский сахар тайком в Германию! Где к чёрту загнаны? Они — пружина напряжённая. Она вот-вот отдаст — и удар будет страшен!

Гучков удерживал невозбуждённый тон, поднял останавливающий палец:

— Пружина отдаёт, если на неё слишком жать. А не надо жать.

— Вот-вот, — опять покачивался на стуле, опять качался на своём упрямый, насмешливый, невозможный Свечин. — Вы их и приглаживаете. Вот вы с ними вместе громко разносите и правительство и Государя — а о *них* вы посмеете вслух промолвить хоть осьмушку того? Да никогда! А почему? Вот это и называется — страх иудейский! Загнаны! Они нам ещё на голову сядут! Этот избранный народ на чью палубу всходил — тот корабль бортами черпал. Так и Россию погубят.

— Нет!! Нет! — вмешался тут Воротынцев. — Так не поворачивай. Если мы теряем свой путь и катимся не туда — то сами и виноваты. — Досадно, вся редкая встреча поворачивалась вхолостую и кончится ничем. — Я много лет замечаю: еврейский вопрос — это такой колючий растопырчатый вопрос, что его и миновать ни на какой дорожке нельзя, и решить нельзя, и никто не остаётся равнодушным. А между тем...

Гучков снял пенсне и протирал его, как бы терпеливо именно его рассматривая. Без пенсне его лицо было и открытее в болезни и печали, но и глубже:

— Тонкая особенность еврейского вопроса, что невольно поддаёшься и не можешь не признать, что он — самый важный, самый острый, самый первый и характерный. Самый определяющий для суждения о людях, об их политическом и даже нравственном лице. И что только после решения еврейского вопроса дальше легко разрешатся и все государственные, — улыбнулся Гучков. — Так вот, кадеты поддались, и всё это приняли. Но и вы, Виктор Андреич, поддаётесь с другой стороны.

Нельзя уже было проще их оторвать от спора, как подкатить скорей к простому решению. Подхватил Воротынцев, быстрей проговаривая:

— По еврейскому вопросу все спешат занять только одну из двух самых крайних позиций. Или: евреи — это невинно страдающая масса благородных характеров, которых надо как одно целое непременно любить, и даже отдельных недопустимо порицать, ибо упрёк разложится на всех. Или: это — сплошь тёмные злобные заговорщики, которых как единое целое можно только ненавидеть, и подозрительно, когда любят хоть отдельных из них. И всякая попытка ввести оговорку, не сплошь нежно любить или не сплошь страстно ненавидеть, отталкивается с негодованием каждой из сторон. Но в тысячах вопросов бывает плодотворна лишь средняя точка зрения. И неужели правда, господа, тут невозможно устоять посередине? Вот я считаю, что я стою прочно посередине. Я — решительно никогда не соглашусь отдать Россию евреям под снисходительное руководство, даже только интеллектуальное. Но я никакого зла против них не имею и никакого желания их притеснять.

— Значит — послабить? — громогласил Свечин с непокидающей

жёсткостью. — Так сразу они на голову и сядут! Вот в этом и секрет, понимаешь? — они не могут и никогда не согласятся по-равному. Как только им послабнешь — сразу на голову!

— Мне кажется, — сосредоточился Гучков, разглядывая своё пенсне как самую большую загадку, — и я тоже занимаю среднюю позицию. Я... и мои некоторые единомышленники... мы понимаем вот как. Евреи — нам посланы. Не во всякой стране их шесть миллионов, а у нас вот есть. Зачем-то надо было, чтобы жребий русский и еврейский переплелись. Расплетутся ли когда или нет — не знаю. Чтобы злорадно назвать, как Герценштейн, пожары усадеб — «иллюминациями», надо быть, конечно, чужой душой. То, что для нас боль, тёмные мужики не понимают, что делают, Россия жжёт и громит сама себя, — а для депутата русского парламента... Ну, что о покойном... Затем, я не стану утверждать, что евреи в целом нас любят. С другой стороны признаюсь, что и я их, в общем, больше — не люблю. Но: они — нам посланы. И поскольку государство — наше, мы должны это переплетение решить приемлемо для всех. В Европе? — с ними обращались жёстче, чем у нас. Черта оседлости? — когда была, нисколько им не мешала засилить торговлю, промышленность и банки. И наша страна во время войны зависит — от международных еврейских денег. И в периодической печати они всесильны, да. И художественная, и театральная критика — в их руках. И невозможно пустить их в офицерство, это опасно для нашего духа. Впрочем, они туда и не стремятся. И нельзя дать им больших земельных владений. И тем не менее это не значит, что мы должны их притеснять.

— Вы и не заметите, — горели чёрные глаза Свечина по обе стороны крупного сильного носа, — как всё уступите. Вот так, как в промышленных комитетах сбились от помощи фронту на расшатывание власти. Так вы — и бросаете искры по крышам, Александр Иваныч.

Как человек, не глухой к поиску своих ошибок, Гучков не спешил запальчиво возражать, а в одной руке всё так же держа витиеватый защем неразгаданного пенсне, другой ладонью опять перегородил лоб, может быть не от света, а от громкого собеседника. И как бы ещё проверял сам с собой:

— Но не можем мы отказаться от освободительного движения из-за того, что и евреям оно нравится, и они к нему примкнули...

И Воротынцев:

— Ты тоже как кадет, только наоборот. Улупился в крайность: евреи, больше ничего не видишь. Об этом я и в Буковине мог собеседников набрать. Да я тебе несколько вопросов назову, и все важней еврейского. Ехал я две тысячи вёрст, встретил вас обоих так неожиданно, чтобы...

Чтобы?

Гучков освободил от козырька, приподнял на Воротынцева немолодые, неоживлённые карие глаза с выкатом, пожалуй тоже нездоровым, но самый взгляд — взгляд бойца.

Отчего он так сразу и внимательно посмотрел? Он неспроста посмотрел.

...Чтобы?..

Да такие, как Воротынцев, — неужели ж ему не нужны?

Хотя закралось теперь: а под то — понимает Гучков то или не то?..

...Чтобы?

Да господа, да неужели же мы, такие решительные, умные, энергичные люди, — и не сумеем ничего придумать? не сможем спасти дела?..

Внесли большим куском ростбиф, обложенный зеленью.

Гучков не стал его есть. А приятелям — отрезали, и они стали трудиться.

Пока лакей был — помолчали, но и когда вышел — что-то разговор

не возобновлялся. Свечин вдруг замолчал так же круто и бесповоротно, как перед тем говорил. Ел с удовольствием. Гучков очевидно берёг аппетит на следующий обед, или вообще мало ел. Чуть-чуть пригубливал красное вино — и тоже молчал. Воротынцев — не мог говорить прямо, но надо было поддержать в том направлении:

— А интересно, Александр Иваныч: Алексеев — ответил вам на ваше письмо?

Гучков задумчиво постукивал снятым пенсне по пальцу:

— Нет. Но. За него ответил Штюрмер.

— Как так?

— От имени Верховного запретил мне въезд в Действующую армию. Даже к санитарным поездам. Ну, тем более, конечно, в Ставку. И в штабы фронтов. Это они хорошо рассчитали удар. — Щурился. — Без армии я — что?

Не удержался Свечин, и тут поперёк:

— А вы бы на их месте как? Были бы вы глава государства, и вот некий частный деятель пишет начальнику штаба ваших вооружённых сил, что ваша дрянная слякотная жалкая власть гниёт на корню, — и вы б его пускали дальше армию разлагать? Они ж вот вам на Кавказский не препятствуют...

Гучков не спешил возразить. Без пенсне лицо его было безоружное. Складывал усмешку или жаловался:

— Предупредил Штюрмер и о возможности высылки из столицы. А уж следит за мной департамент полиции — наверно, ни за какими бомбистами никогда... По телефону и в письмах блюду осторожность в именах. С друзьями, с братьями кое-кого зовём кличками. Не удивлюсь, Георгий Михалыч, что и вы уже на заметке, если несколько раз телефонировали. На всех посетителей дома ведётся реестр. Вот сейчас, не сомневаюсь, за моим паккардом гнали филёры на лихаче и теперь у подъезда дежурят.

— Ну, Алексееву тоже досталось, не думайте, — упрямился Свечин. — И с Государем у него, конечно, было объяснение.

— Как он может переписываться с таким мерзавцем, скотиной, коварным пауком? — грустно через силу улыбался Гучков.

— Наверно. Примерно. И Алексеев, надо думать, отрёкся от вас.

Гучков поднял брови. Опустил. Узнавая. Что ж, политическая борьба — она такая и есть.

— И заболел во многом от этого.

— Ну не совсем так, ты говорил!

— Про болезнь я слышал, — кивал Гучков.

— И теперь, наверно, уйдёт в длительный отпуск, лечиться.

— В отпуск? — насторожился Гучков. И сразу: — И кто же вместо него? — С нескрываемым значением, неспроста.

Да, в самом деле: кто же? Ещё бы не важно.

Свечин любезно:

— Открою, что слышал, только конфиденциально. Могли бы поставить, конечно, любого остолопа, но кандидатуры, по слухам, обсуждаются такие: Головин или Рузский.

Головина?.. Неужели подымут? Нашего?..

Гучков насадил пенсне. Оно заблестело повеселей:

— Головин — это бы замечательно.

Для Воротынцева каждое слово Гучкова шло по другому разбору: замечательно? А — для чего? В каком смысле?

— Корпусами смело будет двигать, — предсказал. — А сам будет двигаться очень осмотрительно. Он сильно изменился, господа. Он там у нас сейчас, генкварт Девятой. Он всегда должен действовать с дозволения начальства, иначе его способности как бы подавлены.

— И надолго это? — спрашивал Гучков очень заинтересованно. — А вы, Георгий Михалыч, в этом случае как? Не вернётесь в Ставку?

Догадался... Воротынцев энергично потёр щётку бороды, выражая глазами больше, чем словами:

— Во-первых, захочет ли Головин? И — он ли ещё будет? Во-вторых, окажется потом недоволен Алексеев. А в-третьих — нужен ли я там, Александр Иваныч? Там ли я нужен? Как это правильно понять?

И смотрел на Гучкова с ожиданием и надеждой.

— Рузский? — перебирал тот как своих подчинённых. — Вяловат. И слишком эгоист. А — кто ещё может быть?

Покинуло Гучкова бездеятельно-грустное, гражданско-домашнее выражение. Собрался он, поживел. Сосредоточился.

— Да что ж вы не курите, господа? Вероятно ведь курить хотите.

А у них обоих давно пальцы чесались, но щадили Гучкова. Теперь Свечин дотянулся форточку открыть. Задымили, Свечин трубку. Развалились.

Гучков тщательно прошёл тугой крахмальной салфеткой по губам, вокруг губ, под усами, по верху бороды. Отложил.

Поднялся. С рукой за бортом сюртука походил, едва заметно прихрамывая, по небольшому пространству, несколько шагов тут было. Он на глазах твердел и даже молодел.

Снова сел. Руки собрал в замок перед собой.

— Господа. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание во всех случаях? Возьму с вас слово чести?

Да, конечно, разумеется.

И — чуть задорно голову назад, знаменитый дуэлянт. Седина у него только чуть прорисовалась — по переду бобрика и по краям бороды.

— Господа, я не вижу препятствий поделиться с вами соображениями, что́ ещё не упущено... совершить.

Так! Дождался Воротынцев часа своего! Не опоздал. Был здесь.

Гучков больше на него и смотрел.

С сознанием своей славы и власти в этой стране.

И с огоньком того риска, той вечной потребности в риске, что вела его черезо всю жизнь.

— Я хотел бы обсудить с вами: что должны делать патриоты, если видят, как в тяжкий час родину направляет режим фаворитов и шутов? Что должны делать смелые люди с положением, влиянием и оружием? Люди, которым всё дано, но с которых и спросится историей?

41'

(АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ)

Фёдор Гучков, дед Александра, был крепостным дворовым человеком малоярославецкой помещицы. В конце позапрошлого века, тринадцати лет, он попал в Москву и был отдан учеником в суконную лавку за 20 копеек в месяц (гривенник помещику, гривенник ему). Женился на крепостной, выкупил себя и семью, устроил в Преображенском шерстяную фабрику с английскими станками. В семье считалось, что мысль поджигать Москву с подходом Наполеона принадлежала ему. Всё сгорело — но он всё возобновил и расширил. Однако ещё при жизни оставил фабрику и торговое дело сыновьям, а сам был сослан в Петрозаводск за упрямое старообрядчество. Сын его Иван, полюбив замужнюю француженку Корали Вагез, переодевался кучером, чтобы проникнуть в её квартиру на кухню, — и так увлёк её, увёз от мужа и женился, всем этим порывая со старообрядством. От того брака было четверо сыновей, среди них и Александр. Хотя и этот не вовсе выбился из плоти московского купечества, состоял членом банковских и акционерных правлений и директоратов (впрочем, не был богат, наследство уступил брату Фёдору, и отец не считал его хозяином), — жизнь Александра сложилась необыкновенно для его рода и окружения, лишний раз убеждая, что наш характер и есть наша судьба.

Уже гимназистом он испытал немалые общественные страсти. В семье его, как

бывшей крепостной, было поклонение Александру II — и после выстрела Засулич Саша Гучков в школе заступился за правительство: стрелявшая подняла руку на доверенное лицо Государя! Соученики побили его за это. Но вскоре же понял он и сам неотвратимую прелесть террора: от позора Берлинского конгресса, английского флота в Босфоре, Саша решил своей рукой убить Дизраэли за антирусскую политику, во имя чести России. Купил револьвер, учился стрелять, готовил деньги на побег в Англию — и восторгался счастьем пережить казнь за Россию. Но доверился брату, брат выдал отцу — и всё разрушилось. (Через тридцать лет главою нашей думской делегации в Лондоне остановился перед памятником лорду Биконсфилду: «А ведь ты мог погибнуть от моей руки!»)

Окончив московскую гимназию с золотой медалью, затем и московский университет «кандидатом» (то есть тоже с отличием), он ещё пять лет ездил в Германию доканчивать там образование, слушать семинарии философские и экономические, и притом написал несколько работ — об общественном землевладении, о страховании, о хозяйственной жизни древнего Новгорода, и доискивался (как бессознательно предчувствуем мы сами себя): участвовала ли Екатерина в государственном заговоре Мировича? В 23 года Гучков сдал в гренадерском полку экзамен на прапорщика, и это не было простым отбытием повинности университетским человеком, как и в 26 лет не случайно было избрание почётным мировым судьёй Москвы, в 31 — членом московской городской управы: гражданская и военная деятельность пересеклись и переплелись на жизни Гучкова — парламентского оратора, государственного человека, армейского застойника, солдата, отличного стрелка.

Можно понять, что очень рано и с болью он осознал распространённое русское интеллигентское свойство — не шибко любить *делать дело*, больше о нём разговаривать, спорить, а если уж и взяться, так не доделывать до конца, прощать себе и другим оставшиеся вершки. Может быть от крепкой крестьянско-купеческой натуры ощутил в себе Александр Гучков способность и волю: делать и доделывать. И в то время, как бывший его университетский товарищ Павел Милюков всё больше сладости находил в диспутах и лекциях, Гучкова из библиотек и аудиторий срывало к студенческим дуэлям в Германии, к бою, и к делу. Никогда не свидетель, везде — участник, и даже сорви-голова.

Услышав о голоде в России, покидал он берлинский университет — и кидался в нижегородскую глушь: стать волостным писарем и кормить деревню. Резали турки армян — Гучков кидался туда. Опасна охранная стража на сооружаемой Манчжурской железной дороге — Гучков, покинув муниципальную деятельность в Москве, уже там, служит офицером и даже ищет боевых столкновений. Отсюда *близко* Тибет — и он странствует к заветным местам его. Его мучит поиск грандиозного. Началась далёкая романтическая бурская война, кто-то волнуется над газетными депешами, кто-то поёт «Трансвааль в огне» — Александр Гучков с братом Фёдором уже добровольцами среди буров, и даже храбрые буры удивляются его самообладанию в бою: под картечью он остаётся распутывать постромки зарядного ящика, высвобождая мулов из гибели. За все эти годы не раз приходится ему писать прощальные письма родителям на случай своей неизбежной смерти. В бурской войне едва не потеряна нога, осталась хромота на всю жизнь; с 26 лет уже мучает его грудная жаба. Но вспыхивает восстание македонских четников против турок — и вот уже Гучков едет добровольцем туда. Лишь на 41-м году беспокойный этот человек женится. 42 года ему — и он уходит на японскую войну, хотя не с винтовкой, а уполномоченным Красного Креста и московской управы (впрочем, не минует его и короткий японский плен).

И, может, ещё и на том не унялся бы он отзываться на дальние мировые события, если бы самые главные события (тогда ещё никто не прозревал, что — всемирные) не заклокотали бы в самом сердце России. И всё, что делал Гучков до сих пор, загорался и кидался пособлять, — оказалось лишь брожением молодым, лишь подготовкою мужа к событиям государственным. Теперь-то пришлось попробовать, что́ сдюжит он для России.

Уже довольно было имя его известно, и по Москве заметный был он человек. Воротясь из Манчжурии весною 1905, узнал он, что от московской городской думы избран на майское земское совещание. Там уже всё более выдвигались не собственно-земцы: Петрункевич, Милюков, Родичев, братья Долгоруковы. Совещание поразило приезжего накалом своей революционности. Хотя и избиралась депутация к царю

посоветовать ему конституцию, но многие жаждали, чтоб отказано было в приёме, и можно было бы неогляднее разворачивать революцию. Умеренная шиповская группа, и в ней Гучков, осталась в порицаемом меньшинстве. Но Гучкову, не избранному в депутацию, как раз во время съезда пришло личное приглашение в Петергоф к Государю (наслышанному о деятельности Гучкова в Красном Кресте и о спорах с Милюковым). Был принят, беседовал целый вечер, при встрече милостиво присутствовала государыня (далеко не предвидя в этом купчике своего будущего лютого врага). Это было сразу после Цусимы и ещё до приёма земской депутации. Гучков, как он понимал себя и самодержца, дал советы мужественного бывалого человека — человеку засидевшемуся, отгороженному от жизни и робкому: не дать внутренней слабости одолеть Россию, ни в коем случае не идти на перемирие с Японией, где игра внешних держав решит русскую судьбу; но, уж ввязавшись, продолжать стоять против Японии, а в России быстро, без сложных выборов, собрать Земский Собор — от дворянства, крестьянства и горожан, явиться туда самому и выступить смело, что в прошлом было много сделано ошибок, они не повторятся, но сейчас не время реформ, а время — окончить эту войну, при единстве страны не может Россия проиграть Японии — и не проиграет! В Земском Соборе будет почерпнуто недостающих сил, это передастся и армии, она воспрянет духом, передастся и Японии, все расчёты которой — на общественный развал в России. И несколько раз Государь в раздумьи повторял: «Да, вы правы. Вы совершенно правы.» (И в тех же днях советчику противоположному — что Земский Собор только усилит революционное движение, продолжение войны грозит России гибелью, и надо немедленно заключать мир во что бы то ни стало — Государь согласно повторял: «Вы совершенно правы. Именно так надо поступить.»)

Обласканный Гучков в то лето был позван и на узкое петергофское совещание по выработке проекта Думы. Все там предлагали выборы сложно-сословные, чтоб не упустить руководства, только Шипов и Гучков — общенациональные (но — ступенчатые, по степени достоверной известности кандидатов избирателям, отнюдь не прямые).

Если открыть Верховной власти разумный путь — отчего б она не пошла этим путём? Нет! Безмысло и бездарно ту войну начав — бездарно и невыгодно спешили только вытянуть ноги из проклятой Азии. Внутри России вместо смелых шагов всё лето перебивались малыми, трусливыми и опозданными, а когда помийлось, что вода уже под горло — выбросили сумбурный Манифест 17 октября. Манифест был вырван не потому, что у власти не было физической силы (она — была, и проявлена через два месяца при подавлении московского вооружённого восстания), — но коснеющая царская воля испытывала перерывы уверенности, и в такие перерывы от неё бралось всё, что угодно.

Осудили Манифест правые, осудили и левые. Настроение общества было: царь задрожал? уступает? — так вырвать большее, а взятое — ничто! (Когда в ноябре Гучков предложил земскому съезду осудить насилия и убийства как средства политической борьбы — «конституционное» большинство съезда отказалось принять такую фразу!) Кадеты отказались войти и в «полуобщественный» кабинет Витте.

Отказались и приглашённые к тому Шипов, Гучков, орловский предводитель Стахович, князь Евгений Трубецкой, ибо сочли, что зовут их для показа, перемешать со старыми администраторами, но не реально обновить политику. Шипов же настаивал, что они — меньшинство, а большинство — левые, и именно их надо звать, чтобы общество поддерживало правительство.

Однако за совместные поездки из Москвы в Петербург и обратно, то на консультации о законосовещательной Думе, то на переговоры о вхождении в кабинет, Шипов, Гучков и Стахович в долгих беседах обнаружили и утвердили основании новой партии.

Вослед Манифесту сразу заплодилось много партий, тем мельче, чем их больше. Шиповская группа этой проблемою партийной группировки была застигнута врасплох: она вообще ведь была против всякой политической борьбы. Теперь и конституционное устройство и партии приходилось принимать как неизбежное зло, всё равно уже введенное волею монарха. Не оставалось другого пути, как принять и свою долю тяготы в новом устройстве. С другой стороны, единственное практическое расхождение с земским большинством — конституция, первенство правового начала, всё равно уже было введено, так что практически Шипову ничто не мешало бы вступить

и в партию кадетов. Но разделяла, как он говорил, чуждость кадетов основам народного русского духа.

А Гучков и был за конституционную монархию, именно такую, как обещал Манифест, с ответственностью правительства перед монархом, а не партиями. Он не одобрял наступательного настроения левых земцев, кадетской требовательности парламентаризма для парламентаризма. Для него Манифест был хорош как он есть, и только опасался Гучков, как бы власть не стала выкрадывать его по частям назад.

И согласились Шипов и Гучков, что пришло время политически объединить всех тех, кто хочет осуществить Манифест — утвердить новый государственный порядок, но при сохранении авторитета монарха; кто одинаково отвергает и застой и революционные потрясения, у кого есть это ощущение исторической глуби, вековой устойчивости, которую надо сохранить в её новом развитии. А для того создать не партию, но *союз* партий — чтоб избиратели не группировались мелко, разномыслием по частным вопросам лишь усиляя партийную рознь, но — единомысля в основном. Первый такой союз — не против правительства, но в поддержку его.

В начале ноября 1905 шестнадцать основателей объявили о «Союзе 17 октября», приглашавшем в себя мелкие партии с сохранением их программ. *Не* могли войти только: сторонники неограниченного самодержавия и сторонники демократической республики. Средь главных положений программы нового Союза были: все гражданские права и неприкосновенности; уравнение крестьян в правах с другими сословиями; признание государственных и удельных земель фондом земельной нужды; допустимость и принудительность отчуждения частных земель, но при справедливом вознаграждении и в исключительных случаях; для рабочих — страхование, ограничение рабочего дня и даже свобода стачек, но при условии, чтобы не страдала жизнь прочего населения и государственные интересы, прогрессивный прямой налог (чем богаче, тем больше платит) и понижение косвенных.

Устроители «Союза 17 октября» торопили скорейший созыв Думы — в мечте, что тогда и начнётся тесное единение монарха с народом. А между тем быстробегущие недели накатывали на Россию сотрясения и испытания: пьяный мятеж в Кронштадте, флотский мятеж в Севастополе, волнения в губерниях, убийства, террор, паралич всей Сибири, вооружённое восстание в Москве, а в ответ — «режим чрезвычайной охраны» вместо «незыблемых основ гражданских свобод», обещанных Манифестом: левые круги и правительство, как бы наперехват, друг друга выпереживая, сшибали и топтали тот злополучный Манифест. И «Союзу 17 октября», всю свою деятельность полагавшему от Манифеста, приходилось спорить о своём заветном ещё прежде, чем Союз учредился вполне.

Эту среднюю сложную миротворную линию устроители объясняли так:

> Ш и п о в: Кому дорого мирное преобразование государственного строя, должен с появлением Манифеста признать революционное движение в стране законченным и доброжелательными усилиями содействовать проведению новых начал. Мы отмежёвываемся и от левых, и от правых партий. От правых, потому что они силятся сохранить старый приказный строй, приведший нас к Цусиме. От левых, потому что весь русский народ привержен идее монархизма, а не деспотизма олигархии или массы. Монарх — выше всех политических партий, и свобода и право каждого гражданина наиболее обеспечены при конституционной монархии. В отличие от левых партий мы считаем, что человек должен быть не только свободным, но и проникнут нравственным идеалом.

Здесь председатель ЦК «Союза 17 октября» сильно приподнял, приписывая свою высокую программу разношерстному соединению, составившему Союз. Для Шипова задачи нового Союза совпадали с его давней мечтой:

> устранять из политической борьбы раздражение, предвзятую подозрительность, взаимное недоверие; политическую борьбу сводить по возможности к доброжелательному выяснению спорных вопросов, к установлению соглашений, приемлемых для спорящих сторон.

> Г у ч к о в: Мы не можем относиться отрицательно к тому, что создано старой Россией. И монархическое начало тоже должно быть перенесено обновлённым в новую Россию.

В Охотничьем клубе на Воздвиженке, где триста прекрасно одетых людей слу-

шали уверенных ораторов, съезд *октябристов* как будто мог торжествовать: сложная средняя линия общественного развития была ясно выражена в речах и неоспоренно принималась аудиторией. Но когда вскоре начались выборы в Думу — мелкие партии и их кандидаты легко откалывались от «Союза 17 октября», вступали в любые беспринципные блоки, лишь бы быть избранным. И собрания силища Союза оказалась трухой. А общество, всё более обозлённое и убеждённое, что никакие соглашения с *этой властью* невозможны, не отдавало голосов странным проповедникам какой-то средней линии и соглашения. И на выборах в Первую Думу в начала 1906 года октябристы потерпели сокрушительное поражение, даже сами Шипов и Гучков не были избраны. И как будто зря они эти месяцы силились воплотить свои высокие принципы в послушное политическое тело.

То был кризис для обоих, но, при разнице возраста всего в 11 лет, для Шипова — переломивший его общественную деятельность на нисходящую ветвь, для Гучкова — взмывший его жизнь по восходящей. Не хочется сказать, что от поражения, но от сошедшихся нескольких причин на том они и разошлись, и даже отчуждились. Вскоре после неудачных выборов Шипов уступил Гучкову пост председателя «Союза 17 октября». Была в их расхождении смена эпох, но было и то, что по законам собственной жизни мы должны, отыграв своё, не задерживаться на сцене. Шипова это настигло в пятьдесят пять лет, счастливы те, кого настигает в семьдесят, а иные и в тридцать отжаты.

На этих обзорных страницах мы так много занимаемся Дмитрием Шиповым не потому, что он повлиял на ход русской истории, но именно потому, что с началом самых жестоких сотрясательных лет н е повлиял нисколько. Его умеряющие благотворные действия прежних тихих лет, принесшие и успех его медленным основательным замыслам и всероссийское влияние ему самому, — с началом общественной тряски сменяются чередой поражений, честных самоотказов и полным задвигом в бездействие, отбросом в бессилие. Именно потому мы так внимательны к урокам Шипова, что за четверть века своей общественной деятельности он как будто ни на градус не уклонился от стрелки нравственной идеи, вышедшей из центра религиозного сознания, кажется ни на одном шаге не был озлоблен, или разгорячился бы борьбой, сводил бы с противниками счёты, или был бы лукав, или корыстен, или славолюбив, — нет! он своим спокойным обстоятельным умом прилагал нравственную идею к русской истории, и не где-то на задворках, но на самых главных местах, и в самые опасные переломные месяцы для России вызывался к Государю для советов, для получения министерских постов, а в июне 1906 — и поста премьер-министра. И — все его советы оказались не принятыми. И — ото всех постов он отказался, смечая соотношение сил и настроений, — странный удел столь многих русских деятелей: по разным причинам, почти всегда — отказ...

Урок Шипова напряжённо дрожит вопросом: вообще осуществимо ли последовательно-нравственное действие в истории? Или — какова же должна быть нравственная зрелость общества для такой деятельности? Вот и 70 лет спустя и в самых незапретных странах, веками живущих развитою гибкой политической жизнью, — много ли соглашений и компромиссов достигается не из равновесия жадных *интересов и сил*, а — из высшего понимания, из дружелюбной уступчивости сделать друг другу добро? Почти ноль.

Как при ничтожном загибе тропы мы уверенно видим свой путь прямым, и лишь нескоро обнаруживаем, что описали петлю, — так и в политической жизни Шипова за последний слишком бурный год был совершён загиб, ему самому не заметный. Ещё год назад он считал для России конституцию губительным путём. Затем из послушания монаршьей воле стал проводником Манифеста 17 октября — твёрже самого Государя. Теперь же, когда победа — едва, на перевесе — оставалась за властью, Шипов, не замечая, всё более принимал сторону кадетов:

Власть должна отказаться от борьбы с обществом.

В эти самые месяцы убивали сотни должностных лиц, или грозили убийством (брата Гучкова Николая, московского городского голову, за противодействие забастовке митинг трамвайщиков *официально* постановил — *убить*), однако Шипов не прибавлял: «и общество должно отказаться от борьбы с властью». Он отшатывался поддержать энергичные действия Столыпина, который якобы «не признавал нравственного начала в государственном строе и государственной жизни», и склонялся отдать последнюю в волю кадетов, у кого как раз нравственное начало и утанывало в политике.

Как будто при содействующих, располагающих обстоятельствах встречались Шипов со Столыпиным летом 1906, обговаривая, как вместе создать правительство, — но никакое согласие даже не промелькнуло между ними, а сразу — душевное внутреннее отталкивание, которое невозмутимого кроткого Шипова довело до возбуждённого, сбивчивого оскорбительного объяснения, потом разложенного по логическим пунктам: Столыпин не предан искренно Манифесту и даже — противник его; он хочет вести страну в традициях старого абсолютизма; он пренебрегает представительными учреждениями, он — главный виновник роспуска 1-й Думы; у него — ограниченный политический кругозор, неглубокое общее миросозерцание; он не стремится к общему благу и высшей правде; а притом — самоуверен, властен, и вот сумел подчинить своему пагубному, но сильному влиянию Государя.

А Столыпину, вероятно, виделось, что Шипов, при святости верхового кругозора, лишён хватки, поворотливости, быстрой энергии, славно разговаривает, а *сделать* в крутую минуту не способен ничего, и Россию спасать — ему не по силам.

Урок Шипова тем более печален, что свои последние годы, не избираемый в Думу, всё более вышибленный и устранённый даже из мелкой деятельности, даже из уездного земства и из московской городской думы, и медлительно занимаясь мемуарами, он проявил не возросшую, а ослабшую остроту зрения, когда полуслёзная плёнка доброты и слишком настойчивой, неотклончивой веры мешает видеть. Дописывая мемуары осенью 1918, он изъясняет нам, что вот закончилась последняя большая война истории, подобная кровавая катастрофа никогда не повторится, окончательно ниспровергнуты идеи милитаризма и империализма, религиозное сознание победило, особенно в Соединённых Штатах, русский же народ, богоносец и богоискатель, в недалёком будущем вновь поднимется с колен, а интеллигенция согласует свои взгляды с идеалами народного духа, как террорист-социалист Савинков, уже перешедший в христианство.

И такой конец Шипова заставляет усумниться, насколько отчётливо и быстро оценивал бы он события и отдавал решения, если бы в июне 1906 согласился бы возглавить русское правительство? (Это — не символическое представление: в тех же переговорах наряду с Шиповым участвовал его близкий единомышленник князь Г. Е. Львов. В 1917 тот показал, чего стоила вся линия.) Почитая народ устойчивым богоносцем, отчего, правда, было и не отдать его взбрыкам кадетской Думы? — богоносцу ничто не повредит, он всё равно подымется на ноги. Из нашего отдаления нам легче теперь оценить сравнительную правоту и неправоту Шипова и Столыпина, для них самих в горячие недели постигаемые только интуицией.

Столыпин оказался роковым человеком и для Гучкова, в его расхождении с Шиповым. Недавних союзников он разделил как взмахом сабли: от первой же встречи, почти мгновенно, всё той же нашей спасительной интуицией, Гучкову без оговорок полюбился его твёрдый уверенный мужественный ровесник Столыпин. В наших схожденьях-расхожденьях мы иногда сами не замечаем, как выбор наш решается не убежденьями, а темпераментом. Гучкову открылся в Столыпине человек дела с сильной волей, ясным умом, определённым взглядом на всякий предмет, прямизной в высказываниях и —

В нём русское было центром всего.

Сам Гучков, к сорока пяти годам из своих передряжных поездок и войн прийдя как будто молодым человеком, только и рвался, только и брался уставлять общественную жизнь — переняв от Шипова руль «Союза 17 октября» в его крушении, ту самую идею провести, начатую вместе с Шиповым: благожелательное сотрудничество между властью и обществом. Гучкову странно было слышать от Шипова, что тот, занимаясь политикой, порицает политическую борьбу.

А для меня, напротив, всегда большое удовольствие — хорошенько *накласть* своим противникам!

Именно борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы — до страсти охватывался Гучков. И в самые бурные месяцы, когда Россию грозило развалить и разорвать, ему дикими казались советы Шипова уступить Россию кадетской Думе, пусть со временем убедятся обе в своих ошибках. Не терпя кадетов, Гучков не упускал случая нанести им удар — хотя б в заседании губернской управы, в повороте мелкой местной резолюции, чтоб кадеты хоть поперхнулись.

Но даже и стоя так, и при симпатии к Столыпину, — войти в его первый кабинет Гучков не решился: это значило бы перешагнуть пропасть от общества к правительству. На Аптекарском острове, за несколько недель до взрыва, Столыпин предложил ему пост министра торговли-промышленности, и программу правительства Гучков одобрял, — а ставил и ставил встречные условия, кого ещё *из общества* непременно позвать в министерство. Уговор не состоялся, но Гучков обещал поддерживать Столыпина с общественной стороны.

В те же дни снова захотел поговорить с Гучковым и Государь, принял его в Петергофе. Это были дни восстания в Свеаборге, тут — дремало поразительное спокойствие. Государь был в благодушном настроении, очаровательно любезен, как он умел быть очаровательным, очень располагая к себе. Тоже звал в министерство. Но, по всему, не отдавал себе отчёта в серьёзности положения. Монарх — как будто не этой страны, не этой планеты. Он находил излишним всякое обновление внутренней политики и не хотел себя связывать никакой программой. Стало

> так тяжело на душе, что и сказать нельзя. Петергофские впечатления совсем доконали меня. Никакой надежды в ближайшем будущем. Мы идём навстречу ещё более тяжёлым потрясениям. Но вместе с тем и примирительное чувство, что *невинных нет*, что все жертвы готовящейся катастрофы несут в себе свою вину, что совершается великий акт исторической справедливости. До боля жаль отдельных лиц, но не жаль всю совокупность этих лиц, целые классы, весь строй, —

писал он жене по свежим впечатлениям петергофской аудиенции. Вся загадка и всё бессилие сгущались в этом странном вежливом Государе, который только и находился спросить солдата — в каком он полку служил перед тем, а послушав игру знаменитого пианиста — что он, старший или младший брат однофамильца моряка?

Гучков поражался, но не ослаб, а крепкими ногами воина побрёл против сшибающего течения. Когда в августе 1906 были введены военно-полевые суды, мотивированные в правительственном сообщении:

> Революция добивается не реформ (проведение их почитает обязанностью и правительство), но разрушения самой государственности и монархии,

а всё общество, разумеется, негодовало на суды, — Гучков не испугался выступить в печати одиноко с одобрением:

> Твёрдая власть, имеющая охранить молодую политическую свободу, должна прибегать к скорым и суровым репрессиям. У нас в некоторых местностях идёт междуусобная война, а законы войны всегда жестоки. Возрастающее у нас грабительство уже перешло от революционного характера в разбой. Введение военно-полевых судов — жестокая необходимость. Репрессии вполне совместимы с либеральной политикой: только подавление террора создаст нормальные условия. На революционное насилие правительство обязано отвечать энергичным подавлением. Я глубоко верю в Петра Аркадьевича Столыпина. Таких способных и талантливых людей ещё не было у власти у нас.

И через год:

> Если мы присутствуем при последних судорогах революции, то этим мы обязаны исключительно Столыпину.

Сторонники отпадали, левые поносили Гучкова. Но этим заявлением он твёрдо начинал шестилетний вершинный путь своей жизни — те самые отпускаемые нам главные годы, для которых вьётся вся остальная жизнь.

Не сразу этот путь пробился: общество жаждало левизны и революции, во 2-ю Думу октябристы так же не попали, как и в 1-ю. Но весной 1907 Гучков отказался от верного, однако слишком спокойного места в Государственном Совете — чтобы пробиться за Думу, собирать октябристов под проклятья и угрозы слева.

Миновали, как считал Шипов, условия для деятельности «Союза 17 октября»? или только теперь и начинались, как уверенно вёл Гучков:

> Примирить вечно враждующие русскую власть и русское общество, дружно сотрудничать с властью и безболезненно перейти от осуждённого уклада к новому.

Со своими мировыми и внутренними задачами Россия может справиться

> только под предводительством сильной царской власти. Конституция (1906) просвечивает власть для общественности и тем высвобождает от безответственных тёмных влияний, —

но не для того, чтобы кинуть её

> в распоряжение политических партий и их центральных комитетов! Мы — против революционных элементов, которые думали воспользоваться затруднительным положением правительства, чтобы насильственным переворотом захватить власть. В борьбе со смутой, в момент смертельной опасности мы решительно стали на сторону власти,

сохраняя свободу осуждать ошибки правительства и отстаивать его верные шаги.

Сам тот Манифест 17 октября сперва слишком неуступчивого, потом слишком напуганного царя — был ли посильным скачком для страны, никак не подготовленной к парламентской жизни? Не обещает ли закон 3 июня 1907 более спокойного развития к парламентскому состоянию?

> Тот государственный переворот, который был совершён нашим монархом, как раз и являлся установлением конституционного строя. Я уверен, что спокойная лояльная работа 3-й Думы примирит и наших противников, и через год-два будет вынуто ядовитое жало, столько времени растравлявшее народное тело, и избыточная энергия революции уйдёт в созидание.

Так и случилось. Именно с 1907 в России началось неоспоримое выздоровление. Люди, которые несколько лет назад метались от сходки к сходке, теперь развивали экономические программы, и всё более заметной фигурой общества становился инженер.

Осенью 1907 октябристы прошли сплочённой группой в 3-ю Думу, и их лидеру Гучкову предстояло показать теперь на деле, возможно или невозможно осуществить среднюю линию уравновешенного устроения России. Две первых Думы не видели иной цели, как дразнить правительство и ярить общество, — сумеет ли 3-я формировать государственный путь страны?

Первый свежий толчок, который мы испытываем здесь, — это соотношение лидера думского большинства Гучкова и председателя совета министров Столыпина: их сотрудничество — не в сговоре, не в умысле, но в служении общей цели, кто лучше её поймёт: при единомыслии — спор и состязание. Одно из первых выступлений Гучкова (май 1908) было: отказать в кредитовании флота, укрепляя Россию — отказать ей в броненосцах! Иначе

> как нам отделаться от призраков прошлого? Правительство должно пролить всю правду, назвать всенародно имена лиц, виновных в катастрофе.

Эта речь вызвала большое раздражение Николая II, так любившего флот, и сильно омрачилось его отношение к Гучкову, который очень ему нравился прежде.

С думской трибуны открылся Гучкову простор объяснить и всю японскую несчастную войну:

> Главной виновницей наших неудач была не армия, виновники — наше центральное правительство и наше общество. Правительство легкомысленно способствовало возникновению этой войны; в долгие мирные годы не озаботилось правильной постановкой дела обороны; когда появилась опасность — не отдало отчёта в серьёзности положения. Предполагалось, что это — далёкая колониальная война, которую нет надобности вести со всем напряжением сил. Лишь гораздо позднее явилось сознание, что дело идёт не о Южной Манчжурии, но о существовании России. Когда же мы стали на Дальнем Востоке сильны, и дух армии был ещё бодр — правительство потеряло веру в себя, в свой народ, и заключило тот мир, который надолго похоронил наше международное положение.
>
> Но если правительство хоть в конце несчастной войны поняло свою ошибку, то второй виновник наших неудач — наше общество, так до конца и осталось в своём ослеплении. Общество оказалось нисколько не прозорливее правительства, они друг друга стоили. Непопулярность повода к войне заставила общество закрыть глаза, какая жизненная ставка разыгрывалась там, вдалеке. И всё, что лилось отсюда в армию, — наша пресса, письма родных и знакомых, приезжие люди, всё это отнимало последнюю бодрость, остаток веры в себя и в успех. Наше общество дей-

ствовало во всё время войны деморализующе на нашу армию. (Справа: «Правильно!») А в конце войны оно ещё усугубило свою ошибку.

Впрочем, и в армии

канцелярия заполнила всё, подчинила строй, мертвила энергию, убивала дух. Генеральский состав оказался наиболее слабым. Как и в крымской, и в турецкой войне, большинство генералов оказалось не подготовлено к распоряжению всеми родами оружия. И до сегодня сохранился во всей нашей стране тот противоестественный подбор, при котором всё слабое и ничтожное всплывает наверх, а всё талантливое и смелое отбрасывается.

Выступал Гучков не для того, чтобы покрасоваться с думской трибуны, но — каждою речью улучшить что-то в отечестве, и особенно — в армии, которой он посвятил свою деятельность. То — за кредит на улучшение быта нижних чинов, у которых был скуден приварок, то — за увеличение содержания офицерам, сословию, презренному обществом, обойденному казной, но обязанному в тяжкие минуты отечества за всех за них проявить высший воинский дух.

Некомплект офицеров в армии принимает угрожающие размеры. Есть войсковые части, где он достигает половины офицерского состава. Оклады содержания офицеров и раньше ставили их вплотную с нуждой. А в последние годы, когда многие общественные группы и классы в суматохе так называемого Освободительного движения несколько устроили своё материальное благосостояние, нужда стоит уже не у порога офицерского жилища, но вошла в самое это жилище, офицерские жёны несут самую чёрную работу, офицерские семьи переходят на довольствие из ротного котла, а на далёких окраинах ведут существование прямо не достойное человека. Беспросветность жизни армейского офицера... Невозможность даже под конец жизни обеспечить свою семью.

Тогда как в армии должна быть только одна привилегия — образования, военных знаний и таланта (аплодируют, но не справа), в ней — незаслуженные, неоправданные привилегии гвардии, происхождения, денежного достатка, столичных связей.

Жернов гарнизонной службы перетирает в порошок рыцарские чувства и благородные характеры. Не бережётся чувство чести и личного достоинства, но цуканьем, хамством с подчинёнными, издевательствами, униженьями уничтожают то чувство самолюбия, которое в военном человеке — из главных стимулов героизма. И офицеры уходят из армии — куданибудь, землемерамя, экзекуторами, бухгалтерамя. Остаются в армии или немногие подлинные любители военного дела или лица, ни на какую другую службу не годные.

А реформы входят в военное ведомство слишком робко.

И когда вспомнишь, как после тяжких поражений поступали другие народы, закрадывается в сердце грусть и зависть. Вы помните, как после 1871 года возрождалась Франция, на какие жертвы шла она вплоть до того момента, как задул ветер социалистических учений и доконал то, чего не в состоянии были сломить немцы?

Ещё в 1908 Гучков понимал и называл:

Комплект наших патронов и снарядов совершенно не отвечает новым условиям войны. При значительной войне наши заводы не приспособлены покрыть расход боеприпасов, а некоторых составов русская промышленность вообще не вырабатывает.

И — о благовременном переносе заводов от возможного западного фронта. (До отступления 1915 так и не сдвинулось ничто.) И — о слабости, дряхлости наших крепостей. (Так и оставлены.)

В горьких выступлениях Гучкова лучился и юмор:

Я думаю, что нет министра, который был бы больше заинтересован в свободе печати, чем министр военный. Я бы на его месте ежедневно надоедал министру внутренних дел: когда же он внесёт законопроект о расширении свободы печати.

Ибо не улучшить нам военного ведомства и особенно легендарного интендантского, пока не будет выслушан голос армии и не будет контроля общественного мнения. Вот военный министр (Редигер) решился на беспримерную ревизию над интендантским ведомством.

Перед материалами, которые добыты ею, я вижу себя обезоруженным, ибо на каждый мой вопрос: известно ли военному ведомству то или другое злоупотребление, я уверен, ведомство может мне ответить: «мне известны гораздо большие злоупотребления». (Смех в центре и слева.) А если ведомство скажет, что в его руках недостаточно репрессий, я уверен, что Дума не поставит пределов этим репрессиям: для вороватых интендантов мы готовы дойти и до военно-полевых судов. (Рукоплескания в центре и справа.) Я уверен, что даже господа левые в этом вопросе только стыдливо воздержатся от голосования. (Слева шум.) И тогда все эти рассказы о картонных подошвах у героев Шипки, отмороженных ногах и босоногой армии отойдут в область преданий. (Бурные рукоплескания. Пуришкевич: «Молодчина, Гучков!»)

В вопросы военного ведомства Гучков входил особенно глубоко. Он сам возглавил думскую комиссию государственной обороны (не допустив туда ни социалистов, ни кадетов), министр Редигер охотно раскрывал перед комиссией все дефекты. Старались добросовестно изучить постановку военного дела в России. Гучков завязал связи и с генералом Василием Гурко и в военно-морских кругах. Военных кредитов не только не урезывали, но всегда добавляли, провели и повышение окладов офицерству. *Наверху* были недовольны, что Дума увеличением военных кредитов ищет симпатий армии и вмешивается не в своё. Но и глядя из Думы, можно было быть недовольным верхами, и Гучков решился взорвать эту тему в ярком выступлении. Чтоб никто не мог помешать, он скрыл свой замысел ото всех и от председателя Думы. Сперва защищал смету, а потом, стараясь говорить возможно быстрей, чтобы не прервали, атаковал великих князей:

Совет Государственной Обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем обессилил и обезличил военного министра и тормозит всякие улучшения в военном деле. («Браво!» Рукоплескания.) Чтобы закончить перед вами картину той дезорганизации, граничащей с анархией («Браво!» «Верно!»), которая водворилась в управлении военного ведомства, я должен ещё сказать: должность генерал-инспектора всей артиллерии занимает великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор инженерной части — великий князь Пётр Николаевич, главный начальник военно-учебных заведений — великий князь Константин Константинович. Так во главе ответственных отраслей военного дела поставлены лица, по своему положению фактически *безответственные*. («Браво! браво!») Назвать это своим именем — наш долг, и вместе с тем мы должны признать наше бессилие. («Верно! Верно!») Прав был депутат Пуришкевич: мы больше не можем позволить себе поражений! Новое поражение России явится не просто уступленной территорией, не просто заплаченной контрибуцией, но *будет тем ядовитым укусом, который сведёт в могилу нашу родину!* (Рукоплескания. «Верно!») И если мы требуем от страны тяжёлых жертв на дело обороны, то мы вправе обратиться и к тем немногим безответственным лицам и потребовать только всего: отказа от некоторых земных благ и некоторых радостей тщеславия! (Продолжительные бурные рукоплескания слева, в центре и отчасти справа.) Этой жертвы вы вправе от них ждать.

Растерявшийся председатель закрыл заседание. Дума была потрясена. Спрашивал Милюков в кулуарах:

— Александр Иваныч! Что вы наделали? Ведь после этого Думу распустят!

— Нет, армия и народ — с нами, не решатся!

А Николай II Столыпину: «Он мог бы это сказать в частном разговоре, а не с публичной трибуны.» Однако в частном разговоре ответ — улыбка и «вы совершенно правы», и всё остаётся на местах. Уверен был Гучков, что только публично высказанная мысль подействует. Речь его никем не была опровергнута, престиж великих князей

подорван. Но и до 1917 они оставались на подобных местах А Совет Обороны был распущен, к облегчению.

Терял Гучков былое расположение Государя. А хотел совсем не этого. В начале 1909 при запросе о годности высшего командного состава вынудил Редигера к признанию:

> При выборе кандидатов на высшие должности приходится сообразовываться с тем составом, который налицо, —

и за этот ответ Государь отрешил военного министра и назначил на долгие годы... — Сухомлинова. Этот — был уже врагом думской военной комиссии, и только помощник министра Поливанов снабжал Гучкова необходимой тайной информацией. Предстояло Гучкову ещё немало разоблачать и Сухомлинова.

Вспоминал Шингарёв:

> Речи Гучкова были бы невозможны со стороны кого-нибудь из нас — скандал, удаление на пятнадцать заседаний. А его — слушали.

Впрочем, правые — неспокойно. В постоянном сочувствии Гучкова к армии они видели желание перетянуть армию от Верховной власти к Думе. В правых газетах и с думской же трибуны Гучков был обвинён в «младотуречестве», в «раскрытии ран» нашей обороны, подрыве доверия, выносе сора из избы. Гучков отвечал:

> Когда мы видели неспособных вождей, мы говорили: это — неспособные вожди. Едва ли виноваты мы, называя их своими именами,— скорее те, кто держат их. От курения фимиама, от тактики замалчивания мы так много настрадались, что надо воспользоваться Думой, чтобы говорить правду. Член Думы Пуришкевич упрекнул: «Нужна вера, вы вселяете безверие». Но есть хуже, чем безверие, — это ложная вера. И мы будем разрушать её везде, где найдём. «Хлопчатобумажный патриотизм» сказал обо мне Пуришкевич, повторяя засаленную остроту. Эти господа не могут мне простить, что я — купеческого происхождения. Чтобы дать им материал для новых острот, я им ещё добавлю: я не только сын купца, но и внук крестьянина, который из крепостных выбился в люди трудолюбием и упорством. (Рукоплескания.) И в моём «хлопчатобумажном патриотизме» вы, может быть, найдёте отзвук другого патриотизма — чернозёмного, мужицкого, который знает цену таким барчукам, как вы.

И разве Гучков не выдержал исходной программы «Союза 17 октября»? Пора 3-й Думы представлялась ему

> небывалой с 60-х годов картиной русской жизни: власть и общество, всегда непримиримо враждовавшие, сблизились. В этом акте примирения выдающуюся роль сыграл Столыпин совершенно исключительным сочетанием качеств Благодаря именно его обаятельной личности, высоким свойствам его ума и характера, накапливалась вокруг власти атмосфера общественного доброжелательства и доверия на место прежней ненависти и подозрительности. Третья Дума своей уравновешенностью оказала глубокое воспитательное влияние на русское общество. Создавалась небывало благоприятная обстановка, обещавшая обновление во всех областях нашей жизни.

О, не так-то просто отползают с народного пути старые каракатицы, одряхлевшие у власти! Уже весною 1909, чуть утихло с революцией, эти фантомы и уроды сплотились к трону — убрать Столыпина. Готовилась его отставка. Гучков дал газетное интервью:

> Конституции грозит опасность со стороны правых групп, отставных бюрократов, при новом строе оставшихся не у дел, правого крыла Государственного Совета. Пока Столыпин вёл борьбу с революцией — правые могли жить спокойно. Но наступила эра реформ. и правые поняли, что их торжеству приходит конец. По мере того, как революция отлагалась, поднимали головы со своей короткой памятью те, кто неискренно терпел Манифест как легкомысленную уступку. Приведшие Россию к небывалому унижению, перед смертельной расплатой как будто исчезнувшие, — они теперь выползают изо всех старых гнойников и захватывают позиции.

А ещё

> Столыпин никому не прощает воровства, взяточничества и корысти Тут он беспощаден. Когда начался грозный цикл сенаторских ревизий, всколыхнулось тёмное царство взяточников и казнокрадов. Кругами расходился по этому болоту страх за существование.

(Всё же в ту весну Столыпин устоял: ещё недостаточно прискучил Государю и как будто ещё не опасно затмевал его.)

Особенности *центра* — с такою же силой Гучков разоблачал и левых:

> Если раньше могли быть какие-то иллюзии о моральном значении и политической целесообразности террора, если раньше террор был окружён в известных общественных кругах атмосферой сочувствия, даже соучастия, то ныне лужи крови и грязи лишили террор того ореола. А наш государственный и социальный строй оказался столь могучим, что выдержал безумный натиск безумных людей. Разве террор не выродился теперь в дикую бессмысленную злобу?.. Последние годы, отмеченные Освободительным Движением, вложили свою лепту в развитие хулиганства. Припомните, с чего началось в России революционное движение? С декабристов! Припомните, чем оно закончилось? (Слева: «Оно — не кончилось!») ...Террор убивает безжалостно не только тех, кто являются его действительными и опасными противниками, он убивает вокруг себя зря, вслепую, кого и как попало. И если раньше можно было предполагать, что в рядах революции сосредоточена известная доля самопожертвования и героизма, то давно героизм перекочевал в противоположный лагерь; надо признать, что те городовые, солдаты, те генералы, губернаторы и министры, кто в течении многих лет мужественно выстаивают на своём посту, ежеминутно подвергая опасности себя и своих близких, — они и являются истинными героями! (Рукоплескания центра и справа.)

И Гучков призывал, чтобы законопроект о помощи семьям, чьи кормильцы убиты революционерами, был поддержан всею Думой — это оздоровило бы нравственное сознание страны,

> прекратило бы или ослабило то пролитие крови, которое составляет несчастье и позор нашей родины.

Но призывал он, разумеется, тщетно. Не только социалисты, но и конституционалисты-демократы перестали бы быть сами собой, если б осмелились вслух осудить революционный террор. Головы, непоправимо скрученные влево, вернуться в среднее положение не могли.

> Со стороны крайних левых групп мы слышим исключительно только речи, полные подозрений, полные яда, полные ненависти. Это показывает, насколько искренними работниками они являются в том труде, который мы несём.

Были и позже случаи противостать левым — всё о терроре. В конце 1909 на Астраханской улице в Петербурге, в частной квартире, снятой полицией, был взорван бомбою начальник петербургского охранного отделения Карпов. И левые, и кадеты внесли шумный кривой запрос о полицейской провокации: что квартира была полицейскою фабрикою бомб. — Но зачем полиции фабрика бомб, да ещё тайная? производить взрывы? — возражал центр.— Нет, подкидывать бомбы перед обысками,— изобретали левые.

Так накалено было в думских крылах — всегда доказывать правоту *своих*, всегда доказывать виновность *тех*, что ораторы не желали схватывать возражений, подробностей дела. Неисчерпаемо-цветистый Родичев, прославленный своим языком и им же едва не наказанный насмерть, теперь с думской трибуны пересказывал из французской газеты статью эмигранта Бурцева (такое возможно было в консервативной Думе!),

> кому кадетская фракция верит больше, чем председателю совета министров,

но упустил, очевидно неумышленно, — язвит Гучков, — как раз то место статьи, где Бурцев свидетельствует о человеке (Петрове-Воскресенском), произведшем взрыв, что он был

агентом революции, палачом революционного трибунала, командированным в стан охраны *двойником*.

А это даёт повод Гучкову высказать, что часто

> в полицию являются представители революционных партий с предложениями услуг за деньги. Моральное разложение в революционном лагере пошло далеко, так далеко, что от лозунга «всё дозволено в политической борьбе» дошли до лозунга «всё дозволено во всех областях жизни». Идеалистический, героический период революции, о котором мы знаем понаслышке, давно отошёл, а теперь наступил период *разбойный*. Вот член Думы Чхеидзе, вероятно, не будет мне противоречить. Мне писали с Кавказа в период *освободительного движения*, что каждая так называемая политическая экспроприация — грабёж, чтобы достать средства для революции, сопровождалась всегда чрезвычайно широкими кутежами в лучших ресторанах Тифлиса. Как эти кутежи бывали, так люди и знали: произошла политическая экспроприация.

И, обращаясь к левым:

> Если вы будете разоблачать действительно провокационные приёмы полиции — вы всегда найдёте нас союзниками. Но если вы хотите разоружить государство и правительство в борьбе с революцией — то нет, слуга покорный!

Так стоял он крепкими ногами против шумных и яростных натисков то слева, то справа, то и слева и справа, то поддерживаемый, то бранимый, — но в вере, что твёрдо ведёт средний курс корабля, примиряя русскую власть и русское общество для созидания; в надежде, что наконец и власть и общество ограничат себя и откажутся от непомерных требований.

В этом — особенность парламентского центра:

> В Думе есть группы, нисколько не заинтересованные в плодотворности законодательной работы. Левые наши *товарищи* твердят и мечтают, что из Думы ничего не выйдет и нужна великая катастрофа;

правые грозят, что Дума к ней и ведёт; власть презрительно смотрит на Думу — нечего с ней считаться; но

> разочаруются те и другие, и Думе удастся восстановить у нас правду и справедливость.

Кто же больше *центра* заинтересован в прочном законодательстве? Особенность центра: прикрываться то левым, то правым крылом, собирать большинство то с правыми против левых, то с левыми против правых — и так двигаться вперёд, и так отстаивать страну.

Вместе с левыми Гучков: то (1908) поддержит протест против неслыханного произвола московского генерал-губернатора: он осмелился требовать запрещённые цензурой книги опечатывать и *даже* сдавать властям!

то (1909) — за свободу публичного старообрядческого проповедания (все социалисты были конечно з а, но эту свободу запрещала православная Церковь);

то — против *произвола* над присяжными поверенными (адвокатов, передававших заключённым недозволенные вещи, — министерство юстиции покушалось не допускать в тюрьмы, каково!);

то (1910):

> Потребность в системе успокоения прошла. Не видим прежних препятствий, которые оправдывали бы замедление гражданских свобод. Мы ждём!

то (1912) — за расследование Ленского расстрела,

> где царили условия кабалы, к счастью давно отошедшие в предание для большей части русской промышленности, а начальство было в панике, обезумев от личного страха;

то, по телеграмме Короленко, заступиться и спасти политического смертника.

И всё это, особенность центра, не создаёт ему никаких политических союзников.

> Мы и в стране и в Думе чувствуем себя несколько изолированными, —

звучит у Гучкова усталая нота. Лучше бы ни от кого не зависеть, ни с кем не блокироваться; плодотворны парламенты с центром самостоятельным, слабы парламенты с центром непрочным. Тут могут быть такие неожиданности: объединение правых

и левых против центра. И в каком стечении: фракция октябристов предлагает начать думскую сессию (1912) с двух вопросов, важнейших для крестьянской России: порядка на земле и порядка в суде — землеустройства и восстановления выборного местного суда, независимого от администрации. Правое крыло Думы, разумеется, против. Но левое-то будет — за? Как бы не так, социал-демократы — против, ибо *это ничего не дает* (им). Но — кадеты? но — цвет русской интеллигенции? Кадеты — тоже против: гораздо первей и важней вопрос ***о неприкосновенности личности***!

И октябристскому центру не хватает голосов...

> Господа, мы имеем перед собою чёрно-красный блок, это то, что составляет проклятье нашей русской жизни. (Смех справа и слева, рукоплескания в центре.) И никогда ещё этот блок не выступал с таким цинизмом. Да, с противниками бывает нужно сосчитаться, но не нужно брать почвой для счётов живое народное тело. Мы доведём законопроект до крушения и оставим население на долгие годы без правосудия.

Ну и что ж. Ну и пусть.

С марта 1910 Гучков предпочёл избраться председателем Думы — чтобы, по ритуалу, бывать на докладах у Государя: он очень рассчитывал оказать прямое личное влияние, даже повернуть ход России.

> Вы меня простите, Ваше Величество, я сделал своей специальностью говорить вам только тяжёлые вещи. Я знаю, вы окружены людьми, которые сообщают вам лишь приятное.

И был интересен Государю, иногда очень увлекал его. Цель Гучкова была — разбить лёд между Думой и Государем. Тот внимательно выслушивал (впрочем, эти пассивные состояния всегда у него выглядели правдоподобно), но часто и высказывался живо. Подозревал Гучков и так, что иные воли стояли за Государем — за задними дверьми или в угнетённом сознании монарха,— таились, шептались, сплетались симпатии и антипатии, влияния, капризы и выгоды шмыгающих теней — «придворный шёпот». Ещё было и шесть лет между ними — и с этой возрастной ступеньки тоже смотрел Гучков сожалеюще на приятный взрак царя, однако лишённый устремления.

Вместе со Столыпиным разделял Гучков эту трагическую роль: отстаивать монархию вопреки монарху, авторитет власти против носителей власти.

> Моя жизнь принадлежит Государю, но совесть ему не принадлежит, и я буду продолжать бороться.

Сухомлинов забавлял Государя придумкою новых армейских форм (Государь любил их как ребёнок, он завял бы, если бы вся армия была одета одинаково), избегал утомлять скучными докладами, скрывал недостатки. И более всего тормозил смену высшего командования на боевое. В аудиенциях Гучков жаловался Государю, что все реформы армии замедлены, не развивается военная промышленность, технические улучшения ведутся за счёт иностранных заказов. А в глазах Государя читал и так: сводите счёты с министром?

Гучков был неуёмист, всегда — вызов, и даже в год председательства не мог удержаться — пережил одну из многих своих дуэлей, с октябристом же графом Уваровым, покидал Думу, чтоб отбыть 4-х-месячное наказание в крепости — но высочайшим повелением прощено, не отсидел и месяца. (Среди гучковских дуэлей должна была быть одна и с Милюковым, за думское оскорбление.)

А потом Гучков сорвался: после очень тёплого приёма поделился успехами и надеждами с коллегами в Думе чуть пошире — попало в газеты, и мнения Государя тоже, — и следующий раз царь встретил Гучкова холодно, не садясь. Не прощая. Конечно навсегда.

И такие же порывы и дёрганья не давали плавно течь сотрудничеству Гучкова со Столыпиным. А когда тот в марте 1911 провёл западное земство роспуском Думы и Совета на три дня — Гучков испытал потребность сильно отдёрнуться, чтобы видели все, что он — не соучастник. Бросил председательство в Думе, теперь ему только тягостное, когда он разошёлся с Царём, и с направлением Красного Креста поехал смотреть чуму в Манчжурии (подальше, чтобы не возвратили). Взвинчивая себя, он придумал объяснить Столыпину, удивлённому, зачем такая непомерная резкость:

> Вы знаете, как я дорожил вашей победой, как мне были ненавистны ваши враги. Но шаг, который вы делаете, — роковой, не только для вас лично (я знаю, вы к этому равнодушны), а и для той обновлённой Рос-

сии, которая вам так дорога и которая вашими же усилиями стала выходить из хаоса.

Из Маньчжурии Гучков вернулся в августе, за несколько дней до убийства Столыпина. Тут его достиг слух, что финские националисты готовят на Столыпина покушение (возможно, было и такое), — и он успел дать знать Курлову в Киев, не самому Петру Аркадьевичу, чтобы не тревожить его.

В сентябре, в экстренном поезде, с полусотнею октябристов, Гучков ехал в Киев на похороны.

Раскаивался ли он, что на последнем пути не поддержал Столыпина? — теперь, в чём мог, он принимал на себя задачу убитого. ЦК октябристов обвинял кадетов в подготовке общественного настроения, облегчившего убийство. В 40-й день от смерти октябристы внесли в Думе запрос:

> Революционные партии и враги России, объединившись, исполнили свою давнишнюю угрозу отомстить тому, кто когда-то подавил революцию.

И Гучков, поддерживая запрос:

> Это была жизнь за царя и за родину, и смерть за царя и за родину... Поколение, к которому я принадлежу, родилось под выстрел Каракозова. Кровавая и грязная волна террора прокатилась по нашему отечеству, унося с собой Царя-Освободителя. Террор затормозил и тормозит поступательный ход реформ; террор давал оружие в руки реакции; террор своим кровавым туманом окутал зарю русской свободы, это свежо у всех в памяти (справа и в центре: «Браво!», слева: «Сказки для маленьких детей!»); а теперь террор устранил и того, кто более всех содействовал укреплению у нас народного представительства.
>
> Вокруг язвы, съедавшей живой организм русского народа, копошились черви. Они сделали себе из нашего недуга источник здоровья. (Слева: «Охранники!») Для этой банды существовали только соображения карьеры, расчёты корысти. (Справа и в центре: «Браво!») Это были крупные бандиты (слева: «Правильно!»), «жадною толпой стоящие», но с подкладкой мелких мошенников. И когда они увидели, что им наступили на хвост, стали обстригать их когти и проверять ресторанные счета, — они своими действиями и попустительством дали произойти убийству председателя совета министров...

Запрос называл по именам всех четырёх — Курлова, Спиридовича, Веригина, Кулябку, а Гучков с трибуны ещё добавлял подробностей о них — взяточничество, вскрытие денежных писем.

> Заколдованный проклятый круг, в котором бьётся правительство. Власть в плену у своих слуг. Змея, которой вы наступите на голову (Пуришкевич: «Мы с вами никогда не будем!»), ужалит смельчака, и кое для кого это может быть смертельный укус на прощание. *Если виновных лиц вы удалите с пенсией, а в общем всё останется по-старому, — вы обречённые.* Другой путь — полная реорганизация политической полиции. Хватит ли у вас решимости?

Нет, конечно, не хватило. Обречённые всё оставили по-старому.

А в *змее*-то Гучков понимал и Распутина, доставался и тот Гучкову в тяжёлое наследство. Но тут была опасность многослойна: нельзя было распахнуть передо всем народом России, что дело касается самого самодержца, — хотя именно ему Гучков не мог простить и себя и пренебрежённого Столыпина. Гучков искал помощи министров. Не нашёл. Тогда в январе 1912 в гучковской газете «Голос Москвы» напечаталась статья, изобличавшая хлыстовство Распутина. Номер был, разумеется, конфискован, редактор привлечён к суду. Это давало октябристам право запроса:

> Доколе Святейший Синод будет безмолвствовать и бездействовать, наблюдая, как разыгрывает трагикомедию проходимец, хлыст, эротоман, шарлатан Григорий Распутин? Почему молчат епископы, архипастыри? Почему всем газетам в Петербурге и Москве предъявлено требование ничего не печатать о Распутине?

И Гучков, поддерживая свой запрос мести:

> Неблагополучно в нашем государстве. Опасность грозит нашим народным святыням. Безмолвствуют иерархи, бездействует государственная власть. И тогда патриотический долг прессы и народного представительства — дать исход общественному негодованию.

А вослед, при обсуждении сметы Святейшего Синода:

> Я никогда ещё не выступал на эту трибуну с таким тяжёлым чувством. Нужно душевное настроение, мне не свойственное, и склад души, мне чуждый, чтобы сосредоточить внимание на страховании церковного имущества, уравнении епископских окладов, даже на приготовительных шагах к созыву поместного собора, когда всё это тускнеет, а хочется *кричать, что церковь в опасности и в опасности государство!*.. Этот изувер-сектант или проходимец-плут, эта странная фигура в освещении XX столетия (слева: «Электричество и пар!»), — какими путями захватил этот человек такое влияние, пред которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти? (Слева: «Целуйте ручки!») Вдумайтесь только, кто же хозяйничает на верхах? Кто вертит ту ось, которая тащит за собою смену направлений и смену лиц, падение одних, возвышение других? (Марков 2-й: «Бабьи сплетни!») За спиной Григория Распутина — целая банда, пёстрая и неожиданная компания, взявшая на откуп и его личность, и его чары. Антрепренёры старца! Это они суфлируют ему то, что он шепчет дальше. Это целое коммерческое предприятие, умело и тонко ведущее свою игру. Никакая революционная и антицерковная пропаганда за годы не могла бы сделать того, что Распутиным достигается в несколько дней. И со своей точки зрения прав социал-демократ Гегечкори, сказавший: «Распутин полезен». Да, для друзей Гегечкори даже тем полезнее, чем распутнее! И в эту страшную минуту, среди отчаяния и смятения одних, злорадства других, — где же власть? власть церкви и власть государства? А где были вы, обер-прокурор Святейшего Синода? Когда у нас проходили законы о гарантиях религиозных свобод, о праве перейти из одного вероисповедания в другое, о старообрядческих общинах, чтобы исправить вековую неправду, — мы вас видели среди противников. А язву, разъедающую сердцевину народной души, — вы проглядели!
>
> Я замечал, что достигшие больших жизненных благ менее всего склонны ими поступиться. Знаю: не всегда можно требовать героизма. Но есть этический минимум, обязательный для носителя власти. Есть моменты, когда *служить* означает другое, чем прислуживаться. Когда гражданский подвиг становится обязанностью. Под годами 1911—1912 русским летописцем будет записано: «В эти годы при обер-прокуроре Святейшего Синода Владимире Карловиче Саблере православная церковь дошла до неслыханного унижения»!

После этой-то речи и было промолвлено императрицей: «Гучкова мало повесить!» Он стал уже не политическим, а личным врагом императорской четы. Он и сам именно так понимал.

Чем резче он выступал, тем жесточе становился впредь, и всё менее разборчив в средствах. В начале 1912 он распространял по обществу гектографированные копии писем императрицы и великих княжён к Распутину, добытых через монаха Илиодора (и часть оказалась подделкой). И тогда же тайный гучковский информатор, на основании какого-то прочтённого им служебного письма к Сухомлинову, вывел и донёс Гучкову, что в военном министерстве служит — и близок к министру — германский шпион Мясоедов, к тому же бывший жандармский офицер, к тому же ныне поставленный для наблюдения за политической крамолой в армии. (Такое наблюдение уже давно отсутствовало, осведомители были сняты, то была частная и недавняя попытка министра.) Нельзя было придумать более дразнящего сочетания и лучшего места для удара: в случае успеха свергался военный министр (к посту которого Гучков особенно ревновал) и ставился свой Поливанов. И Гучков не замедлил с ударами: три сенсационных газетных статьи (в двух суворинских и гучковской) — «Шпионаж и сыск», «Кто заведует в России контрразведкой?», и заявление Гучкова в Комитете Государственной Обороны. Небывалое в истории России обвинение военного министерства! Эффект усилялся тем, что привлекались симпатии общества: жандармский офицер! политический надзор! и шпионство! — вот каковы они! Общество

отзывно заволновалось, требовало открытия секретов военного министерства. Уже слухи понеслись, что Поливанов заменит Сухомлинова. Но и Гучков кроме слухов ничего не мог основательного выложить на допросе у прокурора, и те поливановские данные оказались несерьёзными. (Впрочем, и до конца жизни Гучков этого не признал.) Но и Сухомлинов трусливо медлил с опровержениями. Тогда подполковник Мясоедов на трибуне бегов ударил издателя Бориса Суворина хлыстом по лицу, а Гучкова вызвал на дуэль. О, к этому Гучков был готов всегда! Они стрелялись на Крестовском острове — и Гучков появился в Думе с подбинтованной рукой, под бурю думских аплодисментов. (А в Мясоедова он не стрелял, но тот от скандала ушёл в отставку.)

Гремели речи по стране, и казалось — всё от них менялось в государстве.

А не менялось — ничего. Бесчувственной стеной всё так же высилась Верховная Власть — и брало отчаяние, что нет таких сил — пробить в ней окна для света и сквозняка. Да полно, б ы л ли тот Манифест, или только оставил память о поспешливой царской трусости? И сама партия октябристов — б ы л а ли (скоро «партией потерянной грамоты» назовёт её вождь правых Щегловитов)? Как будто — была, если составляла устойчивый центр 3-й Думы. Но при выборах в 4-ю, осенью 1912 года, партия потерпела поражение, атакуемая и слева и справа (особенность центра), для левых — партия помещиков и крупной буржуазии, для правых — *октябри-христопродавцы.* Потерпела поражение — и уже надо было усилиться фантазией и твёрдостью голоса, чтоб утверждать, что партия — есть. И больше всего тех усилий выпадало опять на Гучкова, истерзанного на предвыборных митингах (сравнительно с устойчивым думским положением, митинги-ухаживания за избирателями были ему унизительны), а после того — сенсация на всю Россию! — забаллотированного и своею Москвою, уже больше — не любимца, не кумира Москвы, переменчивая публика пошла перебирать дальше.

Ни правые, ни левые не простили ему его выступлений, его средней линии. Самой трудной линии общественного развития.

Ещё вчера ты считал свою партию и себя — Россией. И вдруг вы оказались совсем не Россия. Пробоина жестока, а понимание происшедшего долго не приходит. Человек никогда не постигает сразу смысла происшедшего с ним. Но когда изменения эти к успеху, к победе, — мы всё же разбираемся в них быстрей. Трудней различить, что жизнь от вершинного плоскогорья сломалась книзу, и это непоправимо, и хотя б ещё тридцать лет суждено ей тянуться, а только уже книзу и книзу.

Это пораженье настигло Гучкова всего в 50 лет. Обескураженный, он не понял и не принял приговора. Он верил ещё в свои силы — сам повернуть судьбу и свою, и партии. Испытанное средство: он уехал на балканскую войну, там пробыл год. Он год осмысливал происшедшее — и понял как знак: изменить линию борьбы.

В сентябре 1913 в Киеве на открытии памятника Столыпину Гучков возложил венок и молча до земли поклонился. Своему убитому ровеснику, единомышленнику и сопернику он понимал верность, как понимал, умерший снова бы удивился. В ноябре, непримиримый и неломимый, Гучков стянул конференцию своих расползающихся октябристов и представил им и стране — полный поворот своей деятельности:

> Наша программа, осуждённая в Пятом году как слишком умеренная и отсталая, была естественным оптимизмом эпохи, лозунгом примирения. Это был торжественный договор между исторической властью и русским обществом, договор о взаимной лояльности. И русскому обществу не было бы оправдания, если бы в момент грозной опасности для государства оно отказало бы власти в поддержке.
>
> Но борьба, в которой изнемог такой исполин, как Столыпин, оказалась уж совсем не по плечу его преемникам. Удержаться у власти можно только ценой самоупразднения. Манифест 17 октября формально не отменён, но — иссякло государственное творчество: ни широкого плана, ни общей воли, глубокий паралич. Общественные симпатии и доверие, бережно накопленные вокруг власти во времена Столыпина, вмиг отхлынули от неё. Власть не способна внушить даже и страха. Даже то злое, что оно творит, — часто без разума, рефлекторными движениями. Правительственный курс ведёт нас к неизбежной тяжёлой катастрофе. Но ошибутся те, кто рассчитывает, что на развалинах повергнутого строя воцарится порядок. В тех стихиях я не вижу устойчивых элементов. Не рискуем ли мы попасть в полосу длительной анархии, распада государства? *Не переживём ли мы опять Смутное Время,* но в более опасной внешней обстановке?
>
> Примирить власть и общество не удалось. Неоправданной ошибкой было бы теперь продолжать разорванный властью договор.

История ли, действительно, поворачивается вокруг нас? Или мы сами бессознательно предпринимаем эти крутые повороты, руководимые отчаянием, что именно *мы* выброшены? Но когда это всё скажется и свяжется словами — выглядит как будто стройно. За что Гучков осуждал и ненавидел кадетов всего 6 лет назад, теперь оказывалось верно для октябристов, хотя строй государственный не изменился. Октябристы становились в затылок кадетам. Потерянный Гучков поворачивал на 180° и прекрасно доказывал, что это повернулись круглые стены карусели.

> Когда-то, в дни народного безумия, мы, октябристы, подняли наш голос против эксцессов радикализма, — теперь, во дни безумия власти, мы должны сделать предостережение власти. Перед грядущей катастрофой мы должны сделать последнюю попытку образумить власть. Дойдёт ли наш крик предостережения до высот, где решаются судьбы России? Заразим ли мы власть нашей мучительною тревогой? Выведем ли её из состояния сомнамбулизма? Пусть не убаюкиваются внешними признаками спокойствия. Никогда ещё революционные организации не были в таком разгроме и бессилии, и никогда ещё русское общество не было так глубоко революционизировано — действиями самой власти.

Так повернул Гучков, но поворачивать-то ему было некого, кроме думской фракции октябристов, в которую сам он уже не входил. И правое крыло октябристов и центр откололись. Только двадцатка левых октябристов поддержала Гучкова и назвалась прогрессистами.

Поворачивáть было — некого. Россия — не поворачивалáсь. А сам Гучков проводил время более всего — в комиссии по переустройству водоснабжения Петербурга.

Может быть, действительно, он горячился и двигался суетней именно оттого, что был выкинут сам?

Ещё полный сил — и лишённый их приложения, такой же знаменитый на всю Россию — и вдруг никому не нужный, в отчаянии наблюдал Гучков малодушие политики не только внутренней, но и внешней. Не умели остаться с Германией в дружбе, как это нужно было им и нам, — но и стать супротив не умели как следует. Один мог быть смысл будущей войны — выбиваться к Константинополю, но именно Балканы, особенно Болгарию, отвратили от себя и потеряли в последние годы. У себя на петербургской квартире Гучков устраивал тайное свидание болгарского генерала и сербского посланника — мирить славянские страны. Инерция почти векового направления панславистской политики была так сильна над русскими умами, даже над реющим Достоевским, — Гучкову ли было выбиться из неё и понять, что благо России лежит только в её внутреннем развитии, а не во внешнем? У каждого времени есть свой потолок понимания, и Гучкову так же невозможно было отказаться от константинопольской мечты, как и Милюкову, и всему Прогрессивному блоку. Уже после сараевского выстрела Гучков горячился, беспокоился, что Россия не вступит в войну, и писал министру иностранных дел Сазонову:

> Вот та — последняя ли? — ступень унижения, до которой мы фатально докатили благодаря малодушию Государя... Я когда-то верил в вас, желая видеть на вас отражение хоть некоторых отблесков великой русской души Столыпина. Теперь я надеюсь, что переполнится же чаша терпения русского народа, и стряхнёт он вас от себя, сколько вас ни есть.

(О, исполнится! И даже — через меру...)

Первый день войны Гучков увидел таким:

> Что-то будет. Начинается расплата.

Война застала его на лечении, в Ессентуках. Он вырвался с первым же воинским поездом. На фронт! — но никакого не оставлено было ему места кроме Красного Креста, где он все годы продолжал состоять и помогал хорошо. Гучков успел под Сольдау, где сгущалась катастрофа Второй армии. И с тою же Второй армией — рок номера? повторный рок людей, оставшихся в ней же? а верней беспросветная бездар-

ность генерала Ю. Данилова («чёрного») — к ноябрю 1914 был снова почти в полном кольце под Лодзью. Сохранялся ещё узкий коридор, судьба которого решалась. Но эвакуация раненых была отрезана прежде того, и Гучков принял решение остаться с ними, отстаивать их перед немцами и разделить их судьбу. Последним коридором, посылая с князем Волконским требования помощи, он писал:

> Образовалась свалка раненых не менее 12 тысяч, и при самых скудных средствах помощи. Нужда ужасающая: и в персонале, и в перевязочных материалах, в топливе, в хлебе. Крепкий я человек, но и то трудно выдержать. Сегодня, 9 ноября, по-видимому критический день, и только чудо может спасти нашу армию. А с её судьбой связана судьба кампании, да и России. А всему виной та банда мерзавцев, которая засела наверху.

Всё же — разжали клещи, и Вторую армию в этот раз спасли. И в правительство, и в Думу Гучков писал ещё с фронта, вскоре и сам приехал в Петроград. С рассказом обошёл влиятельных министров. Каменная стена. Добился приёма у дворцового коменданта Воейкова: раскройте глаза Государю! снимите Сухомлинова скорей, не будет военного снабжения! (Понимал ли он, скорей не понимал, что срыв военного снабжения — общая черта всех воюющих сторон, но уж больно хорош был момент — ударить по Сухомлинову!) Бесполезно. Группе думцев — кадетам, центру и правым, он рисовал положение, как уже безнадёжное. Никто и верить не хотел: чудит Гучков, как всегда, скандальной славы ищет. Все ещё были в очаровании своего июльского национального единения, а значит русская победа была обеспечена.

Только в начале 1915 проняло Петроград, что на фронте плохо. Тут нанесла судьба удачный реванш: уже не Гучков — другие обвинили Мясоедова в шпионаже, и он был казнён мгновенно. Не пропали прежние усилия Гучкова и укрепился его престиж, и окончательно пал сухомлиновский. Надо было отдать Галицию и Польшу, чтобы правительство и корона достаточно перепугались, общество бы закипело, и Сухомлинов был бы наконец заменён Поливановым.

Во всей этой войне ощущая себя самым нужным России человеком, верней бы всего — военным министром, Гучков метался избыточно-лишним, никуда не пристроенным, русская судьба! Всё более так начиная понимать, что правительство не сдрогнет, не сдвинется к лучшему, с лета Гучков удачно возглавил «военно-промышленные комитеты» для технического снабжения армии (кажется верно рассчитав, что на этом поле может опередить правительство). Теперь и военным министром стал доверенный Поливанов, теперь Гучков мог рассчитывать знать все подробности из первых рук и влиять изнутри правительства. Но уже разогнанный в скорости — нет, не в затылок кадетам! — ныне, напротив, опережая их в резкости, Гучков на сентябрьских съездах 1915 предлагал распущенным думцам — *вне*парламентские способы борьбы! И — опять был жестоко отброшен, не выбран даже в депутацию от тех съездов. Прогрессивный же блок, разумно сохраняя себя, ожидал нового созыва Думы.

Теперь всё развитие проходя раньше кадетов (сидя на карусели лошадкою раньше?), беспокойный Гучков ранее кадетов метался разорвать легальные отношения с проклятой пораженческой властью, а в 1916, ранее же кадетов, ужаснулся того, к чему призывал сам:

> Наши способы борьбы обоюдоостры и при повышенном настроении народных, особенно рабочих, масс могут послужить первой искрой пожара, размеры которого никто не может предвидеть, ни локализировать.

Когда власть окончательно недоступна убеждению, а открытая общественная борьба с нею грозит сжечь и взорвать всю Россию, — то что же? что же? что же одно остаётся, как не скрытый, малочисленный энергичный дворцовый переворот???

К осени 1916 года замыслы и воля Гучкова всё более уставлялись только в это одно: в дворцовый переворот.

(Продолжение следует)

ПОЭЗИЯ



ВАЛЕНТИН СОРОКИН



ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ГОДЫ

Стрела успеха

На земле, речами удрученной,
Где кровава каждая верста,
Заменили бородой ученой
Русского глазастого Христа.

Отобрали церкви под амбары,
Расстреляли тройку на скаку.
И накрыли паровозным паром
Светлую равнинную тоску.

Насулили славы и богатства,
Дармовое варево и хлеб.
И под крики равенства и братства
Кормчий в подозрениях ослеп...

Ну а люди бродят по дорогам,
Мнут бока в тисках очередей.
Неприютно, видимо, без Бога,
А в стране, как в озере, чертей!

Муторно от жуткого их смеха
Даже и солдатам на посту.
И летит, летит стрелой успеха
Над Москвой ракета в пустоту.

Тих мой дом

Снег искрится, и светит звезда.
Тих мой дом и безропотен двор
Только ветер заглянет сюда
Иль случайно пожалует вор.

Липы, сосны, березы, дубы.
И куржак на ветвях голубой.
Из Кабула к нам едут гробы.
Начинается в Ольстере бой.

О, родимая, страдная Русь,
Вся планета в огне и в дыму.
Я, певец твой,
судить не берусь,
Лишь одно я в раздумьях пойму:

Неуемные наши труды
В мирный день и в разруху-войну
Переплавили горы руды
И в доспехи одели страну.

Там, где яблони терпко цвели,
Где клубился по речке туман, —
Клочья взрытой, гудящей земли —
То карьер, то опять котлован.

Больше зерен свинцовых, чем тех,
Колосистых,
бои да бои.
Человечество ратных потех,
Разве счастливы дети твои?

Вражье радио хрипло трещит.
В караул отправляется взвод.
Надо мной бронированный щит
Поднимает уральский завод.

А с макушки полночных дерев,
Обжигающий,
будто огонь,
Иней падает, чуть оробев,
На аллее в девичью ладонь.

Мальчуган

Пролетают тем же древним клином
Журавли, кричащие вдали.
У дорог, расхлестанных и длинных,
Тяжкий всхлип кормилицы земли.

Старый коршун одиноко кружит
Над холодным маревом бугров.
За стальным щитом автокормушек
Горькое мычание коров.

Что захочешь—выследишь и купишь,
И поешь...
Не зря на все село
Шпиль антенны, словно узкий
кукиш,
Высится уверенно и зло.

Забывая раны и утраты,
Танки, самолеты, корабли,
Пулею не срезаны солдаты,
Водкой захлебнулись, полегли...

Ни ограды нету, ни калитки,
Тишина погоста глубока.
Скоро забуранят пирамидки
Русские седые облака.

И еще: как новое явленье
Старой службы — что ни день
в бегах —
У крыльца колхозного правленья
Мальчуган в отцовских сапогах.

Бегут облака

Владилену Мешковцеву

К тебе, и товарищ и брат
За каменною грядою,
Бегут облака чередою,
И нет им в дороге преград.

А тут что ни день — колгота,
Обязанность,
необходимость.
И грубость, и сердца ранимость,
И осень уж больно не та.

Дороги в лесах развезло.
Сады затопило туманом.
И прет самогонным дурманом
От ветра, хрипящего зло.

Я вышел вчера на бугор,
В просторе, и мокром, и мглистом,
Пугал он то воем, то свистом,
То прятался в дебрях, как вор.

И было непросто глядеть:
В долине луна полыхала,
И русское поле вздыхало —
Кручинушку некуда деть.

Безлюдны деревни давно.
И лишь неуемная трасса
По воле рабочего класса
Клокочет огнями в темно.

Когда по Уралу, мой друг,
Сверкнут облака опереньем,
Пусть утро одарит терпеньем,
И солнечно станет вокруг.



Панорама мнений

РЫНОК: ПАНАЦЕЯ ИЛИ ЛОВУШКА?

Предстоящий через несколько месяцев переход к рыночной экономике — без сомнения, самое значительное событие в послевоенной истории страны. Новые социальные условия (в том числе жестокзя борьба за «место под солнцем» и безработица — для миллионов неудачников), новые жизненные стандарты и идеалы, новые — так до сих пор и неизвестно, во сколько раз возрастающие — цены. Словом, ломка всего привычного строя жизни, а во многих случаях, видимо, и ломка человеческих судеб.

А между тем эти грандиозные изменения почти совершенно не обсуждаются на страницах нвшей «плюралистической» прессы. Экономисты, политологи, журналисты ограничиваются единогласными похвалами в вдрес «рынка», предпочитая не вдаваться в детали. Что принесет нам рыночная экономика, плюсы и минусы новых отношений — все это, как ни странно, до сих пор не стало предметом серьезного обсуждении. Нас (то есть сотни миллионов людей, населяющих Советский Союз) призывают «зажмуриться» и «прыгнуть в неизвестность», как замысловато выразился политический обозреватель «Правды» Е. Гайдар. Наверное, ни одна читательская аудитория в мире еще ие слышала подобных призывов. А ведь материал Е. Гайдара опубликован отнюдь не в юмористической рубрике...

Внимание к проблемам человека из народа, боль за его бытовую неустроенность всегда отличали журнал «Наш современник». Он первым выступил против планов повышения цен, провозглашенных правительством еще в 1987 году, считая, что они катастрофически ухудшат положение подавляющего большинства населения. Хотя в то время, напомним, речь шла о куда более скромном росте цен, чем предлагают нам ныне.

Редакция считает необходимым всесторонне обсудить такой кардинальный шаг, как переход к рынку. До конца года предполагается опубликовать ряд материалов, принадлежащих перу авторитетных экономистов (среди них профессор А. Сергеев), историков науки, публицистов, богослоаов.

Будут рассмотрены всевозможные последствия предлагаемых реформ — экономические, социальные, нравственные, философские. Совпадают ли интересы «среднего класса» и простых тружеников с интересами подпольных миллионеров, рвущихся легализоввть украденные у народа деньги; что ожидает страну — судьба сверхбогатых держав Запада или нищета капиталистических стран «третьего мира»; совместимы ли идеалы, лежащие в основе рыночной экономики, с традиционным самосознанием русского народа — вот лишь часть проблем, исследуемых нашими авторами.

«Всё так, — возраант читатель, привыкший к девальвации высоких слов, — можно сколько угодно рассуждать, но достаточно сравнить наши пустые полки с витринами западных магазинов, чтобы убедиться в преимуществах рынка, причем

именно капиталистического». Думаем, что наиболее авторитетным в данном споре будет слово западных ученых и предпринимателей, научивших капитализм изнутри. Поэтому мы открываем новую рубрику — «Панорама мнений. Рынок: панацея или ловушка?» — тремя письмами из-за рубежа.

Автор одного из них — доктор Зигфрид Паузванг, научный сотрудник Института Кристиана Мишельзена в Бергене (Норвегия). Его перу принадлежит несколько книг о жизни стран «третьего мира».

Альберт Жозеф Ламбер — бельгийский гражданин, известный конструктор-изобретатель в области теплоэнергетики, основатель и научный руководитель фирмы «Циркофлам» (Франция). Он автор более 140 изобретений, за некоторые из них удостоен первых премий и гранд призов во Франции. В Советский Союз приехал в поисках промышленного сотрудничества с советскими предприятиями и выступает от имени своей фирмы учредителем крупного совместного советско-французского предприятия с широкой программой в области замены традиционных видов топлива более калорийными и экологически чистыми.

Письмо Александра Беляева, нашего соотечественника, живущего в Австрии, мы перепечатываем из газеты «Литературный Иркутск». Материалы даются в сокращении, поскольку их авторы затрагивают и ряд проблем, не связанных с рубрикой журнала.

Наши зарубежные корреспонденты видят все недостатки советской экономики. В то же время им открыты те иррациональные стороны экономической системы Запада, о которых не имеет достаточно полного представления массовый советский читатель. Сопоставляя и размышляя, а подчас и предостерегая нас, избегая дешевых пропагандистских клише и журналистских стереотипов, авторы из-за рубежа начинают столь важный сегодня разговор, который в конечном счете позволит читателям получить достоверное и полное представление о рыночной экономике.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ

(АВСТРИЯ)

«ПРИДИТЕ И ВЛАДЕЙТЕ НАМИ»

Судя по сообщениям немецкой прессы, Советский Союз обратился к Соединенным Штатам с беспрецедентной просьбой — научить, как оздоровить экономику и финансы в связи с желанием перейти от плановой системы хозяйствования к системе «свободного» рынка.

Не будем касаться понятий «собственной гордости», это уж совсем надо опустить руки, чтобы к кому-либо с подобной просьбой обращаться. Дело, как говорится, хозяйское, однако, живя за границей и зная хорошо все стороны «свободного» рынка, как производительную, так и потребительскую, я бы хотел предостеречь вас от выбора учителей.

Почему вы решили, уважаемые земляки, что американцы станут помогать вам в ущерб своему положению сильнейшей сверхдержавы? Это только на первый взгляд, руководствующийся христианскими заповедями, кажется, что любой крепкий хозяин должен быть заинтересован в столь же крепком соседе. Современный мир с его конкурентной системой таков, что двойная мораль в отношениях даже между союзниками стала делом обычным, а уж между вероятными противниками, каковыми долгое время оставались и все еще продолжают оставаться СССР и США, связи крепятся отнюдь не христианскими заповедями. Или вы забыли, как во время второй мировой войны сразу после Курской битвы американцы, вопреки соглашениям, резко сократили по «ленд-лизу» поставки техники: один противник был обречен, но после победы в войне на мировой арене появлялся новый противник, и союзники из-за океана уже тогда начали работать над его ослаблением.

Нужно, право, быть наивным политиком или сознательным американофилом, не ценящим существование своей собственной страны как политически независимой единицы, чтобы припасть к стопам того, кто трудился над твоим обескровливанием.

Старая теория Клаузевица — «война есть инструмент политики» — мертва. Процесс развития социальных отношений и доминирующая роль финансового капитала в индустриальных странах привели к тому, что экономика стала командным фактором над политикой и, следовательно, над войной. Правительства всех так называемых капиталистических стран, чтобы удержаться у власти и усилить мощь своих государств, прежде всего заботятся о проведении экономической программы. И только у вас экономика была принесена в жертву политике, ваши недалекие лидеры пренебрегли не только благосостоянием своего народа, но и будущей ролью страны в мире. Сейчас это будущее превратилось в настоящее, но, расхлебывая горькую кашу, заваренную вашими предшественниками, следовало бы не повторять их ошибок и не думать только о сегодняшних проблемах. И тем более, не проверив намерений, не бросаться в объятия только потому, что они готовы распахнуться.

Думаю, что в Советском Союзе большинство людей имеет недостаточно ясное представление о существующей в капиталистических странах системе «свободного» рынка. Эта система создавалась там десятками лет, а в некоторых случаях столетиями. Она начинала функционировать и в дореволюционной России, затем недолго — в период нэпа, однако затем... вы знаете, что было дальше. Когда частная собственность отсутствует десятилетиями и полностью отмирает вся ее функционально-сосудистая сеть, переход на «свободный» рынок не так прост, как может показаться. Принятие закона о легализации купцов не означает, что появятся товары. Вы в этом убедились. Товарам нужно откуда-то взяться, нужны условия для их дополнительного производства сверх государственного сектора, а такие условия с бухты-барахты не появляются. Потому и произошло то, что должно было произойти, — началась перекачка товаров из государственной торговли в частную и продажа по спекулятивным ценам. И это понятно: купец есть, купец живет за счет торговли, и он, чтобы торговать, пойдет на любые противозаконные и противоморальные действия и внесет свою полновесную долю в «теневую» экономику. Законами о ценах спекуляцию не прекратить, они имеют обыкновение падать с ростом товаров.

Поскольку создать изобилие, необходимое «свободному» рынку, в одну ночь нельзя, то и самая идея такого рынка должна быть приспособлена к существующим условиям. Уж если копировать Америку, то копировать с умом. В США система «свободного» рынка состоит из двух главных элементов — производительного и торгового, фирмы, производящие товары, в том числе огромные корпорации, как правило, не имеют собственной торговой сети и поставляют продукт своей деятельности в централизованную торговлю, осуществляющую посредничество между производителем и покупателем.

Вам не следует разрушать установившуюся систему торговли и подрывать ее грязной инициативой кооператоров. Но, постепенно создавая условия для частного производительного сектора, снабжая его капиталом, сырьем, помещениями и правом нанимать рабочие руки, можно принудить частника сдавать выработанный им товар в государственную торговлю по ценам, устанавливаемым контрольными органами. Это неприятная для частника мера, и ее нужно рассматривать как временную — до достаточного насыщения товарами и для борьбы со спекуляцией.

* * *

Арендный подряд не решит сельскохозяйственную проблему. Людям свойственно, обжегшись на молоке, дуть на воду, и даже при идеальном проведении подряда они не верят в его долговечность и относятся к нему с опаской. Об идеальном же, насколько мне известно, и речи быть не может; расстройство системы снабжения и поставок плюс ослабление руководства на низах да плюс молчаливое сопротивление установившегося десятилетиями порядка создают для арендатора «беличье колесо» еще до того, как он начнет обрабатывать землю. Чтобы арендовать земельный отруб, хотя бы минимальный, нужны деньги — где их взять? Предположим счастливый случай: дал ссуду банк — где взять технику? Чтобы производительно заниматься трудом, нужен дом на отрубе — где взять для строительства материалы? А транспорт как для работы, так и доставки продуктов на рынок? Таким образом, нужны не только десятки и сотни тысяч рублей, которых банк не даст, но еще и товароспособная система снабжения.

Несмотря на то, что самая идея частного предпринимательства в сельском хозяйстве — единственный выход из аграрного кризиса, условия Советского Союза опять-таки особые и не могут быть подведены под шаблон существующих на Западе структур. Если вы хотите наладить производство продуктов питания, вам придется рано или поздно возвращать землю крестьянину. Для этого, разумеется, нужен закон, но для этого необходимы еще следующие условия:

а) введение отрубной, или хуторской, системы (вспомним Столыпина и главное дело его жизни). Желающие взять отруб получают его бесплатно, но без права продажи;

б) государство снабжает отрубщика необходимой техникой (для этого можно в спешном порядке переоборудовать часть военных заводов), опять же без права продажи, но с обязательством ухода и ремонта, помогает ему поставить жилой дом и производственные помещения;

в) отрубщику предоставляется право во время посевной, сенокоса и уборки привлекать наемный труд, с оплатой по взаимному соглашению;

г) на первых порах он освобождается от каких бы то ни было налогов или они должны быть минимальными;

д) отрубщик обязуется поставлять зерно и другие произведенные им продукты на определенные приемные пункты по ценам, справедливо устанавливаемым правительством (лучше не ниже мировых).

Можно возразить мне, что это обойдется дороже, чем закупка зерна за границей. Однако надо иметь в виду, что зерно вы завозите за валюту, выкачивая свои сырьевые запасы и постоянно год от года наращивая при этом объемы закупок, а земельная реформа, допускающая частную собственность, очень скоро начнет приносить богатые плоды и оправдает все затраты.

* * *

Непонятно, почему советские экономисты не могут понять простой истины и в этой истине прийти к общему выводу с руководителями финансов: существующая в стране валютная система — главный тормоз для развития производительных сил. Установленная кем-то двойная денежная система свела к нулю покупательскую способность рубля. Попробуйте из Шереметьева за советские деньги доехать до центра Москвы — таксист с негодованием отвернется или заломит такую сумму, что она в конце концов даст ему возможность на «черном» рынке получить ту же самую иностранную валюту. Как говорится: слезай — приехали. Ни в одной стране, кроме социалистического блока, ничего подобного нет. Но ваша страна — богатейшая в мире, и неужели ее правительство не в состоянии принять меры против того, чтобы народ работал за деньги, которые не настоящие?!

С началом перестройки и разрешением кооперативной деятельности развилась спекуляция, которая неизбежно привела к инфляции рубля, а последняя, в свою очередь, способствует более бешеной спекуляции. Естественно, население стало возмущаться частной машиной вздувания цен. Последовал закон, регулирующий кооперативные цены. Верно, такой закон нужен, но почему в таком случае для укрепления рубля не появился закон, который бы запретил циркуляцию иностранной валюты? Почему не предпринимается у вас ничего, чтобы сделать рубль конвертируемым? Или такое положение с двойной денежной системой кому-то выгодно?

Газеты писали, что недавно советские финансисты консультировались с мистером Гринспаном, директором Федерального Резервного банка США. Какие советы давал вашим коллегам мистер Гринспан, газеты не писали, но нетрудно догадаться, что эти советы были не в ущерб американской валюте. Хождение доллара на территории огромной страны, второй супердержавы, дает США не только экономическую выгоду, но делает и полухозяином финансовых операций в вашей стране. Если это кому-то и надо, то не вам.

Мое резюме категоричное: пока не будет запрещена циркуляция иностранной валюты на территории СССР, пока не будет создан Банк для обмена чужой валюты на твердую свою, пока не защитите вы рубль от унижений (не после ли консультаций с именитым американским финансистом доллар в советских банках стал приниматься в десять раз дороже его официального курса?) — до тех пор ваша экономическая перестройка будет топтаться на месте, а затем постепенно начнет сползать обратно.

* * *

Я и сам понимаю, что советы давать легче, чем следовать им, но рассчитываю и на ваше понимание: мои заметки вызваны недоумением от неуверенных и ложных шагов, которые предпринимаются на моей родине. Неужели в действительности так оскудела специалистами и работниками огромная страна, что надо обращаться за путеводством за океан? Отсюда, где я живу, быть может, лучше видно, что тем самым, хотите вы того или нет, вы недвусмысленно предлагаете, как встарь: придите и владейте нами.

ЗИГФРИД ПАУЗВАНГ
(НОРВЕГИЯ)

ДОРОГА В НИКУДА

Сегодня в гораздо большей степени, чем когда-либо раньше, наша планета стала единым и весьма ограниченным пространством для жизни человечества и нуждается в его постоянной опеке. Если близость от СССР мы уже испытываем на себе в Норвегии, ибо после аварии в Чернобыле вынуждены значительным образом изменить привычки в питании, то происходящее в Чили, Камбодже или Эфиопии также отразится на жизни всех землян, пусть большинство из нас и не ощутит этого немедленно. Еще одно срубленное дерево, еще одна машина, отравляющая воздух, оказывают свое влияние на общую экологическую ситуацию. Любая утечка на атомной электростанции или ядерный взрыв ведут к росту уровня радиации на всей Земле.

Это так же верно, как и то, что каждый цент увеличения заработной платы в развитых странах способствует еще большему углублению пропасти между богатством и нищетой на всем земном шаре. С одной стороны, например, Соединенные Штаты Америки со средним доходом на душу населения, превышающим десять тысяч долларов в год, с другой — беднейшие государства «третьего мира», где такая сумма приходится более чем на сто жителей, где ежегодно от голода умирают миллионы наших собратьев.

В каком подчинении и взаимосвязи находятся эти проблемы? Как могут повлиять на них последние события в Советском Союзе и других социалистических странах?

БЕСПЛАТНЫХ ПИРОЖНЫХ НЕ БЫВАЕТ

Перестройка в Советском Союзе и последовавшие за ней демократические сдвиги в Восточной Европе широко приветствуются всеми прогрессивно настроенными слоями общественности. В обстановке всеобщей эйфории мало кто задумывается над тем, к каким последствиям для всех нас могут привести эти изменения. И на Западе и на Востоке люди явно застигнуты врасплох, скорее склонны уповать на Господа Бога, нежели попытаться разобраться в истинном положении дел.

Западный образ жизни и рыночная экономика рассматриваются большинством политиков и экономистов как единственно возможный путь решения проблем, накопившихся в СССР и других странах Восточной Европы. Но так ли мы хорошо знаем наших пусть и близких соседей, да и самих себя, чтобы давать такие безальтернативные советы?

Это незнание друг друга играет над нами злую шутку. На Западе большинство людей наивно думают, что все, так или иначе относящееся к социализму, плохо, и единственный путь, чтобы улучшить жизнь в странах Восточного блока, — это принятие западной модели развития. У меня такое чувство, что и у вас многим не удалось избежать подобного заблуждения. Я понимаю, как трудно вам сегодня. Это и гнет бюрократической машины, и пустые прилавки, и многие другие не менее тяжелые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни.

В то же самое время ваш народ знает об изобилии наших супермаркетов и о больших возможностях для личности на Западе. Не удивительно, что «другая» система кажется более предпочтительной и издалека представляется единственным средством решения собственных проблем. Под гнетом своей повседневности вам нелегко разглядеть, что и мы сталкиваемся с не менее серьезными проблемами и опасными тенденциями. В свою очередь, по тем же причинам мы не можем отличить позитивные стороны вашей системы, которые вы сами можете и не замечать, стоя в очередях или безуспешно пытаясь достать нужный товар или лекарство.

Люди в социалистических странах хотят видеть реальные результаты перестройки: больше товаров на прилавках и больше денег, чтобы иметь возможность купить их. Имея перед собой пример нашего общества, они верят, что передача на откуп социалистической фабрики частному капиталу в форме смешанного предприятия будет способствовать более эффективному насыщению рынка. При этом почему-то забывается, что новым владельцам их фабрика нужна прежде всего для того, чтобы делать деньги. Они забывают, что теперь им самим нужно гораздо больше денег: ведь товар, произведенный на этой фабрике, придется покупать не по твердым государственным, а по рыночным ценам. Деньги станут большой проблемой. Компания же, наоборот, будет стараться платить поменьше, чтобы снизить свои издержки и выжить в конкурентной борьбе.

Конечно, некоторые слои вашего общества выиграют от такого «сотрудничества». Насколько мне известно, в СССР уже официально зарегистрировано более 1000 предприятий с иностранным капиталом. По опыту работы в африканских странах могу предположить, что появились и нувориши от «перестройки». Не знаю, как у вас, а там виллы и «мерседесы», а так-

же западный образ жизни компрадоров весьма заметен на фоне всеобщей нищеты.

Единственное, что я не могу уяснить себе, — как эти анклавы сумели встроиться в вашу плановую экономику, если у вас все — от станка до гвоздя — загодя расписано Госпланом? Если ресурсы даются одним, они должны быть взяты у других. Не предоставила ли ваша бюрократия совместным предприятиям приоритет над отечественной промышленностью?

Можно, конечно, решить ряд краткосрочных проблем и не прибегая к распродаже государственной собственности, а просто взять кредит у наших банков и купить то же продовольствие и ширпотреб. Знаю, что некоторые советологи предлагают вам даже получать кредиты под имеющуюся за границей недвижимость. Насколько мне известно, СССР не в состоянии эффективно использовать даже те товары, которые вы закупили, продав Западу нефть, газ, лес и другие традиционные статьи вашего экспорта. Что же теперь изменится в жизни простого советского человека? А впрочем, изменится. Ведь бесплатных пирожных не бывает. Любые кредиты и даже безвозмездная помощь могут сыграть негативную роль и еще больше обострить ситуацию, если нет порядка в собственном доме. Сегодня вас пугают — еще немного, и время будет упущено. Но стоит ли рисковать экономической самостоятельностью ради того, чтобы в спешке и суете перейти на рыночные методы хозяйствования? Да и что сулит и вам и остальному миру ваша гонка за давно ушедшим поездом?

Давайте на миг отвлечемся от сияющих витрин Запада и попытаемся разобраться в проблемах рыночной экономики под углом зрения тех задач, которые все более остро встают перед всем человечеством.

НЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ВЕЧНО...

Если рынок и является эффективным средством сбалансирования спроса и предложения, то это, увы, отнюдь не означает его возможность привести в соответствие покупательную способность и потребности населения. В условиях рыночной экономики те, у кого нет денег, могут голодать даже тогда, если на прилавках изобилие продовольствия. В Бангладеш во время голода 1985 года цены на продовольствие на внутреннем рынке значительно упали. Другими словами, люди умирали с голоду только потому, что у них не было денег, чтобы купить что-нибудь на рынке, где цены были ниже обычного уровня. По теориям, ратующим за свободный рынок, равнодействующая индивидуальных интересов в конечном счете соответствует интересам всего общества. Но на практике дело обстоит далеко не так просто.

Во-первых, рынок не предоставляет всем одинаковые возможности. Богатые могли и могут устанавливать свои правила свободной игры. Деньги дают власть на рынке, а экономическое могущество означает и политическое господство. Во-вторых, проблема заключается в том, что индивидуальные интересы преследуют, как правило, краткосрочные цели. Поступиться чем-либо сегодня или наслаждаться жизнью, предоставив расплачиваться за все будущим поколениям? Большинство людей предпочитают не ждать, пока синица вырастет до журавля. Рыночная экономика имеет тенденцию уступать все приоритеты сегодняшнему потребителю, оставляя вместо полезных ископаемых отравленный воздух и мертвые реки.

Второй дилеммой является проблема роста. В обычной жизни каждый индивид постоянно стремится к улучшению своего положения, стараясь увеличить свои доходы. Все ценности измеряются деньгами. В таком социальном климате любая идея о необходимости сокращения доходов является святотатством, ибо неминуемо рассматривается большинством как несправедливое наказание. Рост жизненно необходим для рыночной системы, ибо он накрепко вбит в сознание каждого индивидуума.

Однако рост не может продолжаться вечно. Весьма несложные расчеты наглядно показывают, что существуют конкретные пределы. Для того чтобы каждому жителю Земли обеспечить уровень жизни, достигнутый ныне в развитых странах, в течение 50 лет потребуется удвоить потребление всех ресурсов и увеличить производство энергии в 500 раз. Но возможно ли это? Ведь если так пойдет и дальше, то уже в предсказуемом будущем общий вес использованных человеком ресурсов может превысить вес самого земного шара.

Третья дилемма вытекает из неправильного представления о том, что ресурсы нашей планеты неисчерпаемы и природа имеет способность сама зализывать все раны, наносимые ей деятельностью человека. История человечества знает немало примеров, когда с лица Земли исчезали целые города и империи. Затем постепенно силы природы восстанавливались, и она была опять готова постепенно встретить человека. Однако сегодня все разумные пределы в потреблении ресурсов и в загрязнении окружающей среды уже давно пройдены человечеством. Потепление климата Земли, повышение уровня Мирового океана и появление озонных дыр в атмосфере — это лишь «первые ласточки» приближающейся бури.

Если мы в развитых странах задумаемся над тем, как ликвидировать разрыв между бедными и богатыми нациями, то увидим, что единственное решение (в том случае, если мы не хотим всеобщей экологической катастрофы) — уменьшение нашего собственного потребления. Но как это сделать при господстве тех жизненных ценностей и культуры, которую мы создали на базе рыночной экономики?

В качестве оценки личности и критерия успеха в нашем обществе выступает количество денег, которыми располагает

или зарабатывает тот или другой человек. Поэтому любое предложение, которое может привести к снижению уровня производства, большинство людей встречает в штыки, рассматривая его как угрозу персональной защищенности. В результате производство растет еще более быстрыми темпами, чтобы удовлетворить изощренные потребности тех, кто имеет деньги. В такой системе нет места для осторожности и самоограничения.

Все это ведет к четвертой дилемме — попытке решить задачу наполнения рыночной экономики социалистическим содержанием. Социал-демократы уже давно проводят политику перераспределения ресурсов, нивелируя пропасть между богатством и бедностью. Однако для того чтобы перераспределить ресурсы, их сначала нужно произвести. Наиболее простой выход — изыскивать необходимые ресурсы за счет увеличения темпов роста. Вместо того чтобы насильно экспроприировать их у богатых и перераспределять бедным, они используют лишь законодательные средства, направляя часть вновь произведенной стоимости на финансирование социальных программ развития. Это стимулирует дальнейший рост.

Но если нет роста, то нечего и распределять. На пути традиционной политики социал-демократов появился ряд неразрешимых проблем, вызванных необходимостью сокращения уровня потребления. Никто из них не знает, как распределять негативный рост. Этим в значительной степени и вызван кризис современной социал-демократии. Консервативные и либеральные партии Запада стараются стимулировать экономический рост, игнорируя опасные для всего человечества последствия, к которым неминуемо приведет эта безрассудная политика. Социал-демократы в некоторых случаях пытались провести ряд мер по сокращению неоправданного потребления, но они не имели успеха.

Когда мы рассматриваем эту новую историческую дилемму, то отчетливо видим, что Швеция, так же как США или Англия, не может служить в качестве модели развития. Ни здесь, ни там не располагают готовыми рецептами, как осуществлять распределение доходов при нулевых или отрицательных темпах роста производства. Найдено лишь временное решение, которое, увы, не спасет нас от всеобщей экологической катастрофы.

Борис Ельцин, наверное, выразил детскую мечту многих в СССР, когда во время своего визита в США он провозгласил американское общество образцом для его собственного народа. Но разве рыночная экономика может рассматриваться в качестве образца до тех пор, пока мы не найдем рецепты, которые бы позволили западному обществу потреблять в соответствии с нашей долей в общих природных запасах Земли и обеспечить такой уровень выбросов в окружающую среду, который природа смогла бы легко компенсировать своими силами? И если копия всегда хуже оригинала, то почему рынок должен уготовить СССР судьбу ФРГ или Японии, а не Бангладеш?

А теперь давайте посмотрим под этим углом зрения на последние события в СССР, Восточной Европе, Китае и других странах, затронутых перестройкой. Если дело здесь пойдет таким образом, что увеличение потребления не будет сопровождаться адекватным сокращением расходов на оборону, нам не избежать нового качественного скачка экономического роста, а следовательно, резкого увеличения расходов энергии и других ресурсов. Это резонансом отразится и на западной экономике, создав там новый промышленный бум. Все это звучит парадоксально, но если Советский Союз, а через несколько лет и Китай добьются значительных успехов в сфере гласности и перестройки, которые будут означать бесконтрольное развитие рынка, то при сохранении нынешних мировых тенденций мы вряд ли сумеем избежать экологической катастрофы. Ведь единственным выходом из создавшейся ситуации является сокращение уровня потребления в наиболее развитых странах.

Нашим долгом является предупредить вас, что мы не готовы сократить уровень нашего потребления, и какие бы песни ни пели наши политики в адрес «перестройки», мы, увы, еще далеко не способны проявить по отношению к вам истинную солидарность. Если вы выберете неверный путь, ваши новые свободы лишь ускорят приближение всеобщего апокалипсиса.

Но у меня все же теплится надежда, что события в Восточной Европе в конце концов приведут к более полному пониманию проблем западных обществ. И было бы глубочайшей трагедией, если те же самые силы, которые могут еще сегодня помочь всему человечеству, лишь усилят ту систему, от которой ему необходимо избавиться.

НАЙТИ СЛОВО

«Социализм мертв, ему уже никогда не подняться...» — торжествует член правительства ФРГ. Последние события, заявляет президент Джордж Буш, доказали, что экономическая система США является наиболее приемлемой для всех стран и народов мира. Американские ученые уже нарисовали всемирную картину, где есть место лишь рыночной экономике, олицетворяющей собой демократию, гуманизм и американский образ жизни, и социализму — строю, где господствует тоталитаризм, угнетение, экономическая стагнация и нищета народных масс.

Но наш мир не так уж прост. И мертв отнюдь не социализм, а только первая практика социализма. История действительно полностью дискредитировала политическую систему, которая от имени социализма сконструировала тоталитарное государство. Сталинизм или коммунизм. Не все ли равно, как называть эту античеловеческую систему? Ну, а если она олицетворяется со словом социализм, тогда надо найти нужное слово, придумать новое название обществу, основан-

ному на идеалах солидарности, равноправия и братства. Может быть, это само по себе заставит людей поискать новые альтернативы социального развития?

Мы должны найти новые пути, чтобы стимулировать индивидуальную инициативу и энтузиазм для такого производства, которое бы ограничивало бы само себя в удовлетворении потребностей человека в тех пределах, которые отпустила нам природа. Это будет означать не ослабление государственного контроля, а больший демократический контроль самого государства, большую власть народу и меньшую — аппарату, путем демократического решения вопросов на местах теми людьми, кого в первую очередь затрагивают эти проблемы. Только такая демократизация позволит людям обрести чувство ответственности за их действия на местном политическом уровне и большее понимание того, что происходит в более высоких политических сферах. Новая экономическая концепция должна быть построена на другом принципе, нежели частная конкуренция. Это не означает падение уровня жизни или сокращение в удовлетворении потребностей. Но это приведет к сокращению наиболее расточительных производств. Новый подход позволит объединить все наши способности в деле достижения гармонии между деятельностью человека и восстановительными возможностями природы.

Поиск новых альтернатив. Если мы все осознаем приоритетность этой общечеловеческой задачи, то в нашем мире найдется достаточно места, где развивающиеся страны строили бы собственную экономику без угрозы угодить в долговую яму и не разбазаривали за бесценок свои природные богатства. Запад искал бы пути ограничения гипертрофированного потребления, а вы продолжили бы поиски такой системы, где бы частная инициатива сочеталась с лучшими сторонами вашего образа жизни, где бы рынок был поставлен на службу социализму.

АЛЬБЕРТ ЖОЗЕФ ЛАМБЕР
(БЕЛЬГИЯ)

ПОЗНАНИЕ И ВЫБОР

Немедленная прибыль стала единственным правилом жизни капитализма. Биржевые лихорадки являются ее жестоким отражением. Целые состояния сколачиваются и исчезают на биржах. Кого это заботит? И кто от этого теряет? Когда мощные предприятия вкладывают свою энергию в биржевые спекуляции, вместо того чтобы вкладывать ее в исследования, в успехи в подготовке кадров, в оборудование, это похоже на сумасшествие. Представим себе, что финансовое положение предприятия, выпускающего потребительские товары, будет зависеть лишь от стоимости его ценных бумаг. Учитывая значение этих бумаг, котирующихся на бирже, для определенного числа простофиль, ищущих легких денег, все внимание предпринимателя и его лучших кадров будет поглощено одним — необходимостью повысить стоимость своего пая. И поскольку это становится навязчивой идеей предпринимателя, он будет скупать по любой цене пай одного или нескольких других предприятий. Это позволит ему вписать в отчет весьма заманчивые цифры прибавочной стоимости и представить прибыль, основанную на недвижимой и нематериальной прибавочной стоимости.

Таким образом, с помощью канцелярских хитростей предприятие усиливает свой вес, выкупая пай других предприятий, которые в свою очередь выкупают пай первого, и так далее.

Это змея, которая пожирает свой хвост, чтобы утолить голод. Это царство утопии — сумасшедшая система, которая иногда устремляется вперед и которую часто заносит. Капиталисты сошли с ума. Они занимаются самоубийством и ведут мир к банкротству. Добавим к этому явлению проблему «третьего мира», где частные банки дали под невероятные проценты деньги их частных клиентов в обмен на ничего не стоящие бумаги. Эти бумаги продаются другим банкам под негативный или позитивный процент в зависимости от состояния страны-заемщика, и эти банки сами предохраняются от займов теми же бумагами. Легко понять, что, если страна-заемщик отказывается платить, ввиду своей неспособности это сделать, вся система рушится.

Каковы же причины этой неплатежеспособности?

С одной стороны, процентные ставки слишком высоки. Они были определены в период эйфории, нефтяной или какой-либо другой (и всегда в расчете на немедленную прибыль). С другой стороны, предприятия заботятся больше о том, чтобы как можно выше котироваться на бирже, чем о состоянии своего оборудования и цены на сырье (которое, хотим мы этого или нет, является частью средств производства) падают. Страны-заемщики продают по низким ценам сырье, которое предприятия отказываются хранить, потому что их энергия направлена на повышение их акций на бирже, а не на сбалансированность рынка сырья.

Все это лишено всякой логики. Ценность западных предприятий и, следовательно, валюты завышена.

Это иррациональное равновесие зиждется на лжи и обмане. Предприятие считается «здоровым», если его акции хорошо котируются на бирже. Тогда любой банкир готов поверить в него. Не имеет значения, что его продукция больше не пользуется спросом, что традиционные поставщики ушли и что его оборудование уже устарело: престиж предпринимателя и предприятия зависит от того, какова величина пая (доли).

То же самое относится к банкам и государствам: количество ценных бумаг, а следовательно должников, определяет качество валюты.

Тот факт, что эти должники поддерживаются искусственно, не имеет большого значения — сейфы забиты бумагами, печатный станок работает, и предприятия улучшают свое положение на бирже. Что может быть более идиллическим? Система работает впустую, но работает. Сколько времени это еще будет длиться?

В то же время цены на сырье упали до самой низкой отметки, инвестиции остановлены. Мы движемся на когда-то достигнутой скорости и с мощными тормозами — я имею в виду недовольство бедных стран, которые искусственно поддерживаются в этом состоянии. Кого это волнует?

Конечно, был коммунизм, который попытался ответить на эти вопросы. Он вообразил, что эти производители сырья смогли бы после революции и перераспределения власти снова стать хорошими производителями сырья и дать, таким образом, новое дыхание, новую силу коммунистической экономике.

Но этого не произошло. Да иначе и не могло быть. Пренебрежение некоторыми основными правилами не проходит безнаказанно. Эти правила гласят, что у человека есть не только права. У него есть также обязанности. Хартия прав человека без хартии обязанностей человека просто нонсенс. Осуществление права предполагает выполнение обязанностей. Научить человека брать на себя ответственность, дать ему возможность сделать это — не это ли основная социальная обязанность? Не зависит ли способность общества к развитию от людей, сознающих ответственность за его становление?

С одной стороны, капитализм обеспечил себе невероятный рост финансовой активности. С другой — коммунизм уже устал помогать народам, ставшим безответственными. Эта пропасть быстро увеличилась. Вернее сказать, пропасть между капитализмом и коммунизмом становилась необратимой. В то же время мир переживает демографический взрыв. Разношерстные демагоги освобождают предприятия от ответственности, позволяя им отравлять почву, недра и атмосферу не только сегодня, но и завтра.

Нашим политикам на это наплевать. Конституции дают им право на «законную безответственность» при исполнении официальных обязанностей. Транснациональные компании и другие финансовые гиганты прекрасно защищены от гнусностей какого-нибудь санкюлота. Игральные кости подделаны, фигуры разбросаны. Что бы ни случилось, выживание обеспечено. Настоящий островок золотых в океане долгов.

Конечно, есть несколько «зеленых», которые призывают к здравому смыслу во имя будущего человечества. Есть какие-то народные движения, которые дают основание считать, что «зеленые» в Германии могут иметь определенный политический вес. Из-за этого стоит согласиться с поведением этого сумасшедшего корабля.

С одной стороны, происходит безумная погоня за прибылью. Но с другой — наблюдаются проявления коллективного страха. Европейские партии переживают глубокие реформы. Больше нет настоящих правых. Есть социал-демократы, либерал-социалисты, левые и правые католики и, в изоляции, несколько неонацистов и консерваторов, боящихся даже своей красноватой тени.

Безумная машина тормозит сама себя — «зеленые» не имеют успеха, но экология вошла в программы всех партий, и правых и левых.

Решения существуют и могут быть реализованы. В конце концов они заставляют признать себя и лечат эти формы спида планеты Земля. Не все плохо. Нет причин быть пессимистом. Ну, может быть, только слегка озабоченным.

Озабоченным тем, что время идет слишком быстро и что сроки платежа слишком близки. Я имею в виду критический момент загрязнения и ухудшения состояния атмосферы. Я имею в виду этот период слишком теплых зим, нездорового лета, подъема уровня воды в океане, эту опасность смятения во многих умах, которое поможет лжепророкам прийти к власти благодаря демократии.

Речь идет об опасности того, что слишком много усилий уйдет на попытки устранить следствие, забывая о причинах. Нужно новое равновесие, чтобы достичь континента познания.

Новое равновесие придет почти наверняка из Старого Света, который некоторые светлые головы поторопились скинуть со счетов.

От периода безумной молодости человечество приходит к возрасту зрелости. Иллюзии исчезают, безрассудные мечты гаснут и над причудливыми декорациями встает заря мудрости.

Нет необходимости играть в предсказателя бед, чтобы представить мрачный сценарий. Самое печальное — это то, что мы рискуем испытать «прелести» целой серии катаклизмов, последствия которых наложатся друг на друга.

Первый из них, который надвигается на нас в течение жизни нынешнего поколения, — нарушение теплового равнове-

сия на планете. Мы самые настоящие дети. У нас нет элементарной логики. Мысль о том, что следует восстановить озоновый слой, уменьшив производство CO_2 и производя одновременно энергию, не пришла еще ни к одному из наших замечательных ученых. Тем не менее такая технология существует. Но кого она может заинтересовать, когда в моде атомные электростанции, которые следует окупить во что бы то ни стало.

Мы учили мудрости и осторожности, но это бесполезно: остальные просто идиоты. У нас лучшие атомные станции, и Чернобыль у нас невозможен. Вероятность катастрофы равна 1 на 10 000 000... 000. Идиотизм и фанфаронство аферистов от науки. Правда состоит в том, что никто не знает, когда первая атомная станция в Бельгии, во Франции, в Америке или где-нибудь еще взлетит на воздух. Никто не знает, сколько жертв повлечет за собой этот взрыв. Почему? Мы делаем вид, что это нас не волнует, и просим слишком щепетильных инженеров поехать отдохнуть, чтобы не тревожить публику слишком кричащими заявлениями.

Но, разбив градусник, мы не сбавим температуру. На десятках атомных електростанций коррозия съедает системы охлаждения. Остается только надеяться, что катастрофы не пойдут одна за другой. И все это потому, что миллиарды, вложенные в эти станции, должны окупиться.

Просто представим себе в этой обстановке биржевой эйфории, что какая-то атомная станция взлетает на воздух (в какой-то момент у меня было искушение рассказать сценарий катастрофы, который один известный университет смоделировал для одной бельгийской атомной станции. Но потом я подумал: зачем? Итак, станция взрывается. Что интересно на наших станциях, это то, что крышка, которая их закрывает, настолько прочна, что цепная реакция, идущая вслед за взрывом, не может вырваться наружу. Она вынуждена уходить в землю (то, что называется «китайский синдром»). И там произойдет то, что должно произойти. Эта реакция вызовет заражение подземных водоносных пластов (вода, которую мы пьем), и продолжит свою безумную гонку по самому легкому пути (не обязательно по прямой), подобно огромному дьявольскому шару, который проникает, вызывая последствия, которые легко предсказать, повсюду, куда поведут его тектонические пласты. Но не это наша тема. Настоящая тема то, что помимо человеческих и других жертв это вызовет волну протеста против использования атомной энергетики, вынудив транснациональные корпорации закрыть свои станции и объявить об их банкротстве. Но эти самые корпорации участвуют в этой игре бумаг, и если одно звено цепи ломается, то рушится вся система.

Все это утомительно, невероятно утомительно. Зачем говорить и повторять, что разрушаются три равновесия: тепловое, энергетическое и финансовое равновесие мировой экономики. Это очень серьезно, и если добавить к этому, что эти равновесия будут разрушены в очень короткий срок — где-то в ближайшие 10 лет, то настал момент задать вопрос: а что же делать? И это в надежде на то, что хотя бы политическое равновесие сохранится. Что, кстати, еще не доказано...

Можно многое сказать по поводу этих разрушающихся равновесий, можно дать много объяснений, предостережений и решений. Но, рискуя быть плохо понятым, я полагаю, что это лишь незначительное звено, которое подтверждает верность общей теории — теории перехода от знаний к познанию. Или, точнее, жизненной необходимости перехода от знания к познанию.

Где нарушения равновесия приобретают сегодня особую остроту? Конечно, на Западе. Африка, Азия, а также Восток будут персонажами лишь в части этой драмы.

1. Недрам Западной Европы грозит смертельная опасность. Рано или поздно нам придется рассчитывать на сырье из Восточной Европы.

Может быть, есть смысл в том, чтобы восточноевропейское сельское хозяйство сохранило свою бедность и чистоту. Органические и химические удобрения не могут широко применяться повсюду. Сохраним по крайней мере эту часть нашей Европы и продолжим, может быть более разумно и с лучшим знанием возможных последствий, наше интенсивное земледелие. Мы будем производить продукцию для всех, зная, что продукты питания Запада будут компенсированы чистотой воды с Востока.

2. Рассеивание атомных отходов в якобы сверхпрочных контейнерах (саркофагах) является поразительной глупостью. Эти отходы будут представлять радиоактивную опасность в течение сотен тысяч лет. За этот срок все может произойти. Контейнеры могут быть раздавлены, они могут саморазрушиться, освобождая атомные отходы.

Вот отравленный подарочек для наших детей, внуков и правнуков. Было бы более разумно оборудовать для этого обширную территорию, под совместным контролем атомных держав. Это хранилище должно быть спроектировано таким образом, что при любой катастрофе атомные отходы будут в безопасности. Любые операции по захоронению или их извлечению должны быть автоматизированы. Так как если завтра, что очень вероятно, будет найдено решение проблемы уничтожения атомных отходов, — кто пойдет на дно океана или в гроты, или еще бог знает куда, чтобы извлечь эти источники смерти?

Очевидна необходимость разработки альтернативных источников энергии. Чтобы, по крайней мере, иметь возможность как можно скорее заменить атомные станции первого поколения на экологически чистые тепловые электростанции, какова бы ни была их стоимость. С другой стороны, следует лишить воротил финансового мира возможности управлять тепловыми электростанциями. Мир должен иметь право питаться, дышать, располагать различными источниками энергии. И было бы опасно, если эти основные права будут зависеть от нескольких аферистов высокого полета, но очень низкой морали.

3. Газовые выбросы. Это любимый конек очень многих. Атмосфера загрязнена — значит, виноваты автомобилисты. Заводские трубы оборудуются специальными фильтрами, выпускные коллекторы снабжаются каталитическими фильтрами... но загрязнение продолжается. И снова мы пытаемся бороться с последствиями, забывая о причинах. Нам следует срочно взяться за разработку нового поколения систем сгорания, провести исследования в области сгорания и дожигания, с тем чтобы как можно быстрее применить полученные результаты на всех уровнях — от двигателя внутреннего сгорания до доменных печей. Таким образом мы сможем перекрыть источники CO_2 и к тому же располагать большим количеством калорий (энергий) при меньшем потреблении.

4. К этому следует добавить сжигание промышленных и бытовых отходов:

а) пока человек потребляет, он будет производить отходы, большинство которых поддается сгоранию. Необходимо также, чтобы это сгорание не загрязняло атмосферу;

б) рациональное использование сжигания и дожигания поможет не только избежать загрязнения, но и получить большое количество «бесплатных» калорий.

5. Но мы не можем говорить о промышленных и бытовых отходах, не затрагивая проблему рек. Стоки сделали безжизненными не одну реку. Туда стекает все — от окиси свинца до пестицидов, принося медленную смерть морям и океанам. Следует составить опись всех этих токсичных бытовых и промышленных отходов, с тем чтобы запретить все вредные небиоразлагающиеся вещества. В промышленности жидкие отходы должны подвергаться тщательной обработке, прежде чем попасть в стоки.

Не будем забывать, что Западная Европа и некоторые другие регионы с интенсивным производством держат печальное первенство в области отравления подземных вод в течение жизни одного поколения.

Нам скоро останется попробовать очищать через фильтры воду наземных бассейнов. Но если мы не перестанем с сегодняшнего дня отравлять воду на поверхности земли, то когда она нам потребуется для выживания, будет слишком поздно. Безусловно, мы знаем, что Восточная Европа располагает значительным количеством воды высокого качества для промышленных целей. Но хватит ли ее, и потом: сколько нужно лет, чтобы обеспечить снабжение ею Западной Европы?

Мы должны быть очень внимательны. Наша экологическая система нарушена, и последствия этого накладываются друг на друга. Нам осталось очень мало времени. Наша энергия не должна расходоваться на бесплодные дискуссии.

6. В борьбе за предотвращение катастроф не стоит забывать о развале финансового равновесия. Этот развал неизбежно приведет к провалу этой последней попытки сохранить равновесия экологическое и тепловое, а также к новой экологической опасности.

Здесь также экономисты должны собраться и обсудить новые равновесия, основанные на двух основных осях:

а) интернационализация всех жизненно важных для человека элементов под политическим контролем, то есть энергия и питание в самом широком смысле;

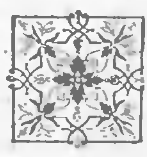
б) создание всемирной биржи сырья, где повышение и понижение его курса будет ограничено. Я к этому охотно добавил бы новое соглашение о долгах самых крупных стран-должников. Соглашение, направленное не на списание долга — для многих из них это было бы премией за неспособность или за нечестность, а на то, чтобы заменить его правом на инвестиции в денежную систему этих стран и в самих этих странах. Речь идет об инвестициях во имя сохранения экосистемы.

Речь больше не идет о том, чтобы знать, что есть чье. Вопрос в том, чтобы знать, что драматическое нарушение наших основных равновесий может быть предотвращено лишь позитивной деятельностью. И эта позитивная деятельность не может направляться кем-либо, пришедшим со знаком минус. Постараемся понять, что нам нужно отказаться от клише и слепого консерватизма. Корабль Земля в крайней опасности.

Нам нужно срочно выбрать капитана и беспрекословно слушать его команды. Выбор тем более легкий, что нам представляется лишь две возможности: либо договориться, либо исчезнуть.

Будем надеяться, что жажда познания окажется сильнее гонки за прибылью и что, пытаясь спастись от опасности, которая предостерегает его, Человек сможет осознать реальность.

Со своей стороны, я сделал свой выбор. По правде говоря, он не был трудным. Все логично: с этого момента я буду делать все, что в моих силах, что позволяет мой собственный опыт, во имя использования знания для достижения познания, даже если на моем уровне оно частично.





ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

ШЕСТАЯ МОНАРХИЯ

«После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею.

А четвертое царство будет крепко как железо (...).

И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу...»

Так пророк Даниил объяснил сон царя Навуходоносора (Дан. 2:39 — 40, 44). Согласно стандартному истолкованию здесь подразумеваются: вавилонская монархия Навуходоносора, персидская монархия, македонская и римская. Пятая же монархия, по иудаистскому толкованию, — грядущее царство Мессии, а согласно одной старой христианской традиции — царство Иисуса Христа.

На Западе иногда говорят, что там теперь все эти пять монархий сменила шестая — господство прессы. Поэтому прессу и вообще средства массовой информации называют шестой монархией *.

Но если на Западе средства информации действительно властвуют, как Навуходоносор, над «сынами человеческими, зверями земными и птицами небесными», то у нас-то, до самого последнего времени, они были полностью подчинены всевластному аппарату, журналисты и редакторы назначались как чиновники и ответственны были лишь перед начальством, ради которого, собственно, и писали.

Однако за последние несколько лет всё кардинально изменилось, роль средств информации стала совершенно иной, даже и противоположной прежней. Что же ими двигает теперь, каков механизм их функционирования?

Никто, следящий за нашей прессой, радио, телевидением, я думаю, не разделяет идиллического взгляда, что они просто «изображают что есть» или «плюралистически отражают все мнения». Из одного-единственного номера газеты можно узнать, как телевидение отказало в выступлении кандидату в депутаты, «чтобы не обижать других кандидатов», но передало выступление его соперника; как «Литературная газета» отказалась напечатать программу кандидата-писательницы: один пункт программы газету не устраивал. И если ленинградская «Смена» опубликовала интервью, где участников VI пленума Союза писателей РСФСР называют «подонками», то можно быть уверенным, что об организации «Апрель» она отзовется с величайшим уважением.

Легко заметить, что подавляющее большинство наших средств информации выражает один и тот же комплекс взглядов, чем-то тесно связанных. По широко разбросанным вопросам: нужно ли изымать доходы теневой экономики? продавать ли свободно землю? и т. д. и т. д., вплоть до отношения к сексу в кино или до оценки стихов Бродского — можно услышать, как правило, очень похожие мнения с небольшим разбросом. И никто не может объяснить: как и кем решается, что именно этот комплекс идей внушается народу, причем на средства народа? Нельзя ведь всерьез поверить, что дело здесь решает «честная конкуренция», тираж. Надо сначала получить ставки, типографию, бумагу, только тогда возникает тираж— не наоборот! В телевидении это еще яснее. Вопрос о направлении, которого придерживаются средства информации, не решается ни голосованием, ни каким-то органом, который можно было бы критиковать. Ни даже органом, который запрещено критиковать (как было когда-то). Даже это было бы понятно, хотя и неприятно. У нас же все решается внутри какого-то слоя «информаторов» — специалистов по работе со средствами информации, — который не только не несет никакой моральной ответственности, но даже не может быть точно очерчен. Теперь, когда пролилось столько крови в Закавказье и в Средней Азии, уже и не вспомнишь: кто морально отвечает за разжигание духа сепаратизма, за внушение штампов «мигранта», «оккупанта», «диктата центра»? Ищи концов этих безликих агитаторов!

Все чувствуют, какая это колоссальная сила — средства информации. Особенно телевидение. Оно охватывает людей любого уровня — даже грамотность не нужна. И показывает как будто «саму жизнь». Прямо в квартиру приходит собеседник, но собеседник какой-то особый: ему не возразишь, не задашь вопроса. В книге можно хоть перечесть предшествующую страницу, — здесь не проверишь, что он говорил неделю назад. Здесь возможен диалог — но особый, на экране: будут задаваться лишь вопросы, санкционированные редактором. А детская передача образами, ритмами песенок с малолетства приучает к определенному стилю жизни. По существу, телевидение создает искусственный мир, который люди принимают за наш, настоящий.

Представим себе, что существовала бы практика вваивать человеку электроды в череп и, раздражая определенные участки мозга, влиять на его поведение. Как всё сплотилось бы в требованиях скрупулезного, ответственного контроля такой практики! А ведь влияние средств массовой информации не меньше. И у нас уже социальный слой, связанный с ними, болезненно и агрессивно реагирует на любые попытки общественности их контролировать. (Пример — яростные, почти истеричные протесты против стремления Союза писателей РСФСР влиять на отбор редакторов газет и журналов — органов этого Союза.) «Попытка поставить под контроль средства информации» и «отказ поставить под контроль общественности КГБ» (или армию) — в устах одних и тех же людей звучит как одинаково тяжкое обвинение. А ведь ситуации родственные! Мы, видимо, только-только столкнулись с важнейшей для нашего общества проблемой. Недаром в народе говорят: «в чьих руках ящик (теле-), у того власть».

Но в чьих же он руках? Для того чтобы в этом разобраться, нужны были бы детальные социологические исследования, анализ функционирования средств массовой информации в новых условиях. Такие исследования мне неизвестны, и я подозреваю, что их и нет (во всяком случае, опубликованных). Но вот что здесь может помочь. Проблема эта не специфически наша: мы лишь попали за последние годы в положение, в котором Запад находится в течение многих десятилетий. И там-то есть интересные социологические исследования, накоплен большой запас фактов. Пользуясь ими, можно, по аналогии, несколько прояснить нашу ситуацию. Этим приемом я хочу воспользоваться. Дальше будут рассмотрены две модели, два примера функционирования средств массовой информации.

Модель первая: средства информации США в конце 60-х — первой половине 70-х гг.

На парадоксальную роль западных средств информации обратили внимание давно. Вся политическая система основана там, казалось бы, на пристальном контроле общественностью всех сторон жизни. Свои решения общественность принимает на основе тех фактов и идей, которые ей сообщают средства информации, а вот эта основная направляющая сила никак не контролируется: ни выборами, ни ответственностью перед общественными организациями, ни тем более перед обществом в целом. Иногда утверждают, что это просто «свободный рынок информации». Но ведь «свободного рынка лекарств» не существует — их производство и продажа строго регулируются. Дин Раск, государственный секретарь в администрации президентов Кеннеди и Джонсона, говорил: «Американский народ не имеет голоса в том, кто становится издателями, редакторами, обозревателями».

Как сказал один западный социолог, средства массовой информации внушают человеку, кто он — дают ему индивидуальность; чего он хочет — дают цель; что для этого надо делать — указывают пути успеха и дают почувствовать, что он имеет успех, — доставляют вознаграждение. Если сравнить современное общество с организмом, то средства информации играют роль нервной системы: они передают сигналы от органов чувств, интегрируют их в «центральной нервной системе» и передают потом другие сигналы, заставляющие отдельные «клетки» — человеческие индивидуумы — действовать «целенаправленно», то есть согласованно в направлении выполнения определенной программы. Но как и кем вырабатывается эта программа — остается для нас тайной.

На Западе иногда средства информации называют «четвертой властью». Имеется в виду аналогия с концепцией (Локка, Монтескье) «разделения властей» на три независимые власти: законодательную, исполнительную и судебную. Но эта аналогия только подчеркивает уникальное и парадоксальное положение средств массовой информации: законодательная власть контролируется через выборы, исполнительная — назначением или ответственностью перед парламентом, судебная — одним из этих двух механизмов, а средства информации — никак. Обращаясь к ним, Дин Раск говорил: «В нашей конституционной системе не может быть места «четвертой власти», не опирающейся на демократическую основу». «Вы лишь обращаетесь к народу, а не говорите от его имени».

Яркий анализ западных средств массовой информации содержится в книге Эдит Эфрон «Извратители новостей» *. Анализ проведен на примере американского телевидения в критический период истории США: волнения студентов и негров, вьетнамская война в конце 60-х гг. Автор, в частности, проанализировал за двухмесячный период в 1968 г. наиболее популярные передачи трех основных американских телевизионных компаний: Эй-би-си, Си-би-эс и Эн-би-эс.

---

* По другой версии этот термин принадлежит Наполеону, сказавшему, что, кроме пяти великих держав, есть шестая — пресса.

* Edith Efron. «The News Twisters», Los Angeles, 1971.

Это было время предвыборной президентской кампании Хемфри — Никсон. Надо иметь в виду, что Хемфри имел репутацию «левого», а Никсон — «правого» (он подчеркивал свою консервативность, стоял за увеличение военной помощи Южному Вьетнаму, способствовал разоблачению А. Хисса, ближайшего советника Ф. Рузвельта, оказавшегося советским тайным агентом). По подсчетам Э. Эфрон, за исследуемый период число произнесенных слов за Никсона было в десять раз меньше, чем слов против него, и в два раза меньше, чем слов за Хемфри. Число слов за американскую политику во Вьетнаме было примерно в два раза меньше, чем число слов против нее. Число слов в поддержку насильственных действий негров было более чем в два раза больше, чем число слов против. Высказываний против насильственных действий белых радикалов фактически не было. Так же пристрастно было освещение программ, обликов, поведения кандидатов. Президентом же был избран Никсон: то есть мнение большинства населения оказалось прямо противоположным взглядам средств информации, несмотря даже на оказываемое ими давление. Это показывает, что средства информации не отражают просто точку зрения большинства населения, но навязывают ему свои взгляды («играют воспитательную роль», как говорилось у нас еще недавно).

В книге Брюса Гершензона «Боги антенны» * показана такая же тенденциозность в освещении вьетнамской войны. Он пишет, например, что в 1972 — 73 гг. в передачах одной из крупнейших американских телекомпаний, Си-би-эс, было 13 проц. положительных и 61 проц. отрицательных отзывов об американской политике во Вьетнаме. 83 проц. сообщений из Южного Вьетнама были критическими по отношению к правительству этой страны, а 57 проц. сообщений из Северного Вьетнама — благоприятны его правительству. Сообщения часто давались в формулировках радио Северного Вьетнама. Средства информации подняли яростную кампанию против американских бомбардировок Северного Вьетнама: говорили, что «Никсон обезумел», «ведет себя, как сумасшедший тиран», «США вернулись к массовым убийствам». Корреспонденты телевидения вели передачи прямо из Северного Вьетнама, показывая почти исключительно невоенные разбомбленные объекты. Они интервьюировали американских военнопленных, передавали их протесты против «позорной войны», «позорных бомбежек мирного населения», рассказы о том, как с ними хорошо обращаются в плену. Администрация Никсона пыталась противостоять средствам информации. В 1972 г. вице-президент Агнью произнес речь, в которой обвинил их в необъективности, манипулировании общественным мнением. Он сказал: «Люди в Америке не должны терпеть такой концентрации власти. Надо поставить под вопрос правомерность этой концентрации власти в руках узкого привилегированного слоя, никак не избранного и обладающего монополией, признаваемой правительством». Он высказал убеждение, что администрацию Никсона поддерживает «молчаливое большинство».

Реакция средств информации была взрывообразной. Мало того, что, как и следовало ожидать, Агнью обвинили в нападении на свободу слова и основы американской конституции. В его речи увидели «начало нашего конца, как нации». Его назвали «фашистом» и обвинили в «репрессивных намерениях», в «расизме». Но случилось неожиданное: посыпались письма и телефонные звонки, в подавляющем большинстве поддерживавшие Агнью! То же показали опросы общественного мнения. Э. Эфрон считает, что Агнью поддержали все мыслящие консервативно, большинство республиканцев и треть демократов. Но это не заставило представителей средств информации сложить оружие. Наоборот, стало появляться все больше статей и передач, в которых средние американцы обвинялись в «агрессивности», в том, что это «расисты из среднего класса». Наконец появилось и последнее оружие: «явный антисемитизм» («Тайм»), «злоба... упоминание принадлежащих евреям или контролируемых ими средств информации» (президент американского общества издателей газет, Исаакс), «антисемитизм», «расизм» и «антикоммунизм» — все вместе (Рестон, «Нью-Йорк таймс»). На Агнью пошла атака со всех сторон. Он был обвинен в нарушении законов о финансировании избирательной кампании и был вынужден уйти в отставку. Как уверяет Гершензон, Агнью не совершил ничего выходящего за рамки принятого в политической жизни США (например, Голдуотер позже в телеинтервью открыто заявил, что и он, и другие совершали подобные же действия).

Но на этом драма не кончилась. Отчасти под давлением средств информации Никсон заключил мирное соглашение с Северным Вьетнамом. Оно, в частности, предусматривало возвращение американских военнопленных. Вернувшись, они начали рассказывать нечто совсем отличное от того, что говорили американским телеинтервьюерам, когда были в плену: что, по их мнению, только американские бомбардировки Северного Вьетнама обеспечили их возвращение; о том, какими способами добывались тогда их заявления. К тому же хлынул поток беженцев из Вьетнама. Слой влиятельных деятелей средств массовой информации явно оказался в трудном положении. Тут-то и возникло спасительное «Уотергейтское дело».

Никсон, несомненно, был виновен в нарушении ряда принципов, провозглашенных в американской политической жизни. Но Гершензон, например, уверяет, что он не вышел за рамки считавшегося практически допустимым. В книге Гершензона приведён ряд аналогичных поступков или слухов о них, не вызвавших никакого интереса, расследования, осуждения (подслушивание Голдуотера, Мартина Лютера Кинга и Агнью в период президентства Джонсона; слухи о подтасовке результатов выборов в штате Иллинойс в пользу Кеннеди, когда он стал президентом, имея ничтожное преимущество над Никсоном, и т. д.). Ведь и в последнее время мы видели, как президент Рейган был уличен в нарушении принципов, не меньшем, чем Никсон («Ирангейт») — даже без существенного ущерба для своей репутации. Видимо, Никсон не захотел усвоить урок, преподанный ему отставкой Агнью. Да и его утверждение: его-де поддерживает «молчаливое большинство» — было вызовом средствам информации. Это было еретическое утверждение, оспаривающее их основной догмат: что они говорят от имени народа, являясь поэтому не четвертой, а — единственной, абсолютной властью.

Под угрозой «импичмента» Никсон должен был уйти в отставку, хотя он совсем недавно был переизбран со значительным перевесом над своим противником. И весь этот переворот, включавший и капитуляцию США во вьетнамской войне, был осуществлен в основном средствами массовой информации.

Ситуация, иллюстрируемая приведенными фактами, так и ложится ярким примером к концепции «Малого народа», предложенной мною ранее («Русофобия», «Наш современник», 1989, № 6). Как и во всех других исторических прецедентах, «Малый народ» противопоставляет себя остальной нации — «Большому народу». Деятелей средств информации обвиняли (Агнью и другие) в высокомерном третировании всего остального населения, в том, что они ощущают себя элитой. Агнью назвал это «северо-западным интеллектуально-университетски-журналистским комплексом» (имеются в виду выпускники фешенебельных университетов на северо-западе США).

Один обозреватель воскликнул: «Мы, по-видимому, много знаем о негритянском меньшинстве. Надо изучать белое большинство. Это мы не делали. Мы даже не заметили, что оно есть!» Другой говорил: «Журналисты гордятся тем, что средний класс враждебен им. Они гордятся тем, что у них нет контактов со средним классом».

Журнал «Уолл-стрит джорнел» (консервативного направления) писал: «В нашем народе появился класс людей, которые считают себя единственно компетентными («думающие люди») и любят пренебрежительно третировать обычных американцев с величайшим презрением». Эти обычные американцы и составляют «Большой народ». Термины, применявшиеся для его обозначения: «белый средний класс», «белая Америка». Э. Эфрон пишет: «По тому, как эта гибкая концепция применяется в телевизионных передачах, совершенно ясно, что она символизирует Америку — молчаливо исключая либералов, левых и негров».

Но стоило «Большому народу» проявить непокорность по отношению к средствам массовой информации, как появились другие эпитеты: «белая расистская Америка», «расистские (или неонацистские) тупицы». Пошли в ход обвинения в «маккартизме», «репрессивности», «фашизме». «Большой народ» обвинялся в том, что он неинтеллигентен, состоит из расистов, ненавидящих негров и молодежь, враждебен интеллектуальным ценностям, умственно ограничен. Ему приписывалась врожденная агрессивность. Э. Эфрон говорит, что среди проанализированных ею программ телевидения встретилось только одно выступление, благожелательное к «белому среднему классу» — а именно Никсона. Она пишет: «Модный стереотип «подонка-фашиста» глубоко укоренился в телевидении, а потом был использован «либеральными интеллектуалами» и «сторонниками реформ» как средство для интерпретации возмущенных откликов на стиль их передач». «В получаемой ими почте они открывали тот самый тип «безмозглого фашиста», который мы видим в передачах о «белом большинстве из среднего класса», «белой Америке» и «американской публике».

То есть когда «Большой народ» пытался высказать свое мнение, то «Малый народ» и управляемые им средства массовой информации не только не спешили объективно донести это мнение до слушателей и читателей, но решительно подавляли его. Причем далеко не только «воспитательными» средствами. Большинство телепередач того времени оправдывало и популяризировало акты насилия во время кампании протестов негров и молодежи. В проанализированных Э. Эфрон передачах о насильственных действиях, совершенных неграми, говорилось, что это не их вина и не должно рассматриваться как преступление. Акты насилия, совершенные левыми по отношению к отдельным лицам, собственности или американским учреждениям, санкционировались на основании того, что они были направлены против социальной несправедливости и войны. В телепередачах умалчивались или затушевывались слишком тоталитарные, недемократические высказывания радикалов, что вызывало даже их протесты. Точку зрения анализируемых ею телепередач Эфрон резюмирует так: «Насилие, совершенное левыми или неграми по отношению к Америке и большинству граждан, морально оправдано, т. к. направлено на социальное зло. Благородные цели оправдывают террористические средства».

В цитированных выше книгах приводится анализ тех приемов, которыми пользуются западные средства информации. Часть из них нам давно известна из нашего опыта: элементарная недобросовестность; умалчивание неприятных фактов; дискредитация противников любыми средствами; двойной стандарт в

* Bruce Hershenson. «The Gods of Antenna», New Rochelle, 1976.

освещении «своих» и «чужих». Более тонкие приемы: наводящие вопросы в интервью, практически предопределяющие ответ; ссылки на неизвестные источники — «говорят», «здесь считают»; утверждение о том, что испытывала толпа или человек, с которым репортер не был в контакте, и т. д.

Широкий спектр таких приемов приводит Гершензон при описании того, как освещалось «Уотергейтское дело». Если Никсон жил в Белом доме, то говорили, что он боится встречи с народом, а если уезжал в какой-то штат — что дома он чувствует себя явно неуютно. По поводу любой его речи замечали, что он «ничего не сказал об «Уотергейтском деле», чему бы ни была речь посвящена. Телеэкран фиксировал любые нервные жесты, которые были характерны для Никсона, когда он уставал, — создавался образ неуверенного в себе, чувствующего свою вину человека. Наконец, когда бы ни заходила речь о Никсоне, на экране появлялась заставка, изображающая отель «Уотергейт». Зритель буквально гипнотизировался, и виновность Никсона (даже не важно, в чем именно) становилась ему очевидной и без особенных доказательств.

Вот еще один важный и широко применяемый прием, описанный Гершензоном. По аналогии с тем, как в «Лондоне 1984» Оруэлла говорится о нелицах (репрессированные, которых нельзя упоминать), он называет это явление — «неновость». Речь идет о новости, факте, который вдруг из всех (или почти всех) средств информации исчезает. Например, «исчез» вопрос о финансировании кампании за «импичмент» Никсона. «Неновостью» оказался законопроект сенатора Тауэра о предъявлении всеми конгрессменами декларации о доходах в специальную комиссию конгресса (быстро проваленный). «Неновость» — многочисленные слухи о связях конгрессменов с корпорациями (в результате которых налоги корпораций уменьшились, как и доходы государства, на сотни миллионов долларов); сообщения о крупном увеличении сумм, выплачиваемых конгрессом каждому конгрессмену, и множество других фактов. Но самая большая «неновость» (о которой, возможно, и Гершензон не знал) — это операция «Жертв Ялты» в 1945 — 46 гг., когда (по Ялтинскому соглашению) сотни тысяч бежавших на Запад советских граждан были насильственно возвращены западными союзниками советским властям. Как бы ни оценивать степень виновности этих беженцев (там было много женщин, детей), но, по стандартам западной прессы, это была колоссальная сенсация: сотни тысяч (может быть, миллион) людей насильственно транспортировались, большинство было обречено на лагеря, многие — на расстрел. Было много случаев самоубийств. И вся эта сенсация была дисциплинированно замолчана западной прессой — превращена в «неновость». Только 30 лет спустя история постепенно стала всплывать (главным образом благодаря «Архипелагу ГУЛАГ» А. И. Солженицына).

И в заключение, эффективным приемом является месть — противникам, но особенно тем, кого считают «изменником». Примеры Агнью и Никсона уже упоминались. Много примеров наказания «перебежчиков» приводится в книге Эфрон. Так, либеральный публицист Теодор Уайт в своей книге указал на явление «нового авангарда, господствующего на вершинах национальных средств информации» и «презирающего свою страну и традиции». Далее о нем говорится: «Наказание м-ра Уайта было скорым и безжалостным». Его книги, ранее встречавшие восторженный прием, были злобно атакованы почти всеми нью-йоркскими рецензентами. Его, старого либерала, называли «поджигателем войны», «антиинтеллектуалом», «врагом студентов» и «врагом негров». Эфрон приводит список авторов, «практически изгнанных из среды либеральных интеллектуалов», когда они решились осудить насильственные акции радикалов. Она говорит о «царстве террора» в университетах против не согласных с радикалами.

Оба автора, работы которых мы использовали, — Э. Эфрон и Б. Гершензон — задаются, конечно, вопросом: как же объяснить функционирование этого удивительного феномена — западных средств массовой информации? Интересно, что оба ставят и очень острый вопрос: можно ли говорить здесь о заговоре? Оба дают на него отрицательный ответ. Гершензон называет это «заразой», «эпидемией» или «политическим и философским джентльменским соглашением». Он пишет: «Инстинкты не приводят к заговору, а именно инстинкт создал этот либеральный уклон». Эфрон говорит, что обвинение в «политическом заговоре» психологически понятно, но тем не менее — неверно. «Не существует заговора в студиях телевидения. То, что мы видим, — стремление к власти».

В одной самиздатской работе я встретил (по совершенно другому поводу) неожиданный термин: «неформализованный заговор». Может быть, в связи с рассматриваемым здесь вопросом этот термин и применим, его можно наполнить конкретным содержанием? Представим себе группу людей, действующих целенаправленно, согласованно, но не потому, что они об этом договорились, без единого штаба или центра, а на основании каких-то других координирующих механизмов. Функционирование средств информации выглядит именно так.

Для оценки их нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, речь все время идет о либеральной левой ориентации средств информации. Сейчас, 25 лет спустя, может быть, это и не так, возможно, они имеют другую ориентацию (деление на левое — правое очень грубо). Но важно, что речь идет об

«ориентированности», «партийности», то есть формировании общественного мнения в одном четко очерченном направлении — вот это явление и было зафиксировано рядом независимых наблюдателей. Во-вторых, не все деятели средств информации были охвачены такой ориентацией. Но цитированные выше авторы относят эту черту ко всем трем крупнейшим американским телекомпаниям и к крупнейшим газетам и журналам: «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Тайм», «Ньюсуик» — а вес остальных, как пишет Гершензон, несопоставим с суммарным весом этих средств информации.

Ряд авторов рисует картину очень сплоченного идейно-однородного слоя, руководящего американскими средствами информации и занимающего в американской жизни совершенно особое положение. Вице-президент Агнью в уже цитировавшейся речи утверждал, что он не призывает к какой-либо форме государственной цензуры, но спрашивал: не осуществляется ли уже в телекомпаниях такая цензура «небольшой и неизбранной элитой»? Он говорил: «Народ должен защитить себя». Бывший сотрудник Никсона, Раймонд Прайс, утверждал, что средства информации занимают в американском обществе положение «священных коров, неприкосновенных для критики, по самой простой причине — последнее слово всегда остается за ними. Они безжалостно мстят любому должностному лицу, которое неосторожно попытается упрекнуть их». («Пресса как кривое зеркало». В брошюре «Пресса и американская политика» *.) А сенатор Фулбрайт отмечает их «инквизиционный стиль», выработавшуюся «психологию инквизитора» по отношению к администрации. («Заносчивость прессы», там же.)

В средствах информации господствует суровая дисциплина. Об этом свидетельствует то, как быстро, единым фронтом меняется их позиция. Э. Эфрон приводит яркий факт. В период, предшествовавший речи Агнью, когда атмосфера вокруг средств информации была менее напряженной, несколько обозревателей телевидения выступили в прессе с предупреждением, отчасти напоминавшим тезисы Агнью. Но всего несколько месяцев спустя, когда после его речи накал страстей поднялся, все они промолчали. «Они молчаливо согласились с официальными заявлениями, которые, как они прекрасно знали, были неправдой». Гершензон уверяет, что эта дисциплинированность быстро усваивается журналистами. «Молодой новичок в национальных органах информации быстро понимает, что допустимо, а что — нет... Что подымает его в глазах коллег и начальства, а что понижает. Если его политические инстинкты были еще не абсолютными при поступлении, то, за небольшим числом исключений, они становятся абсолютными очень скоро». Эфрон пишет, что направление передач полностью определяется в редакциях.

Эту железную направленность западных журналистов я испытал сам и был ею поражен, когда общался с ними лет 15 — 20 тому назад. Они приезжали сюда, точно зная все, что им надо написать, работа их состояла только в подборке примеров, иллюстрирующих заранее известную им концепцию. Типичный их вопрос был: «Поясните, пожалуйста, примерами, что современный Советский Союз сохранил основные черты дореволюционной России под другим обличьем». И какие бы я им аргументы ни приводил: сопоставление экономической или политической структуры, положение религии, отношение к идеологии или отдельные яркие примеры, — ничто не производило ни малейшего впечатления. Они улыбались: «Да, некоторые внешние различия есть, но — в глубине?» — и эта часть выпадала из напечатанного интервью.

Но с заговором всегда ассоциируется тайна, а средства информации работают открыто! Однако это не совсем так. Они всячески стремятся затушевать свою роль создателей идеологии, направленность своей деятельности. Мощная дымовая завеса имеет целью скрыть эту сторону явления. Многократно повторяется, что средства информации лишь сообщают факты. «Мы репортеры, и сообщаем (report) новости». Много таких высказываний собрано в книге Эфрон. Но она приводит высказывание одного телекомментатора: «Из всех мифов журнализма объективность — самый большой». Представители средств информации всячески сопротивляются попыткам выявить их политическую ориентацию. В той же книге приведено интервью, которое давал один из влиятельнейших обозревателей телевидения. На вопросы — либерал ли он, давался спектр уклончивых ответов: «Я не знаю, что это такое», «Вы слишком упрощаете». Так же и на вопрос о господстве либералов на телевидении: «А кто их считал?», «А кого считать либералом?» А три дня спустя в журнале «Ньюсуик» появились его резкие протесты против «травли либералов в средствах информации». Тут ему было ясно, что это такое.

Б. Гершензон пишет, что «анонимность» жизненно необходима для дела средств информации. Они должны прятаться за события, создавать впечатление, что являются лишь информаторами. «Их вечерний визит происходит под чужой маской, под маской нейтральности, беспристрастности, объективности». Когда по телевидению выступает президент, говорит он, мы видим его как президента, в кабинете Белого дома, главу определенной партии, человека, отстаивающего свою, известную нам точку зрения. Но сразу за ним появляются его политические противники, не объявляющие нам своих принципов, маскирующие их под «объективную истину» или «силу фактов». Если только президент не придерживается их позиции, он всегда

* «The Press and American Politics». Georgetown University, 1978.

будет в проигрыше. «И мы оказываемся перед лицом силы, появляющейся ежедневно в самое выигрышное время и возвышающейся над любыми избранными нацией властями».

С другой стороны, никто никогда не слышал о каком-то центре, из которого управляются средства массовой информации США (или хотя бы их большая часть). Безусловно, там есть люди и группы более и менее влиятельные, но они резко не очерчены и состав их переменный. Именно такой безличный характер делает средства информации совершенно безответственными. Например, капитуляция США во вьетнамской войне была в очень значительной степени обусловлена позицией средств информации. Несомненно, чисто материальных сил у США было достаточно, чтобы противостоять и партизанам Вьет-конга и Северному Вьетнаму (даже учитывая всю помощь, оказывавшуюся ему СССР и Китаем). Тогда возобладало чувство, что война эта не стоит потерь, которые она приносит, да и вообще несправедлива. Теперь, кажется, общественное мнение США в этом вопросе резко изменилось. Чтобы не ввязываться в дискуссию, отстранимся от оценок вьетнамской войны. Важно, однако, что ни о какой ответственности средств массовой информации речь не идет, да и идти не может. Роль каждого отдельного деятеля слишком незначительна, чтобы говорить о его ответственности, а руководящего центра (хоть в каком-то смысле) они не имеют. Так и получается, что если общество признает ошибочными меры, проведенные политическим деятелем, то страдает его карьера; если военачальник проиграет сражение — страдает его слава; если ученый опубликует неверную работу — страдает его репутация; а если общество отрицательно оценивает какие-то действия средств массовой информации — то никто никак не страдает.

Если привлекать биологические аналогии, то средства массовой информации можно сравнить с кишечнополостными, например с гидрой, которая осуществляет сложные действия: выбрасывает ядовитые нити, парализующие жертву, захватывает ее щупальцами, проталкивает в рот, переваривает. Она имеет сеть нервных клеток, но не имеет никакого нервного центра типа головного или спинного мозга. Зато она обладает удивительной способностью регенерации: из крошечной части (меньше 1 процента) гидры может восстановиться все существо. Аналогичная форма организации групп людей и координации их действий часто встречается в современном обществе и играет в нем очень большую роль. Ее можно было бы описать термином вроде «неформализованный союз».

Роль средств массовой информации на Западе можно лучше понять, если сопоставить их с близкой областью деятельности — рекламой. В обеих сферах применяются близкие приемы, и в некоторых случаях они почти сливаются (средства информации — реклама идей). Реклама играет жизненно важную роль в экономике современного западного индустриального общества, которое может функционировать, только непрерывно расширяясь. Если бы американцы сегодня ограничились приобретением того, что им необходимо для удовлетворения их потребностей (хотя бы очень широко понимаемых), — завтра вся страна была бы потрясена экономическим кризисом. Поэтому необходима реклама, стимулирующая американцев покупать новые дома, часто менять автомобили, покупать все новые приборы, компьютеры. В 1955 г. в рекламу было вложено 9 млрд. долларов, сейчас, я думаю, — во много раз больше.

Техника (или бизнес) рекламы достигла принципиально нового уровня в 50-е годы, когда там стали систематически и все шире применяться исследования профессионалов-психологов. Этот поворот описан в книге В. Паккарда «Тайные увещеватели» *. Слово «тайные» указывает на то, что исследования, определявшие развитие рекламы, были связаны с анализом подсознательных слоев человеческой психики. При помощи групповых бесед (по темам, вначале и не связанным с объектами рекламы), анализа внезапных ассоциаций, применения гипноза, всевозможных тестов выяснялась подсознательная реакция возможного покупателя на предлагаемый товар. Были созданы научные институты, объединяющие социологов, психологов, психиатров, обслуживающие бизнес. Возникла новая область, и в нее были инвестированы многие миллионы долларов. Президент Американского общества рекламного дела назвал эту область «фабрикой мозгов». Проведенные исследования показали, что в товаре покупатель ищет некоторый «образ» — в большей степени, чем просто «потребительную стоимость». Например, автомобиль есть символ успеха, статуса, и его чисто технические качества отходят на второй план. «Машина говорит нам, кем мы являемся и кем хотим стать... Это транспортабельный символ нашей личности и положения». Вскрывая эти подсознательные мотивы, новые методы рекламы помогают найти более эффективные пути воздействия на психику покупателя. Например, 85 проц. алкоголя потребляют 22 проц. всех покупателей — сильно пьющие. Как удержать и расширить этот рынок? Раньше реклама делала упор на удовольствие, которое принесет «рюмочка». Ошибка! Как раз у алкоголиков такая мысль будит часто угрызения совести. Надо их подавить: рекламировать сурового, усталого мужчину, который имеет право на рюмку после трудного, успешного дня. Стиральную машину рекламировали, подчеркивая, что она освобождает женщине больше времени для отдыха и развлечений. Опять ошибка! Американская домашняя хозяйка хотела бы потрудиться и сэкономить для семьи. Именно этот импульс надо подавить, подчеркивая, что освободившееся время можно потратить, например, на воспитание детей. Аналогичными методами удается увеличить число пьющих женщин или парализовать у курильщиков опасения, вызванные предупреждениями врача. Анализ поведения покупательниц в больших магазинах (использовано наблюдение скрытой камерой) показал, что они не возбуждаются, как можно было бы ожидать, но, наоборот, впадают в такое же полусонное состояние, как гипнотизируемые перед засыпанием. Значит, реклама, упаковка должны гипнотизировать покупательниц цветом, формой — как вспышка света перед глазами. Колоссальные возможности скрыты в использовании детей: в детские передачи как действующие лица вводятся рекламируемые игрушки или сладости, детям обещают подарки, если они приведут родителей в магазин. Множество таких приемов апробировано, принесло значительное увеличение выручки. Соответственно скачкообразно возросли вложения капитала в «рекламный бизнес».

* Vance Paccard. «The Hidden Persuaders», London, 1957.

В конце 50-х годов техника «психологической» рекламы стала систематически применяться в политической борьбе. Ведь собственно предвыборная кампания — это «продажа» сенатора или президента. В книге Паккарда приводится пример агентства в Калифорнии, которое провело 75 избирательных кампаний и выиграло из них 70. На вопрос журналиста, были бы они так же успешны, поддерживая противную сторону, представитель агентства ответил: «Думаю, что мы все равно выиграли бы почти все». Успех все меньше зависит от программы кандидата, а все больше от его «образа». Методы, разработанные в рекламе, прекрасно подходят для того, чтобы гипнотизировать избирателя, как раньше — покупателя. Фирма, руководившая одним собранием в предвыборной кампании Эйзенхауэра, разработала, например, сценарий на 32 страницах. Были даже предусмотрены «шумы в зале». Выступления кандидата занимают теперь меньшую часть времени. Но, например, в телепередаче была разыграна сцена, когда таксист гуляет после работы вечером со своей собакой, смотрит на светящееся окно Белого дома и говорит с почтением: «Ты нужен нам!» Высказывалось мнение, что Эйзенхауэр лучше вписывался в режиссуру и этим был обязан победе. Его противник — Стивенсон — сказал: «Сама идея, что можно продавать кандидатов на высший пост, как кукурузные хлопья, является оскорблением демократического процесса».

Та же психологическая техника все шире применяется фирмами для решения их кадровых вопросов. Паккард пишет: «Значительное и все растущее количество наших индустриальных концернов (включая крупнейшие) стремятся просеивать и формировать по шаблону свой персонал, используя психиатрическую и психологическую технику». Сотрудники проходят проверку тестами, групповыми дискуссиями, их просят разыграть определенную роль. На приеме, устроенном фирмой, милый собеседник за коктейлем может оказаться специально приглашенным психологом (а не идти на прием — «несоциабельно»). Внимание обращают и на жен, семью. Цель — выяснить способность «сотрудничать в группе», признание авторитета вышестоящих. «Ответственный сотрудник должен быть полностью сосредоточен на своем деле, даже его сексуальная активность должна отойти на второе место». Полученные данные определяют продвижение по работе: человек может и не подозревать, а в его досье уже лежит заключение «никакое повышение невозможно».

Вся подобная деятельность называется «социальной инженерией». Один эксперт определил ее цель как «постепенную перестройку человеческого сознания, одной части за другой, одной его структуры за другой». «Речь идет об изменении поведения людей не путем рациональных рассуждений и не через законы, но путем манипулирования их сознанием», — пишет другой специалист. Эти принципы имеют далеко идущие последствия. На конференции по электронике в Чикаго в 1956 г. один докладчик сказал: «Самолетами, ракетами и механизмами мы уже умеем управлять при помощи электронных приборов. Это возможно и по отношению к человеческому мозгу... Через несколько месяцев после рождения хирург может вложить в череп каждого ребенка электроды... Восприятия и мускульная активность ребенка могут быть видоизменены или полностью контролируемы биоэлектрическими сигналами».

Эти примеры показывают, что средства массовой информации современного общества являются частью гораздо большей сферы жизни, включающей также рекламу, политическую жизнь, психологический контроль. Это — манипулирование сознанием в самом широком смысле. Иногда высказывается, а чаще невысказанно принимается следующая концепция. Образ жизни современного западного общества является тем *естественным состоянием*, при котором желания и жизненные цели различных людей приходят в равновесие, если только их не подвергать внешнему давлению — подобно тому, как горошины, насыпанные в банку, сами примут наиболее экономное расположение, если банку потрясти. По-видимому, это совершенно неверно. Функционирование современного индустриального общества обрекает его граждан все время находиться под действием ряда мощных сил, поддерживающих структуры этого общества: экономических, психологических, социальных. Одной из таких сил являются и средства массовой информации.

Модель вторая: западное вещание на СССР («Голоса»)

Выше говорилось о поразительном явлении — необыкновенно единообразной ориентации наших средств массовой ин-

формации, в этом отношении уже полностью освоивших западные образцы.

И тем не менее не все наши средства информации вполне единомысленны. Хотя и ничтожна меньшая их часть, но все же высказывает иную систему взглядов — правда, также весьма единообразную. Такая поляризация — несчастье наших средств информации: взгляды обеих групп огрубляются, они ввязываются в полемику, которая под конец ничего не проясняет, становится самоцелью. Но все-таки этот болезненный «плюрализм» отражает, хоть и искаженно, принципиальные различия взглядов. «Противники» не могут совсем игнорировать того, что находятся в одной сильно расшатанной лодке, из которой бежать некуда (по крайней мере, большинству). Как ни отталкивают от себя в полемике аргументы оппонента, какая-то часть их все же воспринимается и заставляет корректировать собственные взгляды. Все же это лучше полного единогласия. Однако в средствах массовой информации, влияющих на нашу жизнь, есть одна мощная группа, полностью исключенная даже из этого «плюрализма», необсуждаемая и некритикуемая. О ней и будет дальше речь.

Я имею в виду иностранные радиостанции, вещающие на СССР. Теперь, после отмены глушения, они проникают в самые далекие медвежьи углы и стали одним из наиболее влиятельных «средств» среди всех средств массовой информации. В период глушения в нашей прессе иногда появлялось какое-то нечленораздельное и никого не убеждавшее бормотание об «идеологической диверсии». Теперь же вообще настало гробовое молчание. Почему сейчас так пассивны в этом вопросе наши средства информации, обычно столь склонные к полемике? Одна из причин несомненно в том, что основные точки зрения русскоязычных западных передач и подавляющей части советских средств массовой информации совпадают — почвы для полемики нет.

Еще лет 10 назад, прорываясь сквозь глушение, русские передачи западного радио приносили несомненную большую пользу. Они несли другую пропаганду, другие точки зрения, факты. Например, только из них многие могли узнать о произведениях А. Солженицына. Да и просто наличие другой позиции уже давало пищу мысли. И сейчас ценны их религиозные передачи, особенно для областей, где очень мало (или совсем нет) храмов. Я сам видел в Карпатах, как крестьяне-униаты включали приемник и отстаивали на коленях службу, передаваемую из Ватикана. Раньше полезны были передачи о нашей послереволюционной истории, хотя они были всегда очень осторожны, оставляя в тени более острые события — вроде расстрелов в Новочеркасске. Теперь же они и по полноте, и по яркости далеко отстают от нашей прессы.

Штампы, свойственные западным средствам информации (такие, как «СССР — старая Россия в новом обличье»), проявляются здесь во всей широте. Самые примитивные лозунги внедряются гипнотически — путем повторения, без аргументов. Например, «СССР — последняя колониальная империя» (и, конечно, с торжеством: «распад», «дезинтеграция», «конец» империи). И при всем прокламируемом плюрализме ни разу не слышал, чтобы кто-то не оспорил — а хоть попросил объяснить: а) почему колониальная? б) почему последняя? Поскольку «империя» многократно, постоянно соединяется с «русификацией», «русским великодержавным шовинизмом», то ясно, что «колониальная империя» — русская. Но что за странная империя, где ежегодно из «метрополии» в «колонии» перекачиваются десятки миллиардов рублей и «метрополия» обескровлена до обнищания! Где при поступлении на работу русский не имеет никаких преимуществ перед грузином, армянином или таджиком, где смешанные браки никем не осуждаются! И наконец, «империя», создавшаяся под непрерывные окрики по адресу «великодержавного русского шовинизма». Ну хорошо, пусть «империя» — но почему последняя? Почему не является тогда «колониальной империей» Китай или Индия (где, например, представители бунтующего национального меньшинства убили премьера), наконец даже — Грузия? И такими, не выдерживающими элементарного логического анализа штампами перегружены передачи западных радиостанций.

Конечно, интересны и передачи в самом стандартном, не политизированном стиле о жизни, культуре других стран, тем более что сведения о них были (да и остаются) неполными и односторонними. Но вот здесь положение несколько странное. Каждый был бы рад узнать о новых произведениях западных писателей, композиторов — да и о классиках — побольше! И, например, «Голос Америки» не сомневается в нашем интересе к западной культуре — только эту культуру он понимает как-то неожиданно и специфически. Например: «Советская молодежь страстно стремится к западной культуре, во всем диапазоне —от поп-музыки до джинсов». Я уверен, что это всего лишь диапазон культуры редакции радиостанции, а не всего Запада — и тем более не интересов нашей молодежи. Но мы слышим, например, о пьесе, имеющей колоссальный успех на Бродвее, «где удалось соединить легенду о докторе Фаусте с любимой американской игрой бейсбол» или о балете в воде «XX век», где каждое десятилетие представлено модными тогда танцами и костюмами, причем особенной удачей оказались 20-е годы с «чарльстоном в воде». Подобная дремучая дикость идет под названием «Культурная (!) жизнь Нью-Йорка» и передается в тоне нескрываемого превосходства «сверху — вниз» — для России!

Передачи о современной культуре, которые должны бы стать самыми ценными, за редкими исключениями, вызывают тоскливое недоумение. Как и вообще в западных средствах информации, никакое течение не подвергается полному запрету, но плюрализм соблюдается по известному рецепту паштета из рябчиков с добавлением конины: «одна лошадь — один рябчик». И лучшие, подчас не известные у нас, произведения советских или эмигрировавших авторов тонут в массе серой, но принадлежащей «своему» направлению эмигрантской продукции.

В чем же дело? Ведь в США, Англии, ФРГ несомненно есть множество квалифицированных журналистов, славистов, советологов, они могли бы работать на совсем другом уровне! Одну из причин можно видеть в том, что русские редакции западного радио пополняются в значительной степени не коренными жителями западных стран, а эмигрантами из СССР. Пример — фамилии многих деятелей русской редакции Би-би-си лет 20 назад я слышал здесь, как жителей СССР — причем речь идет не о дикторах, а о тех, о ком говорят: «передачу подготовил» (или «подготовила»). С этим, вероятно, связано и то, что западное вещание, охотно (и часто справедливо) обвиняющее наши средства информации в обезличенности, казенности, не стремится внести личного, человеческого элемента в свои передачи: было бы так естественно рассказать, из кого состоит редакция, сообщить биографии ее сотрудников... А эмигрантам — действительно, откуда хорошо узнать, тонко почувствовать культуру страны, в которую они сравнительно недавно прибыли? И их отношение к стране, которую они покинули, обычно весьма специфично и связано с глубокими эмоциональными пластами психики. Редко из страны уезжают, когда довольны своей жизнью там, а чувство неудовлетворенности этой жизнью часто вызывает и особую оценку страны, даже всего народа, его истории. В результате оказывается, что вещающие по-русски западные радиостанции отражают не точки зрения, наиболее распространенные в их странах, даже не типичные взгляды средств информации этих стран, а в значительной степени взгляды и психологию эмиграции.

Непропорциональное влияние эмигрантов, видимо, сильно искажает работу вещающих по-русски западных радиостанций. Но есть одна особенная радиостанция, деятельность которой полностью направляется эмигрантами, — она носит многообещающее название «Свобода». В начале передач сообщается, что радиостанция финансируется конгрессом США. Это можно заметить и по ее передачам: если по «Голосу Америки» можно услышать о каких-то существующих в США трудностях: в образовании, в связи с преступностью или наркоманией, то по «Свободе» США предстают абсолютным идеалом (даже и неправдоподобным) — обществом «всеобщего счастья.

Но не в ее утрированной проамериканской ориентированности главная особенность станции «Свобода». А в том, что о нашей стране она говорит: «у нас», обращается как бы от имени какой-то группы людей, связанных со страной. Так что это и не совсем радиостанция эмигрантов: они-то в своем большинстве стремятся ассимилироваться в стране, куда прибыли, жить ее интересами. А скорее радиостанция беженцев с оттенком «правительства в изгнании», как не раз бывало во время войны. И дух ее передач вполне соответствует такой интерпретации.

В свое время в «Литературной России» (№ 42 от 20 октября 1989 г.) работе радиостанции «Свобода» была посвящена яркая статья одно время сотрудничавшего с ней публициста из ФРГ М. Назарова. Вопрос кажется мне очень важным, и я хочу продолжить здесь его обсуждение. Все двадцать четыре часа суток вещает по-русски эта радиостанция и слышна по всей стране. Передачи ее предельно политизированы (вне сравнения с другими западными радиостанциями). Я много ее слушал, записывал наиболее поразившие высказывания, и у меня сложилось убеждение, что главное содержание передач — подборка фактов, внедрение настроений, так или иначе способствующих развалу, распаду нашей страны. Как сверхмощный усилитель, такая радиостанция превращает единичный факт в грандиозное массовое явление. Например, человек в Иркутске или Томске звонит по телефону в Мюнхен («Наш корреспондент из Томска сообщает»): «Масло вывозят из Сибири, не отдадим наше масло!» А люди в Красноярске или Омске, у которых и правда дети не видят масла, наливаются злобой — ведь не поедут же они проверять, что в Вологде нет масла — ни «вологодского», ни какого другого.

Не удивительно, что дух агрессивного сепаратизма, разжигания противорусских страстей клубится над передачами. Так, в передаче о митинге в Киеве, посвященном памяти жертв сталинизма (5 марта 1989 г.), подробно изложена речь одного из участников, утверждавшего, что одна из сил, «запустивших машину террора», — «это эгоистическая национальная сила русского великодержавного шовинизма». В другой передаче П. Вайль излагает такую точку зрения: голод 32-го—33-го годов был «актом геноцида против украинского народа», «не только следствием политики коллективизации». (Как объяснить тогда голод тех же лет в Поволжье?) В интервью с В. Коротичем рассказывается о советах последнего по «украинизации» в таком духе: «На данном этапе элемент директивности неизбежен». В сообщении о митинге в Киеве говорится лишь о выступлениях с призывами к отделению Украины. После протестов киевской газеты радиостанция оправдывается: действительное положение вещей было не извращено, а «лишь представлено не во всей полноте».

Поэт Н. Коржавин призывает население Прибалтики к сдержанности и осторожности в своих требованиях: «если после того, как вы добьетесь своего, все

рухнет, и всех задавит...», «дело пахнет кровью и хаосом». (Теперь мы видим эту кровь в Закавказье.) Но В. Белоцерковский его обрывает: «это «плач по империи». «Но — перефразируя слова Коржавина — главное, чтобы империя стояла, а там хоть трава не расти. Так получается». (Открыт новый плодотворный прием: «перефразируя», «так получается», — очень широкий спектр выводов можно сделать.) Да и удивительна ли такая позиция, если Маликович, ведущий на «Свободе» программу «Советский Союз и национальный вопрос», в то же время — главный редактор журнала «Форум», финансируемого группой украинских сепаратистов, и сам отражает в журнале такие же взгляды?

Когда в Эстонии бастовали русские рабочие, протестуя против дискриминирующего их избирательного закона, «Свобода» объясняла эти забастовки происками Москвы. Ну совершенно как в свое время в наших газетах А. Солженицына и А. Сахарова называли агентами ЦРУ!

Много есть темных сторон в нашей жизни. Но если составить себе представление о ней по передачам «Свободы», то окажется, что в ней вообще нет ничего другого. Возникает фантастический образ народа, живущего жизнью без единого светлого проблеска: в условиях бесправия, угнетения, нищеты, недоедания, одичания, озлобления, жестокости. Непонятно только, почему все жители этой страны не удавились? Одним словом, точная копия той картины западной жизни, которую еще недавно можно было получить из нашей прессы.

В разрушительном порыве, вдохновляющем руководителей радиостанции «Свобода», чувствуется глубокая эмоциональная вовлеченность, нечто, давно выраженное словами:

Как сладостно Отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья.

Официальная позиция редакции «Свободы» — что они идейные противники коммунистического однопартийного режима в нашей стране. Но в накале их чувств проглядывает ненависть, как говорил Достоевский, «натуральная физическая» — «за климат, за поля, за леса...». Это подтверждается и тем, что есть объект их неприязни, который не встречает снисхождения совершенно независимо от общественного строя ни до, ни после 1917 года, — русский народ, Россия. Мы видели, например, как вину за террор, коллективизацию, голод стремятся переложить на русских. Под суд попадает даже вся русская культура. В серии передач «Русская идея» лектор-философ ставит вопрос смело, глобально: «Можно ли считать русскую культуру высокоразвитой, если она насквозь литературоцентрична?» Конечно, ответ — отрицательный. Эта культура «ориентирует жизнь на литературный миф». «Что проповедовали славянофилы, а за ними и классики русской литературы? Антиисторизм» (от «Войны и мира» до «Красного колеса»?); «нелюбовь к политике, к формально-легалистическим определениям общественной жизни» — а классики какой литературы их любили? — Бальзак, Диккенс? И последний гвоздь в гроб: «пренебрежение к отдельной личности, вырванной из контекста вот этой хоровой жизни, — отрицание за личностью самого права искать истину». Вот этим «пренебрежением к отдельной личности», очевидно, и рождены Акакий Акакиевич, Мармеладов, Анна Каренина, Иван Денисович и Иван Африканович... А Пьер, Левин, Раскольников, Иван Карамазов — действительно, какая другая литература убедительнее «отрицала само право искать истину»? И какие эмоции должны так застилать глаза, чтобы подобное выговорить? Но автор идет и дальше вглубь, литература для него лишь проявление сознания народа: «русское сознание в принципе (!) идеалистично и утопично».

Не удивительно, что «русский великодержавный шовинизм» — враг, с которым постоянно борется радиостанция. Но если вспомнить, как с ним боролся Сталин (в его докладах с X по XVI партсъезд), как Зиновьев и Яковлев призывали «подрезать его головку», «прижигать каленым железом», то возникает сомнение в том, что антисталинизм или даже антикоммунизм является основной позицией редакции. Тем более что этот «шовинизм» они обнаруживают при всех политических режимах в нашей стране. Например, А. Синявский прочел цикл из трех (!) докладов об этом опаснейшем явлении и для начала познакомил слушателей с ним на примере событий, относящихся к 1885 году. Дальше каким-то загадочным образом, одновременно с уничтожением русской деревни и православной церкви, с унижением национальной истории и культуры, «национальное русское чувство приобрело характер русского мессианства». «Возникает чувство своего невероятного национального превосходства, подчас основанное, как ни странно, на неосознанном чувстве собственной неполноценности». Тут нельзя не согласиться — действительно, очень странно! Опять это глубинное свойство русского характера: «одна из особенностей русского национального характера — это способность удовлетворяться единственно тем, что он русский (значит — хороший!). И соответственно его подозрительность к другим народам, которая находит выход в национальной нетерпимости, вплоть до ксенофобии». «К этому прибавляется еще одно чувство — зависть». Поразительно, что корень зла чисто расовый: «глубинная черта русского национального характера» — не временные исторические причины, особенности политического уклада, экономика... Тут нет надежд на изменение к лучшему. И дальше (далеко не у одного Синявского) на все лады — излюбленный сейчас прием: кто смеет говорить о судьбе русских, тот фашист. Тут и любимый Синявским «православный фашизм», и «обретающая все более явственные фашистские очертания «новая русская правая» (Янов — Матусевич), и «смрадные черносотенные издания, и авторы, воинствующий шовинизм, народоненавистническое подстрекательство» (Матусевич). Как уверяет Синявский, сейчас в СССР «идея русского национального превосходства не имеет никаких ограничений. Носители ее пользуются почти что дипломатическим иммунитетом и поощряемы во всех формах общественной жизни». Это можно легко проверить, например, по основным телевизионным программам: «Взгляд», «Пятое колесо» и т. д. Неужели это «фашисты» пользуются там «дипломатическим иммунитетом»? Одна радиостанция «Свобода» жертвенно сражается и с православным, и с русским фашизмом. Там мы можем услышать, что «русским быть трудно», как, впрочем, трудно быть и взрослым. «А пора бы» (Хенкина) — то есть русские не взрослые. И изложение совершенно бредовой английской статьи, с сочувствием цитирующей М. Н. Покровского: «Мы, русские, были величайшими разбойниками на земле», апеллирующей к его концепции, о которой, казалось бы, уже давно все стыдятся всерьез говорить. Но более того, «празднества по поводу 1000-летия крещения Руси — возврат к сталинизму», «традиционный русский национализм опять вошел в моду».

После этого уже естественно услышать заявление главы русской редакции В. Матусевича, что «половина населения этой страны нерусские, и говорить о патриотизме русском в такой стране просто бессовестно, безнравственно». (Нравственно ли говорить о патриотизме грузинском или латышском? — остается неясным.) Но и более того, в письме сотрудницы радиостанции в газету «Русская жизнь» (Сан-Франциско) сообщается, что на одном совещании Матусевич указал: «Наши передачи ведутся не для русского народа, а для советского — на русском языке».

Отношение к русским как бы персонифицируется в отношении к русским писателям. Для радиостанции «Свобода» писатели-«деревенщики» — видимое воплощение их противника: того «русского патриотизма», о котором «говорить бессовестно». Матусевич говорит об опасном влиянии Астафьева, Белова, Распутина на Михаила Горбачева — «тревожном росте влияния реакционно-шовинистической группы российских литераторов», Коротич в интервью — что Астафьев и Распутин «перестали заниматься писательством и начали заниматься говорительством». Опять Матусевич о Распутине: «Куда как знакомые аргументы! Насквозь протухшие! Отменно низменные».

В. Солоухину не прекращают напоминать (главным образом Матусевич), как он виноват тем, что некогда выступил на собрании с осуждением Пастернака. Но в то же время «неучастие в пропагандных кампаниях застойной поры не делает нынешнее мракобесие распутиных и куняевых более привлекательным, более нравственным» (тот же Матусевич). Белоцерковский слова В. Белова: «надо работать с ответственностью» перетолковывает: «то бишь с бдительностью». Сообщает, о чем хотел бы (по его мнению) сказать Белов, но не посмел — причем это целая программа! И подводит итог: «чудовищные и в то же время жалкие потуги!». При том, что Белов ни одного слова из того, что так возмущает Белоцерковского, не говорил.

В специальной передаче, посвященной Белову, Матусевич осуждает (вернее, проклинает) его за взгляды его героев — прием прокурора на процессе Даниэля и Синявского. «Василий Иванович Белов лжет постоянно, настойчиво, расчетливо»: это, по-видимому, из-за очевидной оговорки — раз в 100 преувеличенном числе больных спидом детей в США (когда президент Рейган оговорился, спутав на пресс-конференции Вьетнам с Таиландом, все только посмеялись). И под конец просто уж завывание: «лад — ложь, ложь —лад». Откуда такая ненависть к деревенскому, крестьянскому «Ладу»? Ведь Матусевич, наверно, той деревенской жизни и не видел, и узнать ее не мог, а вот почему-то возненавидел.

Дух агрессивной нетерпимости, господствующий в передачах радиостанции «Свобода», виден и из тех сообщений о ее работе, которые встречаются в западной русскоязычной прессе. Любые намеки на антирусскую линию редакции сразу — ответным ударом — превращаются в «антисемитизм» или «фашизм». В. Белоцерковский докладывает американскому начальству: «венец разгула нацистских настроений на Р. С. », «погромная листовка», «антисемитская кампания». (По газете «Наша страна».) «Опасно клеветнические документы», «явно антисемитские высказывания г. Оганесяна». Оформлено это так, как в свое время, вероятно, оформлялись «сигналы бдительных граждан»: «кому — Г. Рональдсу; от — Рахиль Федосеевой». (В эфире тот же персонаж представляется иначе: «Ведет передачу Аля Федосеева». Можно понять, зачем нужны псевдонимы и клички в подпольной партии, уголовной шайке, полицейскому провокатору. Но зачем они на радиостанции «Свобода»?) Целое следствие было налажено в связи с передачей Л. Лосева «Заметки при чтении «Августа 1914» Александра Солженицына» (описано в журнале «Литературный курьер»). Авторы (передачи и романа) не скрыли того, что убийца Столыпина — еврей, и этого было достаточно для «докладных записок» с обвинениями в «пропаганде расовой ненависти», «крайнего антисемитизма» (Лев Ройтман, Вадим Белоцерковский). Автор передачи упоминает

«Протоколы сионских мудрецов», называя их гнусной антисемитской фальшивкой. Но, по мнению Белоцерковского, это лишь «циничная уловка». Оправдываясь, Лосев должен был доказывать, что он сам — еврей, приводить свидетельства других евреев, что передача — не антисемитская. Так обстоит дело со свободой на «Свободе».

Вся работа радиостанции «Свобода» направлена на то, чтобы внушить жителям нашей страны чувства безнадежности и обреченности, способствовать ее развалу. Такая работа имела бы смысл лишь по отношению к вражеской стране во время войны или хотя бы в преддверии войны. Это и есть война, которую некоторый слой третьей эмиграции ведет против нашей страны мощными современными средствами воздействия на массовое сознание. Уже не раз на это странное явление обращали внимание. В письме нескольких авторов из СССР, опубликованном в парижской газете «Русская мысль», говорится о тенденциях в программах радиостанции «Свобода», которые «объективно способствуют разжиганию национальной розни». Один из руководящих редакторов радиостанции «Свобода» — В. Белоцерковский — цитирует интервью А. И. Солженицына: «Работа русской секции «Свобода» уже доведена до вырождения, настолько плоха, что если еще продолжать в том же направлении, то лучше ее вообще упразднить». Именно в том же направлении редакция и продолжала, так что совет сохраняет актуальность. Мне представляется, что это и есть единственный разумный выход.

Передачи радиостанции «Свобода», финансируемые (как это ежедневно повторяется) конгрессом США, создают у советских слушателей представление, что американская администрация занимает позицию врага, почти воюющей стороны по отношению к нашей стране. А в последнее время — что она пользуется трудностями, вызываемыми реформами, чтобы разрушить страну, что это ее стратегия в «холодной войне». Такое представление может вызвать опасения по поводу разумности проведения реформ в столь опасной международной обстановке, затормозить весь процесс. Может создать представление о США и американском народе — как враге: война, которую ведет радиостанция «Свобода», может быть понята как война американского народа. В этом не заинтересованы ни советский, ни американский народ, на деньги которого вся эта деятельность осуществляется.

Ряд советских граждан, будучи за границей, пользуются приглашением радиостанции «Свобода» и выступают в ее передачах. Как мне кажется, по большей части это связано с недостаточной осведомленностью о работе радиостанции. Я призываю своих соотечественников познакомиться с работой радиостанции «Свобода» поближе и составить себе представление: является ли она «рукопожатной» радиостанцией, можно ли с ней сотрудничать? Или логичнее использовать все возможности (например, пребывание в США), чтобы разъяснить американской общественности, какой вред приносит эта станция, создавая искусственный раскол между нашими народами?

Из рассмотренных примеров случай радиостанции «Свобода» — самый понятный, здесь механизм функционирования ясно виден. Это вещание возникло из сложения двух факторов: дитя, зачатое конгрессом США в лоне третьей волны эмиграции. Финансовые возможности США соединились с бурными эмоциями той части «Малого народа» нашей страны, которая оказалась в эмиграции — а таким образом получила и работу. «Свобода» вещала и до третьей эмиграции, но характер ее передач был иной. Новые эмигранты, принятые на работу сначала в небольшом количестве, повели атаку на старых сотрудников. Пошли в ход обвинения в «фашизме», «антисемитизме», по последнему пункту были даже возбуждены дела в суде. Дела в суде не выиграли, но провести «чистку» редакции удалось.

С тех пор передачи приняли строго идеологизированный характер, о котором можно судить по приведенным выше отрывкам. Слушая их, я задумывался: что же это за радиостанция? Есть «Немецкая волна», «Голос Америки», «Голос Израиля», — а это чей голос? И вдруг понял, что ответ очевиден, — это «Голос Малого народа», нашего «Малого народа», но вещающий из Мюнхена. Сейчас это особенно ясно видно. Например, в связи с выборами радиостанция выступает как орган вполне определенной партии (вот и говори тут о «равных возможностях для кандидатов»). Она пропагандирует программу этой партии, ее кандидатов, сообщает с торжеством об их успехах на выборах, ругает их соперников. Иногда об исходе выборов раньше можно узнать из передачи «Свобода», чем из нашей прессы. Да и сотрудниками, видимо, являются представители нашего «Малого народа», пасшиеся до эмиграции у нас на нивах идеологии. И нет поэтому ничего удивительного в том, что передачи продолжают стиль кампаний против Пастернака, Сахарова, Солженицына, воспроизводят дух процесса над Даниэлем и Синявским. В те годы, когда все это писалось в наших газетах, ряд будущих руководящих сотрудников «Свободы» сотрудничали еще в них: главный редактор В. Матусевич — в «Комсомольской правде», В. Белоцерковский — в «Литературной газете»... Некоторые их высказывания красочны даже для того времени. У радиостанции «Свобода» есть серия передач: «Поверх барьеров». Кажется, что именно так, поверх всех барьеров, распространяется одна идеология и даже один стиль языка: от казенных агитаторов брежневских времен до редакторов «Свободы».

Отсюда же идет и нутряная ненависть к деревне, мужику, отразившаяся, например, в проклятиях «Ладу», переходящих в истерику. И это течет «поверх барьеров»: сразу же после публикации «Лада» автор советского журнала «Коммунист» обвинил В. Белова в «антиисторизме», «патриархальщине». Правда, здесь же осуждается и опасная «реакционность бердяевых» (это еще не успевший перестроиться Ю. Афанасьев).

Передачи «Свободы» ценны тем, что в концентрированном, часто утрированном виде передают эмоции и импульсы, которые в разжиженной, ослабленной форме рассеяны тут и там по нашим средствам информации. Маячит идеал: унизить, втоптать в грязь культуру и национальное самосознание народа; расчленить страну по возможности на мелкие части; подчинить ее иноземному контролю — чтобы ни народ этот, ни страна уже никогда не поднялись. Мягко добиться того, что не удалось грубому Гитлеру.

Западные же средства массовой информации указывают то направление, в котором с очень большой скоростью движутся наши. Это один из вариантов нашего будущего, весьма вероятный — и тем для нас драгоценный как урок. Сейчас уже те и другие чрезвычайно похожи. Например, нападки американских радикалов (через средства информации) на администрацию во время вьетнамского кризиса явно выходили за пределы осуждения этой конкретной войны: возмущение вызывало то, что американцы смеют считать себя великой нацией, имеющей миссию в мире — вариант окрика об «имперском мышлении», столь популярного сейчас у нас. Гершензон писал: «Посмотрите на фильмы, высмеивающие правительство. Их много. А фильмы, оценивающие его положительно? Их мало или совсем нет. Посмотрите на фильмы, высмеивающие полицию. Их много. А фильмы, оценивающие ее положительно? Их мало или совсем нет. Посмотрите на фильмы, осуждающие американское общество. Их много. А фильмы, оценивающие его положительно? Их мало или совсем нет... Соединенные Штаты были отрицательно изображены в серьезных фильмах 70-х гг.».

Средства информации, указывая людям, что важно, а чем следует пренебречь, что хорошо, а что плохо, оказывают влияние того же масштаба, что некогда — Церковь. Но совершенно иное по духу. В Православной церкви до XVII в. даже церковная проповедь считалась слишком безличной, принималось лишь воздействие от сердца к сердцу: от духовного отца — к сыну. Сила же средств информации справедливо называется массовой: каждое ее проявление имеет целью охватить как можно больше людей, в идеале — всех. Поэтому она обращается к сторонам психики, общим всем людям, стимулирует эти свойства и подавляет индивидуальность, своеобразие людей. На Западе не раз сравнивали действие средств массовой информации с манипулированием павловской собакой, желудочный сок которой выделяется по звонку. Такое принижение индивидуальности называют ментицидом — убийством мысли, по аналогии с геноцидом — убийством нации. Для человечества здесь возникает угроза не меньшая, чем атомная война или экологический кризис.

С такой опасностью сталкивается сейчас наше общество. И она спрятана глубже, таит в себе потенциально больше губительных возможностей, чем было в подконтрольной, монотонной, неумной пропаганде прошлых лет: тонкое проникновение в глубины сознания, на которое способны современные средства массовой информации, можно из нашего прошлого опыта сравнить разве лишь со злоупотреблениями психиатрией в репрессивных целях. Но эта внезапно возникшая опасность есть плата за неожиданный дар судьбы — за то, что упали внешние путы, связывавшие нашу мысль. Задача в том и заключается, чтобы, не утратив это благо, избежать опасностей, которые оно несет и которые, на примере Запада, отчетливо видны.

В руках нашего общества неожиданно оказалась колоссальная сила. Те, кто может бесконтрольно оперировать ею, становятся истинными хозяевами жизни. Что нам за радость — менять один идеологический контроль на другой, менять хозяев наших мозгов и душ? Разве обязательно нам становиться подданными — рабами этой «Шестой монархии»? Как раз сейчас, когда жизнь сдвинулась с места, еще пластична и не отлилась в четкие формы, есть шанс найти выход: соединить свободу выражения мысли со свободой от информационного манипулирования.

С гениальной прозорливостью мучительный для нашего века вопрос был предугадан, когда еще все «средства массовой информации» сводились лишь к типографскому станку и тиражи измерялись не миллионами, а тысячами:

> «Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографского снаряда...
>
> Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом».

Какие же условия налагает сейчас общество на средства массовой информации? Как добиться их соблюдения? На эти вопросы мы должны найти ответы. Как, впрочем, и все современное человечество.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



История Отечества: документы и судьбы

Письмо* без автографа

Много вопросов и недоумений возникает при чтении этого письма. Илия Британ опубликовал его в 1924 году отдельной брошюрой под своим именем и вроде бы как собственное сочинение. Может быть, поэтому письмо поначалу не привлекло внимания. Лишь в 1928 году во французском журнале «Ревю универсаль» оно было перепечатано с комментарием (т. 32, вып. 23), где автором письма однозначно назывался Н. И. Бухарин, а адресатом — сам Британ.

Илия Британ (1895—1945) — поэт и публицист православно-почвеннического направления. В 1920—21 гг. он был депутатом Моссовета, в 1922 году выслан за границу. Письмо предстает как продолжение многолетнего спора «одного из вождей мировой революции» с российским патриотом, почитателем Достоевского, Соловьева, Федорова. Спор этот является отражением противоборства разных общественно-политических сил, разбуженных Революцией. Куда и каким путём идти? Для патриотов с революцией связывались надежды на подъем России, реализацию ее огромных потенциальных возможностей. Для космополитов русская революция виделась средством достижения каких-то всемирных целей. Неясность этих целей, их в известной мере мистический характер создавали, с одной стороны, едва ли не общую методологическую основу, а с другой — надежду, что «вожди» просто заблуждаются и сбивают революцию с ее естественного курса. Такая надежда питалась и явной неоднородностью большевистской партии, наличием в ней (пожалуй, более чем в какой-либо другой) патриотической тенденции.

Сомнений в подлинности письма у западных публикаторов не было: факты сравнительно легко проверяемы и подозрений не вызывают. За подлинность говорит и интимность письма. Настораживает лишь сам факт публикации доверительного письма: издатель ставил своего корреспондента под смертельный удар. Правда, поставив свое имя, Британ оставлял возможность оппоненту «откреститься» от письма. Но вряд ли этого было достаточно для «заинтересованных лиц», каковыми оказывались все члены Политбюро.

Не спасало Бухарина и признание письма литературной мистификацией: все равно интимные факты восходили к нему и исходили от него. В отличие от Г. Соломона, Британ не жил «среди красных вождей», а о некоторых фактах сообщил за шесть лет до публикации Соломона. О «свежих» событиях, также оцениваемых изнутри, Британ и вовсе не мог знать. А эти оценки помогают и датировать письмо довольно узкими пределами лета 1924 года: 7 мая покончил с собой Лутовинов, 10 мая умер Кутлер, и вскоре выясняется, что как нарком финансов Г. Сокольников держался именно на опыте Кутлера («умер вместе с Кутлером»). Единоличным же редактором журнала «Большевик» Бухарин был до сентября 1924 года, а В. Брюсов скончался 9 октября.

Не исключено, что Британ воспользовался каким-то письмом Бухарина и «вмонтировал» сюжеты из давних споров и бесед. Но сама главная канва спора отражает реальность тех лет (да и наших тоже) и уже потому представляет интерес. К тому же оценки «вождей» и степень непонимания Ленина — самое ценное в письме — выдумать просто невозможно: ведь автором письма глубина этого непонимания даже и не осознана.

Весьма вероятно, что в СССР на письмо обратили внимание лишь после публикации 1928 года, когда оно прямо было приписано Бухарину. С этого времени стремительно стали падать и акции Бухарина, причем поведение его никак не способствовало сохранению какого-либо авторитета. Постоянные самобичевания лишь увеличивали подозрения, что один из недавних «вождей» что-то скрывает.

На процессе Бухарин отвергал многое из навязываемого ему «судьями». Но он брал на себя что-то не менее значимое, оставшееся нераскрытым. Что он имел в виду, осуждая свое прошлое, называя прежние идеалы «абсолютно черной пустотой»? Письмо, возможно, это и проясняет. Автор стремится уверить себя, что во имя мировой революции все оправдано (ср. Троцкий: «Если бы оказалось, что мы не справимся с теми испытаниями, <...> когда мы взяли власть, то, стало быть... человечество есть не что иное, как навозная куча». Выборку подобных высказываний см. в статье Э. Скобелева «Читая Троцкого» в № 12 за 1989 г. и № 1 за 1990 г. «Политического собеседника»). Но червь сомнения его уже точит. И 14 лет спустя, как заметил Ю. В. Емельянов — автор самой честной книги о Бухарине, — подсудимый «вынес сам себе приговор значительно суровее и беспощаднее, чем моралиизаторские, вызывавшие «спазмы ужаса в горле», истерические обвинения А. Я. Вышинского» («Заметки о Бухарине». М., 1989, с. 303). Он каялся «перед страной», «перед всем народом».

Судя по первым строкам письма, Бухарин на что-то отвечал, воспользовавшись оказией (питомцем Маркса, Лермонтова и Бодлера назван, видимо, Л. Сосновский, декларировавший приверженность русской классике). В какой-то мере Бухарин спорил и с самим собой: он в свое время увлекался Соловьевым, и преодоление увлечения шло трудно, в логике рассуждений отвергаемого философа. Истеричность, наклонность к мистике останутся у Бухарина до конца дней. Он всегда как бы играл роль, заглушая неуверенность и сомнения высокопарным теоретизированием и наигранным цинизмом.

В 1924 году Бухарин — монопольный идеолог и теоретик партии. С высоты положения он иронизирует по поводу теоретического уровня ленинских выступлений. Но в Политбюро он совершенно одинок. Еще не распалась «тройка» (Зиновьев, Каменев, Сталин), непримиримы отношения с Троцким, Зиновьев и Крупская — по существу, личные враги Бухарина. В Политбюро явный перевес у «левых», склонных к скорейшему свертыванию нэпа, а Бухарин из левых переходил направо, утверждаясь во мнении, что «продержаться» до мировой революции позволит лишь нэп. Отсюда ощущение одиночества, безысходности. Отсюда резкая оценка своих коллег, а заодно и народа страны, от которого он всегда отстоял весьма далеко.

В 1925 году положение изменится. Сталин поддержит Бухарина против Зиновьева, в Политбюро сложится новое большинство. Оно выступит за продолжение нэпа, хотя мотивы будут и различными. Сталин использует идею строительства социализма в одной стране, восходящую к ленинским оценкам перспектив развития революции, сделанным еще в 1915—1916 годах, Бухарин в этом вопросе останется близким Троцкому и Зиновьеву.

Бухаринские оценки «вождей» проясняют значимость и характеристики Лениным самого Бухарина. «Теоретизирование» без диалектики, абстрагирование от действительности. Приверженец махизма, Бухарин третирует ленинскую работу «Материализм и эмпириокритицизм», в которой заложено в высшей степени важное предостережение: правильная политика может строиться лишь на всестороннем учете тенденций и процессов общественного развития, а познать действительность позволяет лишь метод диалектического материализма. Не понимая, что это такое, Бухарин не в состоянии понять, каким образом Ленин предугадывал события.

Презрение к «низам», массам, пронизывающее письмо, вовсе не личное. Оно вытекает из махистского, богдановского представления о человеке как некоем винтике системы, который предполагалось «подогнать» под идеал — по существу, весьма бедный и плоский, далеко отстающий от потенций, заложенных в реальном человеке. Если марксизм предполагал создание условий для развития личности, то махизм втискивал личность в произвольно сконструированные условия.

Ленин, естественно, хорошо сознавал, сколь глубокая пропасть отделяет от него «соратников». Он выразил это в замечании, сделанном в 1915 году и не предназначавшемся для печати: «Диалектика и *есть* теория познания (Гегеля и) марксизма: вот на какую «сторону» дела (это не «сторона», а *суть* дела) не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах» (ПСС, т. 29, с. 321). А «другие» — это и есть «соратники» Ленина.

«Соратники», похоже, не поняли даже смысла популярной ленинской работы «Три источника и три составных части марксизма». Они не задумывались над тем, что представляет собой «третий источник» — утопический социализм. А его кредо — общественное самоуправление. По Ленину, утописты не могли дать действительного выхода потому, что не видели механизма перехода к такому обществу, не видели сил, на которые следовало бы опираться, которые надо бы было просвещать и организовывать во имя создания такого общества. Махисты же сами оставались утопистами: восприняв лозунги, они пуще всего боялись этого самоуправления.

Показателен эпизод, широко освещенный нашей печатью и относящийся к 1923 году. Работа Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин?» была единодушно отвергнута Политбюро, причем члены его хорошо сознавали глубину принципиальных расхождений их с Лениным. А работа как раз и ставила вопрос о преодолении отрыва «вождей» от масс, о движении к самоуправлению трудящихся, без чего не может быть речи о социализме.

Вопреки утверждениям Бухарина, между Лениным и его «соратниками» лежала глубокая пропасть и в политических вопросах. Относительное единство поддерживалось лишь потому, что шла прямая борьба за власть, за ее удержание, в ходе которой приходилось закрывать глаза на несовместимость многих воззрений и представлений. Так, у Ленина было иное, нежели у большевиков-«западников» отношение к России, российскому рабочему классу (см., например, его отповедь Троцкому и Мартову по этому вопросу в ПСС, т. 19, с. 358—372), крестьянству (неда-

* Письмо печатается с издания, осуществленного в 1924 году И. Британом.

ром Бухарин усматривает у Ленина элементы бакунизма и «пугачевщины»), интеллигенции.

На последнем надо остановиться особо. Как махист, Бухарин был приверженцем идей Пролеткульта, в рамках которого культура теряла не только общечеловеческое значение, но и становилась объектом уничтожения во имя искусственно создаваемой, весьма примитивизированной, якобы «пролетарской» культуры. А в русле этих представлений интеллигенция мыслилась извечным и неисправимым врагом рабочего класса и идей социализма. Подобное отношение к интеллигенции было и у других приверженцев лозунга «мировой революции». Главный оппонент Бухарина — Зиновьев предлагал «разрешить всем рабочим расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице» (см. Стасова Е. Д. «Страницы жизни и борьбы». М., 1960, с. 105). И расправлялись.

В последнее время к этой компании нередко привязывают и Ленина, вырывая у него отдельные высказывания об «интеллигентности» в смысле дряблости, аморфности, безыдейности, оторванности от народа, эгоистичного либерализма. Но все эти пороки и ныне присущи значительной части интеллигенции, и лишь делом она может завоевать право на уважение со стороны тех, кто непосредственно создает материальные ценности. В целом же у Ленина постоянно просматривается принципиально иное отношение к интеллигенции, специалистам высокого класса, нежели у его «соратников». Именно с Бухариным спорил Ленин весной 1918 года: «...Когда тов. Бухарин говорил, что есть люди, которые получают 4000, что их надо поставить к стенке и расстреливать — неправильно. Да их надо найти. Ведь у нас не очень много мест, где получают они по 4000. Их тянут здесь и там, — специалистов у нас нет, вот в чем гвоздь дела, вот почему нужно привлечь 1000 людей, первоклассных специалистов в своих отраслях, которые ценят свое дело, которые любят крупное производство, потому что они знают, что тут повышение техники. И когда здесь говорят, что социализм можно взять без выучки у буржуазии, так я знаю, что это психология обитателя Центральной Африки. Мы не представляем себе другого социализма, как основанного на основах всех уроков, добытых крупной капиталистической культурой» (ПСС, т. 36, с. 272).

Примечательно, что всего через несколько дней после революции в Германии, в ноябре 1918 года, Ленин обращается к партийному активу с призывом преодолеть расхождение с патриотизмом, вызванное «похабным» Брестским миром (ПСС, т. 37, с. 188—197 — «Ценные признания Питирима Сорокина» и с. 207—224 — «Доклад об отношении пролетариата к мелкобуржуазной демократии» на собрании партийных работников Москвы 27 ноября 1918 года). Ленин высказывал убеждение, что патриотическая часть мелкой буржуазии (крестьянства и интеллигенции) пойдет вместе с большевиками по пути к социализму. Эту мысль проводил Ленин неоднократно и позднее, в частности в докладе на VIII съезде партии. Эта мысль отражается и в важном разъяснении, сделанном Лениным 5 июля 1921 года иностранным делегациям на III конгрессе Коминтерна.

Бухарину академики и другие представители творческой интеллигенции кажутся попросту «купленными». Он не в состоянии понять, что идут эти люди в услужение не к нему и ему подобным (хотя и таковые были). Для них это была наиболее целесообразная форма служения Отечеству, столь чуждому и ненавистному бухариным и зиновьевым.

Бухарин не понимает даже и смысла ленинской реакции на «послание», «полное яду» Британа. А она вполне в духе упомянутого разъяснения, увязывалась и с возражением Бухарину весной 1918 года. Говоря о необходимости электрификации всей страны, Ленин информирует иностранных делегатов: «Мы уже назначили специальную комиссию из лучших экономистов и технических сил. Почти все они, правда, настроены против Советской власти. Все эти специалисты придут к коммунизму, но не так, как мы, не через двадцатилетнюю подпольную работу, во время которой мы непрерывно изучали, повторяли и пережевывали азбуку коммунизма... Специалисты-инженеры придут к нам, когда мы им практически докажем, что таким путем повышаются производительные силы страны. Недостаточно доказывать им это теоретически. Мы должны им доказать это практически. И мы привлечем этих людей на нашу сторону, если мы поставим вопрос иначе, не на почву теоретической пропаганды коммунизма» (ПСС, т. 44, с. 50).

Именно здесь кардинальное расхождение Ленина с «соратниками». Истинная любовь к Отечеству заставит его граждан искать те социальные ориентиры, которые направят страну по пути процветания. Ленин не сомневался в том, что строительство социализма и является таким путем. Доктринеры-«теоретики» разглагольствовали о коммунизме, попирая на практике как раз те силы, которые только и могли обеспечить реализацию идеалов социальной справедливости. При очень широком спектре расхождений в позиции Британа Ленина могла привлечь именно боль за Россию.

Отмеченное расхождение помогает понять и «закон», превращающий революционных подвижников в обывателей, приспособленцев и хапуг. Инженеры-патриоты примут тот социальный строй, который поднимает престиж страны и жизненный уровень народа. А куда придут люди, захватывающие власть в стране, народ которой они не понимают и даже презирают?

У института Власти есть свои закономерности. Если она бесконтрольна, то неотвратимо превращается в деспотизм. И не очень важно, искренни, честны ли «руководители» субъективно: ошибочная доктрина неотвратимо вела к сектантству, противопоставляла их народу. Известный тезис Маркса о том, что «воспитатель сам должен быть воспитан», понимался идеалистически. Заметно преувеличивалась возможность «переделки» сознания и «руководства». Социологизм махистов мог быть только вульгарным. «Классовый подход» как метод выявления интересов разных общественных слоев служил лишь отделению «чистых» от «нечистых», причем последних оказывалось абсолютное большинство. «Соратники»-махисты в силу своих исходных позиций не могли усвоить ленинские рекомендации, высказанные в статье «О кооперации»: «Одно дело фантазировать насчет всяких рабочих объединений для построения социализма, другое дело научиться практически строить этот социализм так, чтобы *всякий* мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении» (ПСС, т. 45, с. 370). Задача гармонизации на путях соблюдения баланса интересов разных слоев общества вообще не ставилась.

«Закон», превращающий честных и самоотверженных граждан в приспособленцев и хапуг, в общей форме объяснен тезисом: «общественное бытие определяет общественное сознание». Нынешняя ситуация помогает понять то, что вышло на поверхность уже в первые годы после революции: рядом с «командно-административной системой» пышным цветом распускается криминальная экономика. Поскольку и та, и другая оторваны от народа, они неизбежно устанавливают подобные «деловые» отношения между собой.

Не следует, впрочем, и отвлекаться от реальности тех лет. И суть происходившего опять-таки помогают понять нынешние события. А опыт прошлого должен бы „предостеречь от его повторения. Есть закономерность в том, что позиция Ленина в целом не встретила поддержки и понимания даже в его ближайшем окружении. Модное ныне (к сожалению) слово «разбалансированность» вполне применимо и к характеристике положения, складывавшегося в России с 1916 года. В России издавна порядок поддерживался не государственными законами, а в рамках традиционного «обычного права», умеряемого и примиряемого «на стыках» разнопорядковых общин административной системой. Крах прогнившей системы вызвал такие потоки крови, что и ныне запах ее вызывает тошноту. Весьма наглядная картина реализации «личного и группового интереса», который и ныне так настойчиво противопоставляется общенародному и государственному. Циничные рассуждения Бухарина о роли «первого удара» («кто кому первым проломит голову») навевались реальностью тех дней. Анархия забирала ничуть не меньше жертв, чем столь одиозные «белый» и «красный» террор.

Прав Бухарин и в том, что в 20-е годы власть большевиков практически никем не оспаривалась, поскольку это была единственная сила, способная дать хоть какую-то гарантию от погромов. Психология гражданской войны пронизывала все общество сверху донизу. Консолидировать общество в таких условиях было чрезвычайно трудно. Ленинские рекомендации давали едва ли не единственный шанс. Но упоение властью и опьянение кровью толкали преемников на продолжение войны до победы «мировой революции». Трагические события 1929—1933 годов стали возможны именно потому, что в обществе отнюдь не улеглись страсти и велико было желание разных социальных групп посчитаться с реальными или мнимыми соперниками и конкурентами в распределении не слишком богатых благ.

И прошлый, и настоящий опыт показывает, что там, где нет баланса интересов, ни для кого никаких гарантий быть не может. Мы сейчас в опьянении от критики командно-административной системы. А «народные избранники», обсуждая вопрос о президентском правлении, выдали столько фактов о развале всего и вся, о безудержном росте преступности, о крушении хоть каких-то правовых основ, что кровавый отблеск «1918 года» снова видится у горизонта. Надо бы признать, что с психологией первобытного общества или эпохи «великого переселения народов» в конце XX века не только не прожить, но и не выжить.

Печальный парадокс наших дней заключается в том, что мы много говорим о «правовом государстве», а законы, обязательные для любого мало-мальски организованного общества, не выполняются. С трибун съездов, на митингах, в печати клеймят реальные или мнимые пороки прежнего руководства взяточники, лоббисты «теневой экономики», демагоги, жаждущие власти. Пока популистские «народные фронты» соревнуются в растаскивании по сусекам действительно общенародного достояния, лишь изредка вырывая тот или иной кусок друг у друга, их беспринципные лидеры торопятся утвердить новый порядок на потерявшем управление корабле. Не следует тешить себя иллюзиями: новый порядок будет таким же, каким он был не так давно во многих странах Европы. Эту угрозу надо бы осознать и предотвратить, пока еще не поздно.

А. ВИНОГРАДОВ,
А. КУЗЬМИН.

на погруженной во тьму, — тогда даже Ц.К. заседало при лампочке в 16 свечей, — Пречистенке: Деникин был под Тулой, мы укладывали чемоданы, в карманах уже лежали фальшивые паспорта и «пети-мети», причем я, большой любитель птиц, серьезно собирался в Аргентину ловить попугаев[7]. Но кто, как не Ленин, был совершенно спокоен и сказал, и предсказал: «Положение —... Хуже — не бывало. Но нам всегда везло и будет везти!»

А когда сатанинское кольцо блокады сжалось до такой степени, что мы подумывали о полной сдаче на милость победителей, — кто, как не Ленин, говорил о том, что кольцо лопнет, и что он скоро пообедует с европейскими дипломатами за общим столом?.. Ах, да что там! Таких озарений и пророчеств было без числа, и в этом мы почерпали веру в нашу работу и в нашу победу даже тогда, когда глупые факты подкладывали нам свинью двадцать раз в сутки.

Да... если бы Ленин и теперь был с нами! О, я всегда говорил вам, что самое ужасное и самое контрреволюционное существо в мире (контрреволюционнее даже... вас!) это — Смерть: пока мы работаем тут над освобожденьем пролетариата от экономического рабства, немец должен, — слышите: должен, — скажите ему это от нашего или, по крайней мере, от моего имени, — выдумать средство против этой курносой меньшевички, иначе, право, будет мало и толка, и смысла даже в осуществлении на земле Мирового Союза Социалистических Республик. Бессмертие — это хоть и не написанный, но главный пункт нашей программы: говорю вам сие, как ее автор.

Итак, мы — в пустыне и — без вождя!

Посудите сами...

Сталин — нуль и все спасение видит еще в одном (котором по счету?) миллионе трупов.

Каменев — нуль и поучает нас, как удобнее всего сидеть между двух стульев.

Крупская — нуль и просто — дура, которой мы, для очередного удовольствия «низов» и для пущего бума да шума, разрешили геростратничать, сжигая библиотеки и упраздняя школы, будто бы по завету Ильича: на мертвых все валить можно, ибо они, как известно, сраму не имут.

Зиновьев... о нем разрешите не говорить.

Рыков — нуль и даже разучился острить (единственная его способность: будь он трезв или пьян![8]), к бесконечному удовольствию Луначарского, которого он прозвал Лунапаркским и Лупанарским, а вместо наркома совершенно правильно величает наркомиком[9].

Дзержинский — нуль, если, разумеется, дело не касается Г.П.У., в филиалы коего он превращает все решительно ведомства, куда бы мы его ни посылали.

Я? — Ах, голубчик, и я — тоже нуль, если свести меня с трибуны или с кафедры или вытянуть из-за письменного стола да приставить к «делу»: отлично зная себе цену, я поэтому сроду никаких «должностей» не занимал, тем более что при моих спартанских вкусах — наклонностей к воровству не имею.

Знаю: вы ждете моего слова о Троцком. Но и он всегда был политическим нулем, правда — большим нулем, и останется им до конца дней своих, даже если судьба все-таки сделает из него коммунистического диктатора.

Прежде всего в Троцком, который попался в нашу партию лишь накануне «октября», когда, конечно, это было для него единственным путем к карьере, — в нем нет ничего истинно коммунистического; и поэтому, как всегда, прав был Ленин в своей нелюбви, в своем недоверии к нему.

Троцкий создал красную армию? Полноте: во-первых, если хотите знать правду, никакой армии у нас не существует, если не говорить о парадах, о демонстрациях против мирового милитаризма(!) и об усмирении всяческих восстаний внутри страны, а один виднейший немецкий генерал, коему мы предложили взять на себя верховное инструктирование этой самой «армии», приехал в Москву, поглядел и махнул рукой, сказав нечто весьма нелестное и только рабфаковцами произносимое; во-вторых, не сам ли Троцкий выразился, что его армия — это редиска, красная снаружи и белая внутри, и недаром С. С. Каменев[10], ее фактический вождь и царский служака, все еще не коммунист, загадочно крутит свои великолепнейшие усы и внушает нам неподдельный страх своим молчанием, которое таит в себе черт знает что...

Нет большего труса, чем Троцкий, и поэтому он так любит громкие хвастливые (и всегда — холодные и фальшивые) речи и демагогические словечки, хотя часто и путает в них, — когда-то, например, к стыду нашему, процитировав в одном из своих знаменитых приказов по армии и флоту не более и не менее, как фразу Иуды-предателя: «Что делаешь, делай скорей», не правда ли, даже для коммуниста — не удобно?

Помните, когда пресловутая дискуссия о профсоюзах угрожала и расколом партии, и заменой Ленина Троцким (в этом и была вся сущность дискуссии, скрытая от непосвященных под тряпьем теоретического спора!), Троцкий, имевший за собой на съезде большинство, потому что секретариат не доглядел, и были выбраны не те представители с мест, — Троцкий в последнюю минуту испугался власти и ответственности и постыдно скрылся в кусты, как провинившийся Трезор.

А возьмите, наконец, последнее «выступление» Троцкого[11], так дорого обошедшееся его легковерным друзьям и сторонникам, коих он просто-напросто предал («что делаешь, делай скорей»?) Зиновьеву и Сталину за 30 сребреников: без всякого труда мог он сесть на освободившееся, за смертью Ленина, место партийного диктатора, ибо и «низы», и так называемая армия были в этот момент за него, но он опять-таки постыдно струсил, по приказу «тройки» заболел, отправился на «погибельный Кавказ», где, подражая Николаю II, — он всегда кому-нибудь подражает, — стрелял ворон, а в Москву вернулся тихой стриженой овечкой, спевшись с кем надо, и теперь вновь фрондирует на словах, которым уже никто не верит, угрожает войной всей Европе, подражая на сей раз, кажется, Павлу I.

Троцкий? — «И хочется, и колется, и маменька не велит...»

Он холодный, как ледышка, и только наивные люди его фальшивый пафос и наглость (наши партийные юдофобы давно это подметили!), бесконечную наглость принимают за святой огонь революции. Помните, как эта говорящая машина стояла у рампы Большого театра, принимая овации присутствующих дураков: задранный нос, лицо как у мумии, ни кивка. Чурбан, «голем»...

Ах, покойный Ильич говорил так просто, — как дитя: так, мол, и так, мои милые; это мое мнение, и оно, я знаю, правильное; не согласны? тем хуже для вас, но все равно я поступлю по-своему, а не по-вашему; прощевайте... Да, так говорят, с одной стороны, дети, а с другой — некоторые из мужичков, которые не любят витиеватости, и недаром внутренний облик Ленина во многом напоминает тургеневского Хоря. А Троцкий? Все фальшь, все — ложь, все — поза (хуже Керенского!), все — самореклама и — еще раз — наглость...

Троцкий? Нуль — ваш, то бишь, к сожалению, — наш товарищ Троцкий!..

Ну, стоит ли после этого говорить о четвертом сорте — о Красине[12], о милом Крестинском[13] (не доглядел, разиня, за нашими молодцами в торгпредстве!), о Сокольникове[14], который померк вместе с Кутлером[15], о Преображенском и других сынах старой гвардии? Ведь эдак, чего доброго, придется испачкать бумагу именем Стеклова...

Да, да, все — нули, а молодая гвардия, мои «свердловцы» да комсомольцы, «ленинский набор» и перебежчики из чужих партий плюс наши иноземные содержанки (у нас их — до черта!) — это уже не нули, мой милый, а такие минусы, с которыми — головы не приложишь, как разделаться!

Нуль, умноженный на нуль — это даже красные студенты знают, — есть нуль; вереница нулей, хоть тянись она от Кремлевских стен до Тихого океана, — тоже равна нулю, если слева нет другой цифры, а у нас и справа, и слева — шиш на граблях...

А воруют... Donnerwetter, как воруют! Вор на воре взяткой погоняет...

Тут — какая-то чертова загадка: почему люди, которые совсем недавно жертвовали собой, жили не хуже дорогих вам «подвижников церкви», истинными аскетами, вдруг полюбили особняки (непременно — особняки: квартиры хоть в 20 комнат — им мало!), шампанское, кокоток, да которые подороже, из балета, собственные поезда, «тридцать тысяч курьеров», а жены их — бриллианты в орех («нельзя ли с царицы?»), альфонсов и, конечно, десяток новых платьев в месяц, если не из Парижа, то хотя бы (с кислой миной!) от Ламановой... В чем тут дело? Отчего, например, Иван Иванович[16], который раньше десятки лет жил впроголодь со своей некрасивой женой, но тоже большевичкой, который, получи он завтра миллионное наследство, все до копеечки отдаст его партии, — отчего это теперь он залез в особняк на Поварской, жену прочь, «расписался» с девочкой в 17 лет, раскрашенной да раздушенной, и бессовестно торгует своими визитными карточками: «Милый Коля, сделай такому-то — то-то и то-то», «Милый Феликс, освободи, пожалуйста, таких-то, коих знаю, как честнейших» и т. д. Ведь чуть ли не вся страна управляется такими дружескими «записками», покупаемыми подчас за такие деньги, на которые можно купить самые ценные автографы величайших гениев мира...

Фу, от партии пахнет «жареным» на расстоянии от Земли до Солнца!..

Ну, пусть Демьян пьянствует с буржуями, если ему кремлевского спирта мало для вдохновения: тут хоть для революции пользы. Но как это у наших лучших товарищей, которые стоят за беспощадный расстрел взяточников, рука поворачивается делать то же самое, за что они час тому назад казнили дру-

[7] См. очень похожее описание паники среди московских большевиков в октябре 1919 г. в кн. бывшего заместителя наркома Внешторга Г. А. Соломона «Среди красных вождей». Париж, 1930, т. 1, с. 217—221.

[8] Пристрастие тогдашнего Председателя СНК к алкоголю было широко известно. Н. Н. Берберова в своих воспоминаниях «Курсив мой» пишет, что в 1922 г. он даже приезжал в Германию лечиться от пьянства.

[9] «Вместо наркома величает наркомиком». Игра слов: по-немецки Narr — дурак и Kómik — комик.

[10] Каменев Сергей Сергеевич (1881—1936) — русский и советский военачальник. В 1919—1924 гг. главнокомандующий вооруженными силами Республики, позже нач. Штаба РККА, зам. предс. РВС и т. д.

[11] «Последнее «выступление» Троцкого» — имеется в виду партийная дискуссия конца 1923 — начала 1924 года.

[12] Красин Леонид Борисович (1870—1926) — во время гражданской войны нарком путей сообщения, нарком внешней торговли. Затем на дипломатической работе.

[13] Крестинский Николай Николаевич (1883—1938). В 1921—1930 гг. полпред в Германии.

[14] Сокольников (Бриллиант) Григорий Яковлевич (1888—1939) — в 1922—1925 гг. нарком финансов.

[15] Кутлер Николай Николаевич (1859—1924) — видный кадет, член 2-й и 3-й Гос. думы. После Октября работал в Наркомфине и правлении Госбанка. Скончался 10 мая 1924 г.

[16] «Иван Иванович» — вероятно, Скворцов-Степанов (1870—1924), видный большевистский журналист и историк, нарком финансов в первом Совнаркоме.

гого? Разве не раздаются голоса за то, что «самоснабжение» (по старому — «кормление») — не грех, что с буржуя за «честное» дело, в виде подарка, разрешается получить, ибо это не взятка, где за деньги делают что-то «незаконное»...

О, диалектика революционного марксизма! Вот до чего ты докатилась...

И недаром поэтому «глас народа» всех нас валит в одну кучу жуликов, куда однажды сунули даже бескорыстнейшего Жоржика[17], а завтра, чего доброго, спихнут и меня, а вы знаете, что для меня деньги, комфорт — звук пустой, что для меня революция — все, и, потребуй она от меня жизни моей любимой жены, я спокойненько утоплю ее в умывальном ведре — медленно и мучительно...

В чем тут дело? Отчего воруют? Право, тут какой-то закон...

Ваше объяснение я знаю: вы дали его, обвиняя шантажиста и взяточника Малышева, который проделывал всякие гнусности, будучи следователем М.Ч.К.: «Где грязно, там всегда заводятся клопы», изрекли вы трибуналу...

Позвольте, это же не так: революция не грязь, а священный огонь, и вы, которого, если уж говорить правду, я всегда считал революционером (да, да: не обижайтесь!), вы не смеете так обобщать единичные и случайные факты...

Ах, но дайте мне большого, честного революционера-коммуниста!!!

«Такой не бывает», скажете вы словами армянского анекдота...

Лжете! И вас все-таки надо расстрелять!..

Нет, шучу, шучу...

Вот, значит, каковы у нас теперь дела...

«Россия гибнет!» воскликнете в свою очередь и вы, славянофил наших дней, верящий в «свет с востока» и в божественную миссию неблагодарного отечества. Известное дело, вы — поэт, а мы, хотя тоже романтики, по мнению некоторых, но мы творим наше дело не только пером и не только на бумаге, а также огнем и мечом и на скрижалях проклятой суровой действительности...

Да, я, пожалуй, тоже романтик, и подчас — сентиментальный щенок, отравленный ядом иронии: до сих пор в Копенгагене[18] дети вспоминают обо мне, как о своем лучшем друге, а как-то в заседании политбюро я совершенно серьезно отстаивал одного из сильно провинившихся товарищей, который был мне дорог, потому что у него была... ручная галка, им самим, представьте себе, выдрессированная... Скажете, дурака валяю? Не знаю, и знать не хочу...

Но при чем тут дети да галка? Давайте говорить о вашей России.

Помните ли, как вы однажды выгнали меня из своей комнаты, когда я — это было под утро — в жарком споре с вами открыл вам все наши карты, признав, что у нас нет никакой «советской власти», никакой «диктатуры пролетариата», никакого «рабоче-крестьянского правительства», никакого доверия к нашей дурацкой партии, а есть лишь очень небольшой орден вождей грядущей в мир социальной революции (наподобие тех «масонов», в которых вы, хоть и не по Нилусу[19], но все же верите!), в ответ на ваше надоевшее мне сравнение нас с «бесами», выпалил, потеряв остатки хладнокровия, что Достоевского, к сожалению, нельзя расстрелять?

Вы, добрый друг Францинска Ассизского и «Христов рыцарь», не могли простить моего плевка в вашу святыню: хорошо еще, что, изгоняя меня из своего храма, вы не имели в руках христианского бича... Не то я, пожалуй, за револьвер схватился бы!

Ах, и сейчас, несколько лет спустя, с удовольствием повторяю: Достоевского мы, конечно, пальнули бы, да и Толстого прибрали бы к рукам, если бы он снова «не мог молчать», при виде нашей работы.

Но — зачем отвлекаться: очень рад, что их нет, и я вас огорчаю лишь платонически.

Да, выпалил я тогда здорово, и... что за лицо у вас было в эту минуту...

Но теперь я выпалю, — предупреждаю вас, — нечто похуже.

Россия? Что такое Россия?

Для вас даже в самом слове кроется тут некая «тайна»; для вас оно горит где-то в раю (но не в коммунистическом!) на престоле у вашего бога, который, разумеется, в ваших глазах представляет из себя космического монарха без намеков на конституцию, для вас это

Шесть букв из пламени и крови
И царства божьего ступеней...

Ну, а для меня, для нас это — только географическое понятие, кстати сказать, нами, без малейшего вреда для революции, с успехом упраздненное; для меня это — тоже слово, но — старое, никому не нужное и сданное поэтому в архив мировой революции, где ему и место.

Для меня современная Россия, т. е. С.С.С.Р. это — случайная, временная территория, где пока находимся мы и наш Коминтерн, которому (это в скобках!) ваш глупый Запад с его близорукими, безмозглыми правительствами деньги все-таки даст, ибо, как-никак, а социалисты скорее наши, чем ваши, — даст, не понимая, что мы на эти самые фунты и франки зажжем Европу, проломим всем им приспособления для цилиндров...

Помните (я нарочно так часто напоминаю вам о прошлом!), как вы, став

[17] Вероятно, Г. А. Соломон, которого в большевистских кругах называли Жоржиком и который был обвинен в финансовых махинациях в период дипломатической работы в Германии.

[18] Бухарин жил в Копенгагене в августе — сентябре 1916 г.

[19] Нилус Сергей Александрович (? — 1930) — русский религиозный публицист, один из первых публикаторов т. н. «Протоколов сионских мудрецов».

членом Московского Совета, лидером «беспартийных», которые, будучи взяты нами для декорации в количестве 30% всего состава этой говорильни, ни разу, конечно, не поддержали вас... даже тогда не поддержали, когда вы имели наглость потребовать от нас созыва учредительного собрания (это в 1921 году? Чудак!), — помните ли вы свое громовое послание к Ленину, написанное вами, как «народным депутатом»? Мы все ужасно смеялись, читая ваши искренние благоглупости, которыми вы хотели поучать нас, объясняя, что такое Россия и в чем ее истинное назначение. Ах, тогда вы сами верили в Ленина и думали, что царь-батюшка не видит того, что видите вы, и что злые слуги-советчики скрывают от его ясных очей горе и муку любимой вами и близкой сердцу цареву — России... Вы, в своей византийско-московской романтике, были так же, мягко выражаясь, наивны, как и все русские люди, питавшиеся подобной пищей на протяжении целого ряда веков их глупой, глупой истории.

Нет, мой птенчик. Ленин и все мы (мы, т. е. «орден»!) понимаем русскую действительность не хуже вас, а знаем все, потому что от нас вездесущий Феликс, поставивший за спиной каждого советского гражданина по паре чекистов, не скрывает и не смеет скрыть ничегошеньки...

Знаете ли вы, что сказал Ильич, имевший терпение (гордитесь!) до конца дочитать ваше послание, «полное яду»? А вот что, — теперь открою вам: «Хороший он, по-видимому, человек и жаль, что не наш». Потом, откашлявшись, добавил: «И — умный, очень умный, но — дурак!»

Как вы не понимаете, что то, что дорого вам как некая абсолютная самоцель («Россия», «Русь»), нас интересует лишь постольку, поскольку речь идет о материале и о средствах для мировой революции? Нам нужны — прежде всего более или менее прочный кров, а затем — деньги, как можно больше денег.

Для того, чтобы получить денежки, мы не только дважды обобрали (и еще двадцать два раза оберем!) девяносто процентов России, но и распродадим ее оптом и в розницу, потому что, господин патриот, вся она к нам с лихвой вернется в желанный час мировой революции, во имя которой «все дозволено», — нет-с, мы для этого не постеснялись открыть у себя работающие круглые сутки государственные игорные притоны, организованные нам мужем жены нашего Левушки, «красным Распутиным», Мишкой Разумным. Ну, его самого мы ликвиднули и за ненадобностью (у нас в нашем финансовом ведомстве нашлись арапы не хуже!), и ввиду того, что он больно зазнался, скупив половину наших вождей, — кого за деньги, а кого за девочек. Конечно, знаем: «что прежде было распутно, то ныне стало разумно», но и это — тайна коммунистической диалектики, до которой немецки-тяжеловесный Карлуша Маркс дойти, ввиду своей явной буржуазности, разумеется, не мог. Сие — прогресс!

Игорные дома? А почему нет! мы, может быть, и проектиком товарища Дешевого воспользуемся: то-то смеху будет, и Гришке найдется, наконец, самый подобающий ему пост завгоспубдомами!

Э, мы и водочкой заторговали бы пуще покойника и, сами знаете, к этому готовились (Главстекло посуду работало; самогонке священную войну объявили!), да, скажу откровенно,— испугались того же самого Пахома, который в трезвом виде смирнее телка, а в хмелю — уж больно буен и за вилы хватается...

Ну, а картишки да рулетка, лото и тотализатор — вещи невинные, детские, причем ведь еще кто-то из римских цезарей (ужасно люблю этих ребят, до «рыжебородого» включительно: всякие дураки от добродетели, вроде Тацита и Светония, ни черта в них не поняли!) правильно сказать соизволил, что деньга не пахнет... А хотя бы и пахла: революция не нервическая барышня, которой непременно нужны тонкие ароматы, и не гоголевская городничиха, мечтающая об «амбрэ»... Она и священной проституцией брезгать не смеет!..

Но, синьор, погибает ли Россия? Я ведь все к одному клоню, я все о том же...

Да, ваша Россия, конечно, погибает: в ней теперь нет ни одного класса, кому когда-либо и где-либо жилось пакостней, чем в нашем совдепском раю (кстати: если это — рай, то каков же совдепский ад? Любопытно...); мы не оставили камня на камне от многовековой постройки «государства российского»; мы экспериментируем над живым, все еще, черт возьми, живым народным организмом, как первокурсник-медик «работает» над трупом бродяги, доставшимся ему в анатомическом театре... Но вчитайтесь хорошенько в обе наши конституции: там откровенно указано, что нас интересует не советский союз и не его части, а борьба с мировым капитализмом, мировая революция, для которой мы жертвуем и будем жертвовать и страной, и собою (жертва, конечно, на Зиновьевых не распространяется!) без малейшего сожаления и сострадания к тем, кто нужен в качестве удобрения коммунистической нивы для ее будущего урожая...

А на все выкрики и упреки западного пролетариата, если вдруг он преисполнится любовью к вашей России и обрушится на нас за наши «зверства», мы сумеем ответить ему, что в ужасах русской жизни виновна мировая буржуазия, то насылающая на нас Колчака и Деникина, то «мирно» подкапывающаяся под устои русской революции отказом в кредитах, чем она мешает возродиться нашему хозяйству, в развитии которого так заинтересован весь мировой пролетариат; мы сумеем ответить ему, что наша страна находится в длительном переходном периоде, что лес рубят — щепки летят, что, наконец, отсталость и мелкобуржуазность русского народа требуют

этих суровых методов борьбы,— но что, конечно, западу, где все давным-давно созрело, социальная революция поэтому не угрожает русскими прелестями... Ах, аргументов у нас сколько угодно: чем другим, а этим — богаты и сумеем очки втереть по всей линии со ссылками и на Маркса, и на французскую революцию, и... на что угодно,— хоть на библию, если английские товарищи этого, например, потребуют, ибо они — народ странный...

А кого нам бояться? Не вас ли, которым уже давно никто не верит, ибо... верить не хочет: буржуазия запада, которую вы ненавидите, друг мой, более меня, думает (дура!) содрать с нас шкуру, колонизируя советский союз; а социалисты, пацифисты, гуманисты и прочая дряблая интеллигентская сволочь находится под обаянием наших громких лозунгов, которые этим кретинам кажутся похожими на их сладенькую чепуху,— причем шум и треск, подымаемый нашими резолюциями, протестами, воззваниями и другими изобретениями коммунистической режиссуры, так велики, что заглушают собой стоны и вопли наших жертв и разоблачения странствующих донкихотов по поводу «московских палачей».

Повторяю: вы нам не опасны, ну а если уж очень здорово будете безобразничать, станете нам поперек дороги и в последний момент мы вас не сумеем купить, как это мы делали не один раз и не только со сменовеховцами, то Феликс сумеет убрать вас с нашего пути, ибо его заграничные ребятки — не хуже московских. Я вам и фактик расскажу, и не про какое-либо сожжение неугодной нам книги (помните эту историю?), а куда серьезней и позанимательней. Однажды нашлась такая молодая особа, которая, поехав за границу по нашему делу, нам там изменила, а документы, характера очень пикантного, продала кому не следует; выдать ее нам, конечно, отказали, тем более что хитроумная особа сия, в целях перемены подданства и укрепления своей позиции, срочно вышла замуж за иностранца. Однако наши ее разыскали, подкупили домовую хозяйку, подсунули под кровать этой синьоры бомбы, литературу, а затем донесли местной полиции, что, мол, такая-то — искусный агент III Интернационала. Не буду обременять вас подробностями, но скажу, что особу выслали к нам, а мы... сами понимаете, с каким удовольствием и «сердечным вниманием» Феликс помог этой молодой особе переселиться за границу этого мира!..

Так-то вот: запомните на всякий случай — тем более что казус преинтереснейший...

Ну а тут, у себя, нам и подавно бояться некого: тут мы — полные хозяева...

Страна, изможденная войнами, мором и голодом (средство, конечно, опасное, но зато — великолепное!), и пикнуть не смеет под угрозой чеки и так называемой армии, которые, поверьте, нами довольны, потому что приласкать преторианцев и гончих собак, насытить их по горло всякой всячиной — это наш революционный долг.

Да, забавная комбинация — эта самая ваша Русь! Мы и сами часто диву даемся, глядя на ее пресловутое «долготерпение»... Черт знает, что делаем, а все благополучно сходит с рук, как будто бы все так и надо! Ну, конечно,— Леонтьевский переулок [20], Урицкий, Володарский, пуля в Ленина, убийство Воровского, кой-какие там восстания,— но, право же, это пустяки, дешевка, а не серьезные издержки революции. О всяких там «социалистах» говорить, сами понимаете, не приходится: это жалкие банкроты, импотенты, слизь и трусы, которым мы, к общему для всех удовольствию, дали по башкам, да так здорово, что они раз и навсегда забыли про Балмашевых [21] и Каляевых [22]. Но объясните мне совершенно другое: ведь, почитай, нет в России ни одного дома, у которого мы прямо или косвенно не убили мать, отца, брата, дочь, сына или вообще близкого человека, и... все-таки Феликс спокойненько, почти без всякой охраны пешочком разгуливает (даже по ночам: помните, как мы однажды встретили его около Манежа?) по Москве; а когда мы ему запрещаем подобные променады, он только смеется презрительно и заявляет: «Что?? Не посмеют, пся крев!..»

И он прав: не посмеют... Удивительная страна!

Вот вы все бормотали мне своим исступленным шепотком о церкви да о религии; а мы ободрали церковь, как липку, и на ее «святые ценности» ведем свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша голодающим; при Г.П.У. мы воздвигли свою «церковь» при помощи православных попов, и уж доподлинно врата ада не одолеют ее; мы заменили требуху филаретовского катехизиса [23] любезной моему сердцу «Азбукой коммунизма» [24], закон божий — политграмотой, посрывали с детей крестики да ладанки, вместо икон повесили «вождей» и постараемся для Пахома и «низов» (mundus vult decipi — ergo decipiatur!) открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом... Все это вам известно, и... что же?

Дурацкая страна!

Что касается почтенного обывателя, то он, дело известное,— трус, шкурник и цепляется за нас из боязни погромов, анархии, которые чудятся его паршивой душонке и которые действительно настанут, если нас, чего доброго, чудом каким-то прикончат. Но народ, народ??

«Народ безмолвствует»... И будет молчать, ибо он, голубчик, не «тело Христово», а стадо, состоящее из скотов и зверей. Сознаюсь вам теперь в том, что однажды рассказанная мною история — не анекдот, как я тогда уверял вас, а самый настоящий факт: клянусь... Не понимаете, о чем я говорю? Забыли? А вот о чем: Ленин действительно изрек, что он боится, как бы ему в шутку не подсунули на подпись декрет об обязании всех граждан обоего пола в определенный срок целовать его на Красной площади в срамное место; он, по рассеянности, подмахнет этот указик, и вся страна... станет в очередь, да еще, добавлю я, появятся и такие, которые (не только сменовеховцы, но и поприличнее!) найдут в этом акте величайшую государственную мудрость, причем, конечно, Демьян Бедный и Валерий Брюсов разразятся гимнами, а всякие профессора и академики из бывших людей, просто так, за бесплатно, от избытка собственной подлости, завопят о гениальности, о новом откровении обожаемого «учителя»!.. Ну, что ж: очевидно, так и надо, и государство не есть какая-то там «нравственная идея», как поучали меня в Московском университете, и не станет «Civitas Dei», как полагает ваш любимец, а, извините,— нечто вроде чертова болота, где один класс непременно и с наслаждением душит другой, изредка снисходя до временного компромисса. А «человек» — это вовсе не звучит так гордо, как думает блаженный Максимушка, который, несмотря на свои петербургские гадости (кормление ученых при помощи господ Родэ: мы еле замяли скандал в сем «родэвспомогательном» учреждении!), невзирая на московские истерики и заграничное юродство, все-таки остается нашим, босяком и посылает Ильичу свои запоздалые поцелуи... Нет, человек это — страшная сволочь, и нам с ним — хлопот полон рот, особенно теперь, когда, вместо того чтобы голодать во имя будущего, он, черт его подери, изредка брыкается, заставляя нас тратить много сил, а главное — золота, на его околпачивание и на ежовые рукавицы.

Человек? вне нашего ордена нет никаких человеков, а есть только «вриды», т. е., если вы уже забыли наш «великий русский язык» — временно исполняющие должность сих существ.

Но — ничего, сойдет, все сойдет, раз палочка и все командные высоты коммунистического отечества находятся в наших малопочтенных, но крепких руках...

Да, Россия, народ, которых вы никогда не понимали в своем сахарном идеализме, принадлежат нам: только мы, да еще, может быть (как это ни странно!), самые крайние правые, разные Говорухи-Отроки, только мы разгадали русский сфинкс...

«Народ безмолвствует» и... несет налоги: что и требовалось доказать.

Заговорит? Восстанет? Разин? Пугачевщина? — Заставим умолкнуть, утихомирим, дадим ему «panem et circenses»... наконец,— перепорем, перестреляем хоть половину страны, не щадя ни детей, ни стариков!..

Ну-с, а если не удастся и мы все-таки загремим, то... скажите, пожалуйста, *что мы теряем?* Те, кто нам действительно нужны для дела мировой революции, останутся целы, ибо исчезнут они вовремя; а сотни тысяч сырого материала «низов», ягнят российского коммунизма... подумаешь, какая важность: этого добра нам не жалко ни капельки, а чем страшнее и ужаснее будет реставрация и въезд на белом коне нового «царя»,— тем скорее мы вернемся (такова диалектика истории!), вернемся, и *тогда*... не уставай Феликс, работайте Лацисы и — «патронов не жалеть»!!

Да, терять нам почти что нечего: Россия далась нам даром, еще с приплатой, а уйдем из нее,— если уйдем,— с такими богатствами, на которые можно купить полмира и устроить социальную революцию на всех планетах и звездах Солнечной системы. Подполье нас не пугает: не новость, и в нем есть свое обаяние для масс, а, повторяю (приятно повторить!), средств у нас — без конца, причем, на всякий пожарный случай, они давным-давно находятся за пределом досягаемости тех, у кого их отняли...

Ах, впрочем,— к чему эти мрачные мысли: «нам всегда везло и будет везти!»

А русская свинья-матушка, которая терпеливо пролежала три столетия на правом боку, с таким же успехом пролежит еще дольше — до прихода Мировой Социальной Революции и на левом боку: на то она и свинья...

Теперь вам ясно, что я хочу выпалить? Нет еще? Фу, какой же вы на самом деле — дурак! Не ясно? Ну, в таком случае — получайте: *на Россию мне наплевать*, слышите вы это — *наплевать*,

ИБО Я — БОЛЬШЕВИК!! [25]

---

[20] «Леонтьевский переулок...» — имеется в виду взрыв бомбы, брошенной анархистами в здание МК РКП(б) 25 сентября 1919 г.

[21] Балмашев Степан Валерианович (1882—1902) — революционер-террорист, убийца министра внутренних дел Сипягина.

[22] Каляев Иван Платонович (1877—1905) — эсер, убийца московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича.

[23] Имеется в виду «Христианский катехизис...» московского митрополита Филарета (В. М. Дроздова) перв. изд. 1823 г., краткая редакция которого долгие годы служила учебным пособием в школах и семинариях.

[24] «Азбука коммунизма» — сочинение, написанное Бухариным совместно с Е. А. Преображенским осенью 1919 г., посвященное анализу пунктов программы партии, принятой 8-м съездом РКП(б).

[25] Автор письма был предусмотрителен: оно напечатано на машинке и без подписи. Вместо подписи очень мастерски изображена советская пятиконечная звезда, внутри которой сидят, как в клетке, попугаи и написано: прилетайте и соединяйтесь! Символина — понятная...

И. Б.





АЛЕКСАНДР ФОМЕНКО

МЫ ЖИВЫ — ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Ясно было и в 1985 г., что прекращение неудавшегося тоталитарно-коммунистического эксперимента — дело нешуточное: все государственные и официальные общественные структуры (неофициальных — не было) необходимо перестроить на новый курс, массовое сознание — перенаправить, внушить ему новые объекты для обожания и неприязни. К тому времени советская система монопольно обладала вполне достаточной для начала технической базой средств массовой информации и хорошо подготовленными кадрами преданных ей, системе, пропагандистских работников, готовых и умеющих прославлять и утверждать любую «линию» партийно-государственного руководства, прошедших хорошую школу аппаратной борьбы за выживение в комсомоле, партии, прессе и тому подобных «идеологически выдержанных» местах.

«Солдаты партии», из которых формировались ряды «либералов-прогрессистов», с особым рвением бросились в бой «за перемены», надеясь подольше удержаться в седле. А те, кому предназначалась роль «консерваторов-ретроградов», с не меньшим рвением стали отстаивать «принципы», дотоле обеспечивавшие их спокойствие и относительное благосостояние.

После семи десятилетий грубой, а часто просто низменной «антибуржуазной» и «антикапиталистической» пропаганды на головы простых советских подданных обрушилась массированная, доходящая до степени артиллерийской подготовки «ура-капиталистическая» и «ура-буржуазная» пропаганда. Столь же порой грубая и низменная. Главное было — не дать населению страны возможности и времени остановиться и задуматься: такая остановка чревата анархическими бунтами не привыкшей особенно размышлять обиженной «толпы» или, что не менее вредно для системы, проявлением внутри мыслящей части общества какой-то «третьей» политической доктрины — не нужной, лишней и даже опасной: для кремлевского руководства в его целом, стремившегося играть роль третейского судьи в публичном споре «старого и нового», и лично для «компромиссного лидера» М. С. Горбачева.

Американский политолог Френсис Фукуяма в своей нашумевшей в прошлом году на весь мир статье «Конец истории?» (русский перевод опубликован в «Вопросах философии», № 3, 1990 г.) писал, что, «уклоняясь от решения вопроса о политической реформе и одновременно переводя экономику на новую основу, Дэн сумел избежать того «подрыва устоев», который сопровождает горбачевскую перестройку». Это верно: пекинские реформаторы, похоже, действительно стремятся сохранить власть компартии. Как верно и то, что партийная машина советских коммунистов работает с явными перебоями, а ее давно вышедший из моды кузов хоть и выкрашен свежей импортной эмалью, но трещит по всем швам. Однако трудно с уверенностью утверждать, что Михаил Горбачев — начавший именно с политического реформирования и допущения «гласности» и этим нанесший сильнейший, едва ли не смертельный, удар по идеологии марксизма-ленинизма — действительно заинтересован в сохранении коммунистического направления в России.

«Подрыв устоев» этого правления пока что идет наиболее успешно. И экономические неурядицы не только очевидно вредят популярности Горбачева, но и, отвлекая на себя внимание его противников, позволяют — таким с виду странным образом — быстрее и спокойнее демонтировать коммунистическую политико-идеологическую и государственную систему. (Не стоит обращать излишнее внимание на обычную политическую риторику советского Президента о «социалистическом выборе».)

Но тот, кто сознательно «подрывает устои», в течение семидесяти лет строившиеся и укреплявшиеся на российском народно-государственном теле, должен понимать, что с их окончательным падением больше не удастся оттягивать появление на политической арене новых для советского общества сил. (Что пока вполне успешно удается делать — с помощью газетно-телевизионно-парламентского «выпускания паров».) Светила советологии ничем здесь не помогут: они, кажется, плохо понимают, что тысячелетняя история евразийского гиганта — более серьезный и глубокий исторический фактор, нежели борьба «прогрессистов» против «ретроградов» на поверхности «взбаламученного моря».

Чтобы ясно обозначить эти новые грядущие силы (которыми Россия уже чревата), необходимо осознать специфичность советских «либералов» и советских «консерваторов». Если использовать терминологию Р. Хофштадтера, противопоставившего в экономической политике «левых» (сторонников планирования и сильного государственного вмешательства в хозяйственную жизнь) и «правых» (сторонников, упрощенно говоря, свободного предпринимательства), а в культурной — «либерализм» (космополитизм, духовный и культурный плюрализм и модернизм и т. п.) и «консерватизм» (почвенничество, традиционализм, нравственная и культурная строгость и т. п.), то придется признать, что в открытой политической борьбе на союзном уровне участвуют сегодня разве что правые либералы (преимущественно радикального толка) и левые консерваторы (преимущественно коммунистические, так называемые национал-большевики). Лево-либеральные течения в КПСС и обществе не станут, по всей видимости, заметной силой. Хотя какое-то время лево-либеральная боязнь «полного и окончательного» восстановления рыночной экономики будет давать о себе знать и на уровне союзного правительства, и среди населения.

Право-консервативные силы до последнего времени не были проявлены, оформлены. Это и привело, мне кажется, к тому, что командный состав наших Вооруженных Сил, последней опоры не только советской, но и российской государственности, пока держится за «коммунизм» и «ленинизм» (хотя идея, цель «коммунизма» — антигосударственна по сути своей). Армия не может существовать, не имея идеологического обоснования своей деятельности, и генералы из двух официально предлагаемых зол выбирают, с их точки зрения, меньшее — левый консерватизм. Ведь лишь с весны этого года стали слышны голоса умеренно-правых некоммунистов: было объявлено о создании Республиканской народной партии России, Российского христианско-демократического движения (включающего в себя ядро собственно христианско-демократической партии), заявили о себе Христианско-патриотический союз, союз «Христианское возрождение» и подобные им силы. Трудно судить о будущности этих движений, но уже сегодня ясно, что право-консервативные русские националисты стали — постепенно, но неостановимо — отслаиваться от национал-большевизма.

Еще полгода назад требование создания Российской коммунистической партии поддерживали даже некоторые православные, в душе склонявшиеся к монархии, надеясь, что эта партия в конце концов откажется от омертвевших марксистских догм и достаточно быстро преобразует тоталитарно-интернациональную систему в авторитарно-национальную. Но сегодня ясно видно, что создавшие самостоятельную РКП люди в подавляющем большинстве своем не собираются (не хотят или не могут) избавляться даже от марксистской фразеологии *.

Все говорит о том, что предлагавшийся вначале кремлевским руководством выбор между право-либеральным радикализмом и консервативным коммунизмом сегодня совершенно неприемлем. Ни для кого. Ни для окраинных сепаратистов, ни для «имперцев», желающих сохранить великое многонациональное государство. «Солдаты партии», одетые в форму «прогрессистов» и «ретроградов», сделали свое дело и могут быть удалены — вместе с «экспертами» и «смелыми редакторами»: соотношение политических сил в стране достаточно ясно.

Единственная сила, могущая притязать на широкую поддержку в недалеком будущем, — *просвещенные правые консерваторы,* то есть настоящие консерваторы. Способные к национально окрашенной, продуманной и решительной реформаторской деятельности по превращению опытно-экспериментального участка, известного в мире под кодовым обозначением СССР, в нормальную Российскую державу.

Кремлевское руководство уже заговорило не о мифической «федерации» даже, а о союзе государств — распад страны, по сути, предрешен: коммунисты не могут даже защитить своих собственных подданных на национальных окраинах «империи»: то боясь «недемократично» применить власть и силу, то с бухты-барахты бросая войска куда ни попадя и откуда ни попадя. И при этом правительство — совершенно уже самоубийственно — санкционирует ожесточенную антиармейскую кампанию в прессе и на телевидении, создавая дымовую завесу вокруг собственных политических просчетов. Между тем «Афганистан имени Горбачева» в Закавказье на «застой» не спишешь — это проявление органических качеств системы и ее руководителей (в том числе нынешних).

Более того, подмяв под себя русские национальные движения в том же Прибалтийском крае, пытавшиеся противостоять местному провинциальному сепаратизму, консервативные коммунисты (национал-большевики), по сути дела, завели доверившихся им людей в тупик. И выйти из этого тупика русские балтийцы смогут лишь тогда, когда, перестав защищать «социалистический выбор», то есть политико-экономическую догму, начнут защищать себя, свои собственные жизненные интересы и интересы России (которая, только будучи сильной, способна покровительствовать своим гражданам, где бы они ни находились).

И в случае полного развала (не дай Бог), и в случае сохранения единого государства ключевую роль на территории нынешнего СССР будет играть Великороссия. Если сепаратизм не удастся ослабить и расчленение державы станет действительно неизбежным, — придется нам наконец расстаться с придуманными Сталиным границами и привести их в соответствие с исторической действительностью. Многочисленные казачьи земли, а также места, издавна заселявшиеся и осваивавшиеся русичами и русскими (вроде северо-востока Прибалтийского края, где мы жили уже в XI—XII вв., западного береге

* В следующем номере «Нашего современника» редакция публикует статью А. Проханова «Идеология выживания», в которой выражена иная точка зрения на место и роль Российской коммунистической партии в политической жизни страны. (*Прим. ред.*).

Чудского озера и т. п.), существенно увеличат площадь нашей страны.

Но в любом случае нынешний советский лидер, если он захочет сохранить власть, должен будет стать вождем России — принять национальную идеологию. Это, кажется, осознал притязающий на общесоюзное лидерство председатель парламента России Б. Н. Ельцин, в последнее время перенявший многие лозунги русских националистов («политическая и экономическая автономия для России», «создание национального телевидения» и т. п.). Не случайно статья о нем в «The Washington Post» (31.05.90 г.) называлась «Националист № 1». Автор статьи писал, в частности: «Ельцин обладает сейчас реальной и широкой поддержкой для того, чтобы ускорить два критических процесса в советской общественной жизни: дальнейшая радикализация Михаила Горбачева и поощрение умеренной, конструктивной формы русского национализма».

«Восстановление в Советском Союзе авторитета власти после разрушительной работы Горбачева возможно лишь на основе новой и сильной идеологии, которой, впрочем, пока не видно на горизонте», — писал Ф. Фукуяма. Из его американского далека действительно трудно было летом 1989 г. заметить проявление в России (не в СССР!) весьма условно «новой», но безусловно «сильной идеологии» русского, российского национализма.

Но уже на исходе весны 1990 г. равно боящийся «полупомешанных молодых членов «Памяти» и «таких интеллектуалов мирового класса, как математик Игорь Шафаревич», московский корреспондент «The Washington Post» Давид Ремник нашел нужным заявить: «Запад должен понять, что русский национализм — чрезвычайно широкое течение, включающее в себя и экологистов, бьющихся за спасение озера Байкал; и историков культуры, призывающих к независимости Русской Православной Церкви и возобновлению русских гуманитарных исследований; и политиков, борющихся за экономическую независимость страны с неописуемыми ресурсами — и неописуемой бедностью». Это, впрочем, должен понять не только Запад, но и сами русские, особенно русские интеллигенты. Понять и перестать бояться определения «русский национализм» (именно русский, российский, а не великорусский и не украинский, то есть государственный, а не этнический).

Не стоит паниковать и по поводу введения частной собственности: Россия уже жила при капитализме и совсем неплохо, опережая соперников по темпам роста. Пора опамятоваться и вспомнить былые навыки. Японцы ведь — после страшного военного поражения, после Хиросимы и Нагасаки — «преобразовали почти до неузнаваемости западный капитализм и политический либерализм» (Ф. Фукуяма), доказав жизнеспособность уникальных национальных традиций и институтов и силу своего национального характера. Мы тоже не лыком шиты — поменьше только нужно хаять «православие, самодержавие и народность» и почаще вспоминать суворовское: «Мы — русские, с нами Бог!»

К тому же не все русские в XX в. жили в придуманном, идеологическом мире «коммунистической идеи» и «реального социализма». Пока на территории России шел утопический эксперимент, выброшенные за ее пределы нормальные, обычные русские люди (и в немалом количестве) жили во вполне реальном современном индустриальном и постиндустриальном обществе. Рыночная экономика, либерально-демократическое государство, западный образ жизни — русские спокойно и уверенно вписались в них. Не ассимилировавшись, но, напротив, сохранив представление о своей культурной и религиозной общности, особости и автономности.

Можно жалеть о территориальном распаде великой империи, некогда весьма благоустроенной, и пытаться сохранить остатки ее территориальной целостности — для будущего возрождения страны и для сохранения хотя бы видимости геополитической стабильности мира. Но нужно понимать, что видимый сегодня распад был запрограммирован и начался не вчера, а гораздо раньше — лет этак на семьдесят. И хватит жалеть об уходящем величии коммунистического «центра мира». Оно стоило нам многих десятков миллионов погибших и неродившихся, оно стоило нам национальной культуры, достойной человека сытой и обеспеченной жизни и многого другого и вот... рассеялось, яко дым. Так перекреститься надо (чур меня!) и начать сначала, не соблазняясь больше ни на какие дьявольские посулы.

Да, конечно, общее положение страны не просто нестабильно, но почти жалко. Особенно это было заметно в дни празднования сорок пятой годовщины нашего последнего военного триумфа — победы над нацистской Германией. Впору говорить чуть ли не о проигрыше нами Отечественной войны — через сорок пять лет после ее окончания. Советская сфера влияния в Европе исчезла или почти исчезла, а Варшавский Договор, узаконивавший советское военное присутствие на европейском театре, рушится. Мы перестаем быть сверхдержавой в военном отношении (а значит — и во всех других). Сепаратистское брожение взламывает и самые наши пограничные области. В Прибалтийском крае и на Червонной Руси ветеранов Великой Отечественной поливают грязью. В Эстляндии раздаются требования о выплате пенсий бывшим эсэсовцам, им ставятся памятники.

Да еще экономика: новая пока не создана, а старая уже разваливается.

Есть от чего возопить и потерять голову. Но зачем? Чего ныне лишается собственно Русь — Великая, Малая и Белая? Сфера влияния в зарубежной Европе была необходима не столько нам самим, сколько «мировому коммунизму», в упряжке которого мы неслись в «светлое завтра», не оглядываясь назад. Россия сама целый мир — зачем ей влезать в чужой и тесный «европейский дом»? Не стоит грустить о Варшавском Договоре — мы всегда были сильны сами по себе, безо всяких картонных союзников. Вслед за Чехо-Словакией и Венгрией хорошо бы нам уйти и из Польши: пусть Валенса и Мазовецкий сами разбираются с объединенной Германией. Восточные немцы — были — единственно серьезные люди в «договоре». С ними и с их западными соотечественниками нам стоит поддерживать хорошие партнерские отношения: вряд ли кто в сегодняшней Германии захочет вновь пренебречь предостережениями Бисмарка — после двух безуспешных кровавых попыток в течение одного столетия.

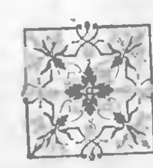
Нам не обязательно быть военной сверхдержавой. Но сильной державой мы быть обязаны — не для какого-то там «международного коммунистического и рабочего», а для самих себя, чтобы не превратиться в сырьевой придаток современной западной цивилизации. Быть державой — значит заботиться о своих государственных интересах всегда и во всем, учитывая мнения других держав, но не завися от них.

Не стоит торопиться с осуждением США за их вторжение в Панаму — лучше перестать посыпать себе голову пеплом за свое собственное военное прошлое, в том числе недавнее.

К сепаратистам же нужно относиться так, как делают это нормальные (даже и вполне демократические) страны: имея в виду прежде всего защиту своих державных интересов. Помня, что наши прибалтийские, западноукраинские, молдавские, грузинские и другие сепаратисты имеют столько же прав на существование и выражение собственного мнения, как и сепаратисты Страны Басков, поделенной между Испанией и Францией, канадской провинции Квебек, британской Северной Ирландии, французского острова Корсика, итальянского — Сицилия или индийского штата Пенджаб.

Мы сами можем, конечно, избавиться от тех областей, чье пребывание в составе нашей державы по каким-либо причинам (геополитическим, военно-стратегическим, демографическим или экономическим) нецелесообразно. Но именно сами, исходя из своих государственных (а не просто конкретно-национальных) интересов.

Наш евразийский гигант должен наконец освободиться от выплаты кем-то взваленного на нас «интернационального долга». Только перестав тратить силы на удержание рядом и на плаву «социалистического содружества», мы сможем сами разобраться со своим народным хозяйством. Только упаси нас Бог пытаться сохранить разваливающуюся старую экономику: ее идеологическая сердцевина опаснее падающих на нас сегодня обломков ее внешних стен. Оставшиеся силы лучше потратить на создание новой (для советских условий жизни) естественной экономики — более эффективной и человечной. Тогда мы, быть может, сумеем удержать за собой к концу XX столетия то пятое место среди экономически развитых стран, которое имели, особенно не напрягаясь, в конце XIX века, до начала «всемирно-исторического эксперимента», чреватого гражданскими войнами везде и повсюду. Тогда мы сможем, наконец, отметить свое полное освобождение и... продолжить свою историю.



ДМИТРИЙ ЖУКОВ

Б. САВИНКОВ и В. РОПШИН

ТЕРРОРИСТ И ПИСАТЕЛЬ

...Я жеду внял речей лукавых и надменных,
Я книгу прочитал деяний сокровенных,
Я, всадник, острый меч в безумье обнажил,
И Ангел Аваддон опять меня смутил.
Губитель прилетел, склонился к изголовью
И на ухо шепнул: душа убита кровью...

В. Ропшин.

1.

Б. Савинков действует, организует убийства.

В. Ропшин кается в содеянном, кается талантливо, подражая то букве и духу русской классической прозы, то прописям символизма.

Два имени — два лика одной сильной личности, которую саму можно назвать символичной, вобравшей многие черты своей бурной и противоречивой эпохи.

Мы, пожинающие плоды революционных противоречий, через личность Савинкова и его творчество можем заглянуть в корни и увидеть там зловещие симптомы равнодушия к судьбам и жизням людей, принесенных в жертву сомнительным, а порой и катастрофическим идейно-политическим построениям.

В. Ропшин родился в 1908 году вместе с «Конем Бледным». Тотчас после того, как Б. Савинков написал свои «Воспоминания террориста». Крестной нового литератора была Зинаида Гиппиус, впоследствии выпустившая посмертное издание «Книги стихов» В. Ропшина (Париж, 1931) «в количестве ста экземпляров на голландской бумаге». Она писала в предисловии:

«Необходимо отметить, что Савинков — Ропшин обладал удивительным свойством, которое я не знаю как назвать и чем объяснить: талантливостью — пожалуй, мало; гениальностью — нельзя, потому что в душе, где непрерывно сталкивались такие огромные противоречия, ни одна, самая яркая, способность не могла бы дойти до остроты гениальной. Свойство, о котором говорю, — это какое-то волшебное умение угадывать и схватывать то, что оказалось ему в данный момент нужным, и мгновенно претворять в собственную действенную силу. Он точно вдруг вспоминал, находил себя еще в новой какой-нибудь стороне, в новом даровании. Так нашел он и себя — писателя.

Поставленный условиями своей судьбы вне течения обычной жизни, он не имел даже и того касания к литературе, которое есть более или менее у всех. Да и времени у него для этого не было ни минуты. Но когда, по капризу той же судьбы, он попал в полосу «бездействия», рука его сама протянулась к перу. Никакого чуда еще не случилось: первый литературный опыт был именно таким, каким только и мог быть у человека зрелого, с громадными приобретениями, но... совершенно другого порядка. Необычайное, однако, не замедлило. И воистину чудесным было мгновенное сознание, что первое сделанное — не то, никуда не годится, что он должен сделать (значит, сделает) лучше.

И уже второе его литературное произведение, почти тотчас же написанное, — роман «Конь Бледный». Мы все помним этот роман. Можно находить в нем недостатки, критиковать «манеру» письма, но манера была, своя собственная, и уже никто не назвал бы Ропшина писателем «начинающим». Для работы, длящейся обычно годами, судьба ему отмерила часы; в эти часы вся работа и была проделана».

Прошу простить мне пространную цитату, но она, право же, стоит прочтения хотя бы потому, что, судя по дневникам З. Гиппиус, они вместе с Мережковским и Философовым были весьма близки к партии социалистов-революционеров, и с Савинковым особенно, в ту пору, когда в эмиграции писались его первые крупные произведения. Это сведения из первых рук, не говоря уже о том, что за поэтической восторженностью нетрудно увидеть дельные соображения. Даже в именовании «Коня Бледного» романом есть свой резон. Литературоведы и редакторы назвали бы это художественное произведение повестью, исходя из того

расхожего положения, что оно «по характеру построения сходное с романом, но меньше по объему» (Словарь Ушакова).

Хотя Б. Савинков был всегда врагом советской власти, интерес к его личности и творчеству не иссякал до конца двадцатых годов и возник снова после «оттепели». Он стал героем и персонажем многих книг и статей, в которых делался упор на его связи с иностранными разведками всех мастей в его борьбе с большевиками в последние годы жизни, но сквозь осуждение прорывалось восхищение яркой жизнью и стальным характером. В последнее время журналы стали публиковать заново его художественные произведения, сопровождая их статьями тоже разоблачительными, но с иным оттенком. Так в «Юности», напечатавшей «Коня Вороного» (1989, № 3), П. Алешковский обращает внимание на «неотъемлемые атрибуты его судьбы — романтический маскарад», на неприкаянную жизнь, слежку, конспирацию, динамит, кровь убиенных и кровь убивавших. И все это в безоглядной борьбе за счастье России, в процессе которой оказываются растоптанными все добрые заповеди, а борьба становится самоцелью (автор статьи сказал «средством существования», что не совсем точно). Все это эффектно и верно, как и высказывание А. В. Луначарского: «Почти вся литературная деятельность Савинкова — это не лишенная таланта самореклама».

Однако этим не исчерпывается суть феномена Савинкова в историческом контексте и принижаются побудительные причины его творчества. В этом чувствуется снисходительное отношение к проигравшему. Это не объясняет непреходящий интерес к художественным произведениям В. Ропшина, исполненным противоречий и обнаженности чувств.

В. Ропшина можно понять и без знания жизненного пути Б. Савинкова, но он будет восприниматься пронзительнее, если мы познакомимся с подоплекой романов, повестей, рассказов, стихотворений, потому что, по моему убеждению, сопереживание при чтении такого рода во многом зависит от узнавания собственных мыслей, чувств, догадок, рождающихся при пополнении наших скудных сведений о родной истории, особенно если высвечивается неожиданная грань. В сочетании «узнавания» и «неожиданности» заключен парадокс. Но именно на таком парадоксе и стоит вся приличная литература...

Поэтому, воспользовавшись «Воспоминаниями террориста» Б. Савинкова, книгами его матери Софьи Александровны Савинковой (кстати, она была почти профессиональной писательницей и под псевдонимом С. А. Шевяль в 1898 году подарила зрителю историческую драму «Анна Иоанновна») и многочисленными архивными источниками, открывшимися в самое последнее время, попробуем пройти дорогой, приведшей к появлению «Коня Бледного» и других произведений В. Ропшина.

2.

Во время одного из процессов над террористами председатель суда генерал Кардиналовский сказал:

— Подсудимый, встаньте и скажите ваше имя, отчество, звание.

И услышал четкий, гордо произнесенный ответ:

— Потомственный дворянин Петербургской губернии Борис Викторович Савинков.

Не будем заниматься генеалогией, предками, записанными в дворянские книги разных губерний... Скажем лишь, что родился он в Харькове 19 (31) января 1879 года, а учился в гимназии в Варшаве, где отец его Виктор Михайлович служил судейским чиновником. Семья, в которой было трое сыновей — Александр, Борис, Виктор и дочери — Надежда, Вера, Софья, жила без особых забот и запросов. Савинков-отец, по словам его жены, был «человек интеллигентный, чрезвычайно чуткий к справедливому и широкому толкованию законов», за что поляки звали его «зацны сендзя» — «честный судья».

Но вот два старших сына отправились в Петербург. Александр поступил в горный институт, другой, Борис, — в университет. И сразу оказались в самой гуще мятежного студенчества. На рождественские каникулы в 1897 году они приехали жизнерадостные, толковали все о справедливости, поругивали царизм.

И вдруг как-то ночью в их варшавский дом (ул. Пенкная, 13, кв. 4) явился жандармский полковник Утгоф в сопровождении восемнадцати человек, причем половина из них устроилась в обширной кухне, а остальные производили обыск. Полковник был изысканно вежлив, щелкал каблуками, позвякивая шпорами, но унижение обыскиваемых было неописуемо, тем более что дело происходило в доме судьи.

К утру полковник увел братьев. Мать, Софья Александровна, написала письмо генерал-губернатору Западного края князю Имеретинскому, тот потребовал к себе прокурора и жандармского генерала, прислал к Савинковым своего адъютанта с выражением сожаления о случившемся, и через три дня братья были дома, весело проводили праздники, но временами «глаза их загорались враждою к произволу».

Но уже в феврале 1898 года Борис Савинков сообщил матери из Петербурга, что старший брат арестован. Она тотчас выехала в столицу, ходила к прокурору и к сыну. Для нашего сурового времени любопытна такая подробность: свидания разрешались два раза в неделю, дозволялась передача книг, папирос и съестного, а на письма ограничений не было.

Софья Александровна зачастила к директору департамента полиции. Она с симпатией отозвалась о занявшем этот пост Лопухине (мы еще встретимся с ним), который был суховат в общении, но если уж обещал выпустить кого-либо из ее сыновей, то выпускал сразу. А теперь для Савинковых в этом необходимость была, поскольку оба старших входили в ту или иную организацию РСДРП и водились с нелегалами.

Борис Савинков, женатый на Вере, дочери писателя Глеба Успенского, и сам уже был отцом, когда при разгоне знаменитой студенческой демонстрации у Казанского собора его ударили нагайкой по голове. За речь на студенческой сходке его исключили из университета без права поступления

в другое учебное заведение, и он был вынужден уехать учиться в Германию. В 1899 году, вернувшись в Петербург, он угодил в крепость на пять месяцев, где и попробовал впервые заняться литературой.

В хранилищах редких книг есть странная двадцатистраничная брошюра. Она называется «Теням умерших» и представляет собой маленькую тетрадку, исписанную четким ученическим почерком. Лиловые чернила вовсе выцвели, но прочесть можно, что она издана иждивением Тверского Красного Креста в 1902 году (чтобы обманывать жандармов?) и отпечатана, видимо, на гектографе. По дарственной надписи на одном из экземпляров установлено, что ее написал Борис Савинков. Я бы не стал упоминать ее, если бы речь шла не о Савинкове—Ропшине, если бы в ней не было задатков литературного таланта.

«Мой мир — маленький клочок неба и большая, серая стена». Узник равелина воображением своим воспроизводит на стене целые картины. Он представляет себе, что за стеной — речка, церкви, люди... Он мечтает о свободе. Это похоже на большое стихотворение в прозе.

После крепости Борис Савинков был выслан административно в Вологду. Там его и навестили мать со старшим братом, которого высылали дальше, в Якутию. Мать нашла, что Борис с семьей живет в ссылке неплохо. Надо думать, если царское правительство выдавало ссыльным весьма приличное содержание. Однако Савинковых тревожило другое. Дело еще рассматривалось в суде, и ему, как и Александру, грозила ссылка в Сибирь. К тому же взгляды его коренным образом переменились...

3.

В Вологде Борис Савинков оказался потому, что был социал-демократом плехановского толка и принадлежал к группе «Социалист», а позже — «Рабочее знамя». Там он написал статью «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии», которая, по словам Ленина, отличалась искренностью и живостью.

Но...

Савинков был уже знаком с иными взглядами. Во время своего пребывания за границей он познакомился с будущим лидером эсеров Виктором Михайловичем Черновым, о котором перед самой своей гибелью писал весьма саркастически:

«В первый раз я увидел его в доисторические времена — в 1899 г. в Париже. У него была рыжая борода и «один глаз на вас, другой — в Арзамас». Он ораторствовал:

— С одной стороны, нельзя не признаться, с другой — не сознаться.

Шарль Рапопорт шепнул мне на ухо:

— Это — великий Чернов!..»

А. В. Луначарский в одной из статей, написанных им после гибели Савинкова, не отказывал ему в тонкой наблюдательности и язвительном остроумии, но осуждал поведение будущего террориста, с которым вместе был в ссылке в Вологде. Там социал-демократы и эсеры частенько собирались для обсуждения теории и тактики революционной борьбы, и однажды на занятия кружка явился надменно-бледный Савинков и отрывисто заговорил о том, что пора перестать болтать, что дело выше слов. Этим он снискал всеобщее восхищение, но Луначарский двадцать с лишним лет спустя возмущался тем, что Савинков сорвал в тот день такую нужную политпросветработу.

«Социал-демократическая программа меня уже давно не удовлетворяла, — писал потом Савинков.— Мне казалось, что она не отвечает условиям русской жизни: оставляет аграрный вопрос открытым. Кроме того, в вопросе террористической борьбы я склонялся к традициям Народной Воли».

Укрепили его в этих новых воззрениях встречи в Вологде осенью 1902 и весной 1903 года с будущей «бабушкой русской революции» Екатериной Константиновной Брешко-Брешковской, которой уже в ту пору было под шестьдесят, и из них четверть века она провела на каторге и в ссылке. Ныне она была на свободе и ездила по России по делам партии социалистов-революционеров, которую создала из народнических групп год назад вместе с М. А. Натансоном, Н. Д. Авксентьевым, В. М. Черновым, М. Р. Гоцем и Г. А. Гершуни. Последний возглавил Боевую организацию, занявшуюся индивидуальным террором.

История террора в России начинается после освобождения крестьян в 1861 году. Страна бурлила. Крестьянству нужна была земля, которой оно так никогда и не получило. И на этом фоне росли, как грибы, революционные организации. У истоков тайного общества «Земля и Воля» стоял Николай Утин, сын откупщика-миллионера Исаака Утина. Он стал членом русской секции I Интернационала, но потом отошел от революции и заделался крупным дельцом. Но именно он требовал в 1862 году строгой организации и боевых действий. Любопытно, что, судя по спискам, в числе руководителей последующих террористических групп непременно были представители крупной еврейской буржуазии.

Народническая организация «Земля и Воля» в своей программе 1878 года, в «части дезорганизаторской», ставила требование «систематического истребления наиболее вредных или **выдающихся лиц из правительства и вообще людей**, которыми держится тот или другой ненавистный нам порядок» (выделено мною. — *Д. Ж.*).

Это особенно интересно читать сейчас, когда правительства всех толков объединили свои усилия против террористов, какие бы «левые и прогрессивные» цели те ни преследовали. Но, говорят, ныне другая эпоха, другие требования...

Маркс рассматривал террор народовольцев как «специфически русский, исторически неизбежный способ действия, по поводу которого так же мало следует морализировать — за или против, как по поводу землетрясения на Хиосе» (Маркс и Энгельс, Соч., т. 35, с. 148). Ленин даже в 1899 г. считал, что при переходе «в удобный момент» «к решительному нападению, не отказывающемуся, *в принципе*, и от террора...», нет ничего устарелого. Но индивидуальный террор Ленин отрицал. Как отрицали его и другие марксисты.

В предисловии к книге «Загадка Савинкова», вышедшей в Ленинграде в 1925 году, мы читаем такие слова Зиновьева: «Они (марксисты. — *Д. Ж.*) никогда не становились на почву христианского завета «не убий». Марксисты подчеркивали, что они— сторонники насилия, и считают его революционным фактором. На свете слишком много такого, что можно уничтожить только оружием, огнем и мечом. Марксисты высказывались за массовый террор». И далее Зиновьев переходит на коммерческий язык — «мы будем употреблять террор не в розницу, а оптом», что и стоило только русскому народу за семьдесят лет более ста миллионов жизней, привело к унижению народа и разорению страны. Видимо, имя палача Зиновьева будет высечено на мемориальных скрижалях жертв «оптового» террора, но дело не в этом. Дело в дешевизне человеческой жизни и привычке к убийствам, что прививалось самым широким слоям российского населения героизацией террора на протяжении десятков лет еще до революций.

Молодого Савинкова вдохновляли традиции «Народной воли», отделившейся от «Земли и Воли». Глава военной организации ее исполнительного комитета Н. Е. Суханов говорил:

— Бомба — вот ваше право! Бомба — вот ваша обязанность.

26 августа 1879 года исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор Александру II, и началась беспримерная в истории 18-месячная охота на царя, отец которого не знал, что такое охрана, и прогуливался один по Невскому проспекту.

Имена Софьи Перовской, Андрея Желябова, Степана Халтурина были у всех на устах. Мрачная романтика убийств давала пищу молодым умам, тем более что в условиях тогдашней гласности заседания суда присяжных устраивались открыто, в присутствии публики и иностранных корреспондентов, и адвокаты делали карьеру на защите террористов.

Александру III удалось справиться с террором, устроив до сотни судебных процессов и доведя число административных ссыльных до шести тысяч. Приговоренных к казни, а их было в 1880—1882 гг. двенадцать (намного меньше числа убийств), вешал знаменитый палач Иван Фролов. Другого палача в России найти не могли. Никто не желал...

«Прогрессивная общественность» возмущалась реакцией. «Ретрограды» возмущались по другому поводу. А. Ф. Тютчева, дочь поэта и жена И. С. Аксакова, негодовала: «Все это показное соблюдение юридических норм и законного беспристрастия, проявленное по отношению к этим висельникам, имеет в себе что-то искусственное, фальшивое, карикатурное...»

С воцарением Николая II центральная власть ослабла, и террористы зашевелились.

4.

В июне 1903 года Савинков бежал из Вологды вместе с Иваном Каляевым, знакомым ему еще с гимназических лет и отбывавшим административную ссылку в Ярославле. Они добрались до Архангельска и сели на пароход. Заграничных паспортов у них не было, но тогда никто их и не спрашивал. Через норвежский порт Варде, Христианию и Антверпен Савинков доехал до Женевы, где удостоился приема у знаменитого эсера Михаила Рафаиловича Гоца, которому он сказал, что хочет «работать в терроре». Однако тот посоветовал «подождать, пожить, осмотреться», свел его с другими жаждущими принять участие в политических убийствах. Члены БО (Боевой организации партии эсеров) присматривались к нему. И вот новое знакомство.

«Однажды днем... к нам в комнату вошел человек лет тридцати трех, очень полный, с широким, равнодушным, точно налитым камнем лицом и большими карими глазами. Это был Евгений Филиппович Азеф».

Руководителя БО на самом деле звали Евно Фишелевич. Он же Валентин Кузьмич, он же Виноградов, он же... Поскольку я пишу не детективную повесть, скажу сразу — Азеф начал службу простым осведомителем в царской охранке в 1892 году с окладом 50 рублей в месяц, за десять лет службы оклад возрос до 500 рублей, о высылке которых ему приходилось частенько напоминать шефам в донесениях.

Савинков сказал Азефу, что собирается убить министра внутренних дел Плеве с помощью Ивана Каляева. Уже через две недели Азеф познакомил Савинкова с планом убийства — взорвать бомбой карету Плеве, который жил в здании департамента полиции на Фонтанке, 16, и каждый день ездил с докладом к царю в Царское Село или Петергоф. Привлекалась большая группа для установления маршрутов, времени поездок, системы охраны. Она должна была действовать под видом извозчиков, газетчиков, разносчиков... Это было новое — при Гершуни, бывшем руководителе БО, оказавшемся в тюрьме, убивали проще.

Так начиналась «не жизнь, а кинематографическая лента, — как писали о Савинкове в двадцатые годы, — боевяк о боевике».

Савинков производит должное впечатление на Азефа, назначается руководителем всей группы и отныне он — центральное лицо в практическом терроре, хотя метать бомбы предстояло не ему.

Эта роль предназначалась таким, как Иван Каляев, который с детства был для Савинкова Янеком. Он говорил с польским акцентом, с увлечением декламировал Блока, Брюсова, Бальмонта, лицо у него было бледное, интеллигентское, с тонкими чертами и скорбными большими глазами.

По дороге в Россию они с Савинковым встретились в Берлине с Азефом. Тому не понравилась экзальтированность Каляева, а Янеку — холодность Азефа. Со слезами на глазах Каляев добился участия в деле, и вот уже, приняв вид уличного торговца, он следит за выездами Плеве из полицейского департамента.

Первая часть операции кончилась неудачей. Савинков почувствовал слежку за собой. Свои переживания он потом расска-

жет в «Коне Бледном». Он бросает своих «подчииенных», и среди них — Каляева, Максимилиана Швейцера, Егора Сазоиова и «типичного русского барина, с длинной кудряаой золотистой бородой» Покотилова... Он едет а Киев, в Женеву, где Гоц дает ему иовые явки, встречается в Москве с Азефом, от которого получает выговор за отъезд из Петербурга.

18 марта 1904 года метальщики бомб расставлеиы по маршруту Плеве. Савиников был в Летнем саду, когда послышался взрыв... Но это был выстрел полуденной пушки в Петропавловской крепости. В тот день покушение не получилось из-за трусости Абрама Борншанского, хотя карета министра промчалась очень близко, едва не сбив его с иог.

А 30 марта в гостинице «Северной», приготовляя бомбы, погиб Покотилов. Динамит для них поступал из Франции. Снаряжение бомб было очень опасиым делом. Взрыватели были устроены так: при ударе саинцовый груз в бомбе разбивал трубочки с серной кислотой, а она воспламеняла смесь бертолетовой соли с сахаром. Тогда взрывалась гремучая смесь, а от нее — динамит. Стеклянная трубочка легко ломалась в руках, и тогда...

Позже в меблированиых комнатах «Бристоль» так же погиб М. И. Швейцер. После взрыва Вознесенский проспект ао всю ширину был завален досками, щебнем, обломками мебели, выбиты окна в четырех этажах гостиницы и повалена чугунная ограда Исаакиевского собора, за которой оказались отдельные части тела боевика.

Азеф предлагает иовый план убийства Плеае.

Савиников, этакий бритый, надменый, превращается в богатого представителя аиглийской фирмы и поселяется в роскошиой квартире иа улице Жуковского. При ием, в качестве содержанки, Дора Владимировна (Вульфовна) Бриллиаит, по мужу Чиркова, революциоиерка из зажиточной еврейской семьи. «Лакеем» у них служит молодой и румяный Егор Сазонов. Азеф даже настаивал иа покупке автомобиля, но Савинкоа отказался.

Теперь Плеве живет на даче нв Аптекарском острове, и Азеф продумывает все. Четыре метальшика бомб будут подстраховывать друг друга. Каляев предлагает броситься под иоги лошадей, во Азеф отвергает это предложение. Главная ставка делается на физически сильиого Сазонова.

Бомбы везут в Петербург. Савинков с Сазоновым встречаются в Москве и гуляют возле храма Христа Спасителя. Сазонов говорит, что он будет испытывать после убийства «гордость и радость», а потом с каторги напишет Савинкову: «Созиание греха никогда не покидало меня».

В день убийства, 15 июля, Савинков встречал на Николаевском вокзале Сазонова, одетого в железнодорожную форму. Тот нес большой пятикилограммовый цилиндр, завернутый в газету и перевязанный шнурком. Каляев с бомбой прибыл на Варшавский вокзал.

Савиков встретил его тоже. Они стоят в сквере у Покровской церкви. Каляев крестится на образа.

— Янек, — сказал Савинков. — Пора, иди!..

Но взорвалась бомба Сазонова. «В однообразный шум улицы ворвался страниый, тяжелый и грузный заук. Будто кто-то ударил чугунным молотом по чугуниой плите. В ту же секунду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла!..»

Савинков пришел на место взрыва, но не заметил трупа Плеве и, приняв окровавленные куски мяса за останки Сазоноаа, с досадой подумал о иеудаче и пошел в... баню. Отлежавшись там, он купил на улице газету и с удивлением увидел в ней портрет Плеве в траурной рамке. В тот же день он уехал на свидание с Азефом в Москву. Они часто встречались, но в разных городах. Их потом называли «генералами от террора», руки свои кровью оия не обагряли.

А Егор Сазонов сообщал из тюрьмы:

«Когда меня арестовали, лицо представляло сплошиой кровоподтек. Глаза вышли из орбит. Я был ранен а левый бок почти смертельно. На левой ноге раздроблена ступня, оторвано два пальца».

Врачи спасли его, сделав операцию в присутствии министра юстиции Муравьева. И еще он писал Савинкову:

«Привет вам, дорогие товарищи. Будем верить, что скоро прекратится печальная иеобходимость борьбы путем террора, и мы завоюем аозможность работать иа пользу наших социалистических идеалов при условиях, более соответствующих силам человеческим».

Каково слышать нам, с нашей исторической высоты, это наивно-восторженное упование убийцы с чистыми помыслами. Кровь рождает только кровь... реки, моря крови!

Каляев утопил свою бомбу в пруду. Шимель-Лейба Вульфович (Сикорский) бросил свою бомбу в Неву на глазах у яличника и был отведен в полицию. Его судили вместе с Сазоновым, который иикого ие выдал и был сослан в каторжные работы без срока. Этот сравнительно гуманиый приговор был еще смягчен по манифесту 17 октября 1905 года.

Потом Савинков скажет о Егоре Сазонове: «Для него террор тоже прежде асего был личной жертвой, подвигом...». «Революционер старого, народовольческого, крепкого закала. Сазоноа не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима России для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральиые вопросы иа тему «Не убий».

А что же сам Савинков? В чем его роль? Он — организатор, ие уступающий по своим способностям служащему охранки Азефу. Но он еще и магиетически красноречив, он вербует в ряды БО сазоновых и каляевых, верящих в него без оглядки. В его воспоминаниях это чувствуется, но нет там ин слова о его семейных трагедиях. О иих мы узнаем от его матери, которой старший сын Александр писал из Якутии:

«Нет, иет! У меня иет веры в этих палачей! Не отдадут они добровольно свою власть. Не пожертвуют ии единой пядью своего благополучия во имя того, за что мы здесь страдаем! Зачем им давать конституцию, когда оии сами в ией не нуждаются? Им она не нужна, и чтобы получить ее, придется ее вырвать у них из горла».

Муж Софьи Александровны хирел от иевзгод. Ей самой приходилось сочинять утешительные письма, будто бы приходившие от сыноаей. В марте 1905 года ао время очередного жандармского обыска отец стоял, прижимая к сердцу карточку Бориса, и твердил:

— Не дам сына! Не дам сына!

Виктор Михайлович помешался, и его поместили в лечебницу. А тут пришло известие, что Александр застрелился в приступе тоски. Читая манифест 17 октября, отец радовался — «отдадут сыновей». А через месяц его не стало.

После убийства Плеве в 1904 году Борис Савинкоа уехал за границу. Боевая организация претеидовала иа особое положеиие в партии эсеров. Идейиым руководителем террора был Гоц. Устав БО разрабатывает Азеф. Он же избраи ее главой, а его заместителем — Савинков. Для того террор важнее всех других партийных задач. Это даже внепартийиое дело, поскольку служит «всей русской революции в целом». Решено убить: а Петербурге — генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, в Москве — генерал-губериатора великого киязя Сергея Александровича, в Киеае — геиерал-губернатора Клейгельса. Савинков «берет иа себя» великого князя. Он появляется в Москве с аиглийским паспортом. Барские повадки ставят его вие подозрений. Он и его группа — Каляев, Дора Бриллиант, Моисеенко, Куликовский — ие желают вступать ии в какие сиошеиия с местным комитетом партии. Боевики иастолько иадмеииы в сознании своей революциоиной исключительности, что даже ие желают пользоваться его сведениями о аеликом князе. Добываиие таких сведений попахивает курьезом. Одни из боевиков взбирается на колокольню Ивана Великого под видом интереса к местиым достопримечательиостям и хитроумио выпытывает у сторожа, где находятся дом, в котором живет генерал-губернатор. А это нынешнее здание Моссовета, и зиакомо оио было, как и теперь, каждому москвичу. Начинается слежка.

Каляев играет роль извозчика иастолько реалистически, что другие извозчики принимают его за саоего. А Савинков мечется между Москвой и Петербургом. Энергия его поразительна. Он зиакомится с аристократкой Татьяной Леоитьевой и убеждает ее убить царя иа одном из придворных благотворительных балов. Это решеиие ои принимает самолично. Но бал отменяется... Вопреки запрещеиию ЦК эсеров, он замысливает убить заодно с Треповым и министра юстиции Муравьева, но того спасает случай — метальщику помешали загородившие путь ломовые извозчики. Савиников знакомится в Москве через писателя Леонида Аидреева в ресторане «Эрмитаж» с неким выхоленным, румяным и либеральным князем, который охотно сообщает ему иужные сведеиия о московском генерал-губернаторе.

«Извозчик» Каляев извелся в ожидании дела. На последнем саидании с Савинковым в грязном трактире в Замоскворечье он выглядит похудевшим в своей синей поддевке с красным гарусным платком на шее и обещает в случае неудачи покончить с собой, как японцы, — сделать харакири. Назначение убийства иа 2 февраля 1905 года взбадривает его. 22 января он уже пишет Вере Глебовне, жене Савинкова: «Вокруг меня, со мной и во мне ласковое, сияющее солнце. Точно я оттаял от холодного уныния...». Недаром он носит подпольную кличку «Поэт».

Дора Бриллиант приготовила две бомбы в гостинице «Славянский базар». И вот с одиой из них Иван Каляев а восемь утра ждет карету великого киязя Сергея Александровича у городской думы (ныне музей В. И. Ленииа). Заметив ее, он бросается иаперерез, поднимает руку с бомбой и... видит в ярком свете ацетиленовых фонарей сидящих рядом с Сергеем Александровичем его жену и двух малых детей. Рука бессильно опускается, а карета следует к подъезду Большого театра, где назиачеи детский утренник.

А тем временем Савинков иервно прохаживается поблизости, в Александровском саду. Каляев бросается к нему, говорит, что, иаверио, поступил иеправильно, и вызывается убить всех — и детей — на обратном пути кареты из театра.

Однако революция еще не дозрела до убийства детей... Савиников одобряет «малодушие» Каляева. Запасной метальщик, Куликовский, едва не ронял свою бомбу от душевного изнеможения. Это один из иемногих случаев, когда Савинков подержал бомбу в руках. Куликовский вышел из террора, ио вскоре был арестован, бежал, 28 июия явился на прием к московскому градоначальиику графу Шувалову и застрелил его.

Но вериемся в февраль. Оставшись без второго метальщика, Савинков сам ие берется выполнять эту роль и решает отложить покушеиие. Но Каляев вызывается все сделать сам. И опять:

— Иди, Яиек.

— Прощай!

«Он поцеловал меия и свернул направо», — писал Савинков, сам отправившийся иа Кузнецкий мост, где в коидитерской Сиу его ждала Дора Бриллиаит. Они шли по Тверской, когда услышали крик: «Великого киязя убило! Голову оторвало!» Дора зарыдала.

— Это и убила его, — сказала она.

— Кого? — спросил Савиников, думая, что оиа говорит о Каляеве.

— Великого князя, — ответила Дора сквозь слезы торжестаа, и это было отчасти правдой. Каляев же из тюрьмы писал:

«Я бросил бомбу с разбега, в упор... Я был захвачен вихрем взрыва. После того, как облако рассеялось, я оказался у остатков задиих колес. Помню, в меня пахнуло дымом и щепками прямо в лицо, сорвало шапку. Я ве упал, а только отвернул лицо. Потом я увидел, шагах в пяти от себя, клочья великокняжеской одежды и обиаженное тело. Шагах а десяти сзади кареты лежала моя шапка. Я подошел, поднял ее и иадел. Я огляделся. Вся поддевка моя была истыкана кусками дерева, висели клочья и она вся обгорела. С лица обильио лилась кровь... Я поиял, что мне не уйти, хотя было несколько долгих мгновений, когда иикого вокруг не было... Сзади по-

слышалось: «держи, держи». На меня чуть не наехали сыщичьи сани. Вокруг меня засуетились городовой, околоток и сыщик. Чьи-то руки овладели мной. Я не сопротивлялся».

Вскоре ему пришлось оправдываться перед Савинковым и другими товарищами по БО. В Пугачевской башне Бутырской тюрьмы его посетила вдова великого князя Елизавета Федоровна.

— Мне очень больно, — сказал Каляев, «испытывая некоторое мистическое чувство», — что я причинил вам горе, но я исполнил свой долг...

Великая княгиня подарила ему иконку, обещав молиться за него.

Это было опубликовано в газетах, и Каляеву пришлось написать великой княгине резкое письмо, обвинив ее в том, что их разговор намеренно попал в печать, и уверив в прежней ненависти к царствующему дому.

Его судили в особом присутствии сената 5 апреля, где он гордо заявил, что считает себя не подсудимым, а пленником, поскольку сражаются правительственная и революционная армии. Не считать ли это первой вестью о гражданской войне?

Товарищам он писал о вере в торжество социализма, который навеки покончит с насилием(!).

Каляева повесили в Шлиссельбургской крепости. Он родился в 1877 году от матери польки, но считал себя русским. Отец его был околоточный надзиратель, из крепостных крестьян Рязанской губернии.

Перед смертью он написал «генералу от террора» Савинкову, казня себя, видимо, за историю с иконкой: «Мой дорогой. Прости, если чем-либо произвел на тебя дурное впечатление. Мне очень тяжело подумать, если ты меня осудишь...»

И Савинков почтил его память такими словами:

«К террору он пришел своим особенным оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву».

Вспомните этого кровавого праведника, когда будете ехать в Москве всегда оживленной Каляевской улицей!

5.

После убийства в Москве Боевая организация стала известна во всех слоях населения России. Но тогда в Москве и Петербурге было арестовано двадцать боевиков. Сколько их выдал, руководствуясь какими-то неведомыми соображениями, Азеф, неизвестно.

Савинков в это время уже был в Женеве вместе с Иваном Николаевичем (Азефом), который познакомил его с малорослым, тонконогим человеком в странном костюме. Клетчатый пиджак, кепка с большим козырьком, брюки-гольф с полосатыми гетрами, оранжевые ботинки на толстой каучуковой подошве, в руке трость с серебряным набалдашником — прямо картинка из журнала «Мужские моды». Представившись кандидатом богословия Георгием Аполлоновичем Гапоном («поп Гапон», мелькнуло, видимо, в голове у Савинкова, когда он рассматривал большой нос, сдвинутый влево, и синеватый отлив на большой бритой челюсти — борода была откромсана еще на квартире у Горького, где искал убежища ее обладатель в «кровавое воскресенье»), этот человек взял Савинкова под руку, отвел в другую комнату и неожиданно поцеловал:

— Поздравляю!

Савинков опешил.

— С чем?

— С великим князем Сергеем.

Поздравление понравилось не очень, но Савинков признавал ораторско-гипнотические способности Гапона. Если несколько месяцев назад тот вел рабочих к Зимнему дворцу с требованием христианской справедливости, то теперь, пригретый эсерами, Гапон пропагандировал теорию тотального террора.

Плеханов в № 93 «Искры» похваливал Гапона за то, что тот «попрал верой в царя веру в царя, стихийностью — стихийность». Ленин признавал, что Гапон революционизировал массу, но принял его в Женеве сухо.

Царский манифест 17 октября породил в ЦК эсеров споры о роли Боевой организации. Предлагалось распустить ее, но Азеф и Савинков, оставшиеся в меньшинстве, не хотели лишиться этой становившейся все более самостоятельной тайной организации. «Денег было довольно, а в кандидатах в БО тоже не было недостатка», — писал Савинков потом. Грузы динамита, поступавшие из химической лаборатории, которая была возле Ниццы и принадлежала некоему Виллиту, а также брату Азефа, супругам Зильберберг и Рашели Лурье, обилие денег на проведение политических убийств — все это воспринималось Савинковым как должное.

Всем известны пожертвования щедрых московских промышленников Морозова и Мамонтова, а также «эксы», что на партийном наречии означало «экспроприации», налеты на банки, почтовые поезда, ограбления артельщиков... Но едва ли не первый заговорил в печати Савинков о еще одном источнике поступления денег. Живший в Финляндии журналист и революционер Конни Циллиакус сообщил ЦК эсеров, что через него поступило «пожертвование от американских миллионеров» в размере миллиона франков, но при условии, что эти деньги пойдут на вооружение народа и будут распределены между всеми революционными партиями без различия программы. Был еще слух о финансировании русской революции японцами, но он исходил от газеты «Новое время», считавшейся реакционной, до покупки ее банкиром Д. Рубинштейном.

Из американских денег БО досталось сто тысяч франков. Гапон был едва ли не закоперщиком в снаряжении на эти деньги судна «Джон Крафтон» с оружием для русских революционеров. Оно село на скалу в Ботническом заливе и было взорвано командой, успевшей раздать часть оружия мятежным финнам.

В калейдоскопе последующих слежек, погонь, взрывов, партийных дрязг, предательств и расправ имена Савинкова и других персонажей российской трагедии за-

мелькают со скоростью движений героев кинематографических лент того времени, запущенных в современный кинопроектор, но это и весьма кстати, учитывая, что мы еще не добрались до писателя В. Ропшина, и отчасти символично.

6.

В Женеве Савинков познакомился с Афанасием Матюшенко, возглавившим мятеж на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Потом он из Бухареста писал Савинкову: «...Поймите, что вся полемика, которая ведется между партиями, страшно меня возмутила. Я себе представить не могу, за что они грызутся, черт бы их забрал...» Савинков толкал его на дорогу террора. Летом 1907 года Матюшенко арестовали в городе Николаеве с бомбами и повесили.

Царский манифест оживил эмигрантов, потянувшихся на родину. Савинкову поручили подготовку вооруженного восстания в Петербурге.

«Я никогда не имел дела с матросами и солдатами, с офицерской средой и был мало знаком... Кроме того, у меня не было веры в успех военных восстаний». Он отказался.

Личная неприкосновенность, полная свобода печати, многолюдные митинги, Советы рабочих депутатов — для Савинкова это была скучная жизнь. Он предлагал взрывы правительственных учреждений, убийство высших военных чинов. В Москве на баррикадах хоть дрались несколько сотен человек... Савинков следил за событиями. В «Советах московским рабочим», разработанных боевой организацией при Московском комитете РСДРП, не менее десяти раз употреблялись слова «убивайте», «уничтожайте» с обещанием тотчас создать новый строй, «в котором каждый гражданин будет свободен от всяческих насилий».

Только в эсеровском офицерском союзе в Петербурге числилось около 60 офицеров гвардии и флота. Сочувствовавших же революции было куда больше... Однако после подавления московского восстания партия решила легализоваться, поскольку «не было признаков, знаменующих высокий подъем революционного настроения в крестьянстве». Но Боевой организации ЦК эсеров поручил убить министра внутренних дел адмирала Дубасова и московского генерал-губернатора Дурново. Савинков готовил взрыв моста на железной дороге, охранного отделения, линий связи...

Осуществлению его планов мешали постоянные аресты. На свободе оставались Дора Бриллиант, Зильберберги, Лурье, Маня Школьник, Арон Шпайзман, Савинков и... Азеф. В ЦК эсеров постоянно поступали сведения о предательской роли Азефа, но авторитет его был столь высок, что эти сведения передавались... Азефу, а он равнодушно пожимал плечами и говорил:

— Положительно, это становится утомительным! Как это моим врагам не надоест пользоваться одним и тем же приемом!

Уже потом, когда провокаторская роль Азефа станет очевидной, а портреты его будут напечатаны в газетах всего мира, В. В. Розанов, вглядываясь в жирное, отталкивающее лицо, напишет изумленно в «Новом времени»:

«Что же это за партия такая? Что это за революционеры, борцы за новую жизнь, если долгие годы они глядели в глаза этого человека, от всего вида которого так и разит Иудой-предателем, но так ничего и не почувствовали, и долгие годы верили ему, и слушались его, и преклонялись перед ним?!»

Надо еще разобраться, почему весьма проницательный и решительный Савинков был слеп и, как утверждают, робок, общаясь с Азефом. Известны многие случаи, которые должны были бы насторожить Савинкова, но этого не произошло. Хотя бы такой:

«Однажды после свидания с Азефом я, спускаясь с лестницы, заметил через стеклянные двери, что у подъезда стоит околоточный и двое филеров. Швейцар распахнул передо мной дверь и, пропустив меня, стал позади. Я очутился в ловушке. Выйдя на улицу, и заметил, как один филер сделал движение руками, как будто желая схватить меня, но тотчас же и услышал голос:

— Никаких мер не принимать!

Я, не оборачиваясь, пошел по переулку до ближайшего извозчика. Филеры не последовали за мной».

По-иному развивались события, когда речь коснулась члена ЦК эсеров Н. Ю. Татарова, которого Савинков считал «человеком крупного ума и больших дарований». С получением сведений о его предательстве эсеры всполошились, создали комиссию из членов ЦК, поручили Савинкову и его людям вести за Татаровым «негласное наблюдение», Чернов с Савинковым откровенно допрашивают его, выясняя характер его отношений с полицией. Но стоило Татарову сказать, что в полиции служит не он, а Азеф, как тот пригрозил, что распустят боевую организацию. Он это и сделал, но создал «боевой комитет» — те же функции и те же руководители — Азеф и Савинков. А насчет Татарова... «Нам казалось необходимым избавить Азефа от тяжелых забот по убийству оклеветавшего его провокатора», — писал Савинков. Он взялся сам убить предателя.

Дело было в Варшаве, где Татаров жил у своего отца, настоятеля церкви. Савинков явился к нему и... не убил. Историк Ю. В. Мухачев (он занимается Савинковым вплотную, и мне довелось работать с ним над изданием книги В. В. Шульгина) сомневается, что Борис Викторович вообще кого-либо и когда-либо убил лично. Так и в этом случае им послан был убивать боевик Назаров. В квартире Татаровых сцена разыгралась дикая. Старик-настоятель и матушка повисли на руках Назарова, а тот стрелял куда попало. Потом ножом зарезал Татарова и еще стреляя, ранив старуху двумя пулями.

Ну и еще об убийстве Гапона. При нем неотлучно (и в «кровавое воскресенье», и позже) находился эсер Пинхус Моисеевич Рутенберг, имевший партийную кличку Мартын. Боевики знали, что Гапон находится в «определенных» отношениях с полицейскими генералами Лопухиным и Спиридовичем, но использовали его в своих целях. Рутенберг подготовил его приезд в

Россию и встретил в Петербурге в ноябре 1905 года. Кстати, полиция арестовала Рутенберга как разыскиваемого преступника, но, что весьма странно, тут же выпустила без предъявления обвинения. В интервью швейцарской газете Гапон заявил: «Русский народ избрал меня своим спасителем, и я или погибну, или спасу от трехсотлетней тирании Романовых».

Но, по воспоминаниям В. А. Поссе, издателя журнала «Жизнь» (В. И. Ленин хвалил его и печатался в нем), Гапон собрал несколько рабочих из своих бывших петербургских объединений на «организационный съезд», напомнил свои заслуги, «кровавое воскресенье», призвал вооружаться... Помимо прочего, он сказал:

«Разочаровался я, товарищи, в партийных революционерах, во всех этих эсдеках и эсерах. Нет у них заботы о трудовом народе, а есть у них дележка революционного пирога. Из-за него они дерутся, и все жиды: во всех заграничных комитетах всем делом ворочают жиды, и у эсдеков, и у эсеров. Даже во главе боевой организации эсеров стоит жид, и еще какой жирный. Жиды...»

И тут его взгляд набрел на человека еврейской внешности, друга Поссе. Гапон тотчас стал говорить:

«Жиды, товарищи, это не евреи. Евреев я уважаю и люблю...»

Но было поздно, вырвавшееся юдофобское высказывание обрекало его на смерть, тем более что Гапон собирался организовать покушение на Витте, вопреки мнению эсеровского руководства.

Решение об убийстве Гапона принял Азеф, а Савинков поддержал его, сказав:

— Гапон хуже Татарова. Тот предавал только людей, учреждения, партию. Гапон сделал хуже: он предал всю массовую революцию.

Глава эсеров Чернов был против ликвидации Гапона, учитывая его популярность среди рабочих, и только предложил ему выйти из партии.

Гапон сообщил Рутенбергу о своих связях с начальником политической части департамента полиции Рачковским и предложил ему встретиться с генералом. (Поразительно, как много революционеров с громкими впоследствии именами имели связи с полицейскими чинами. Первым актом победившей революции было лихорадочное сожжение полицейских архивов.)

Азеф и Савинков поручили Рутенбергу убить Гапона и Рачковского во время вербовочного свидания в ресторане. Однако Рутенберг не рискнул на этот шаг. На своей даче в Озерках под Петербургом он спрятал пятерых рабочих-эсеров, завез туда Гапона и затеял разговор о свидании с Рачковским, намеченном на другой день в ресторане Кюба. Потом он позвал из соседней комнаты слышавших все рабочих. Они связали Гапона и повесили его, привязав веревку к крючку вешалки.

История эта получила громкую огласку. ЦК партии эсеров, в лице Натансона и Азефа, согласовавший все с Рачковским, открестился от Рутенберга. Решено было изобразить это как личное дело Рутенберга и рабочих. Чернова они считали «балалайкой без главной струны», а Савинкова — импульсивным романтиком. В игре принимал участие журналист Манасевич-Мануйлов, тоже агент полиции, который в серии статей «Маски», разоблачая нравы некоторых лидеров эсеров, прикрывал остальных. Он сваливал все на Рутенберга, которым решено было пожертвовать.

Рутенберг в отчаянии тоже писал статьи, туманно оправдываясь. Савинков ему сочувствовал, но не защищал, ссылаясь на партийную дисциплину.

Согласно стенограмме заседаний Верховного революционного трибунала в августе 1922 года государственный обвинитель Луначарский говорил: «Центральный комитет партии социалистов-революционеров постановил поручить Рутенбергу притвориться провокатором и таким образом обмануть полицию... Савинков по этому поводу говорит, что революционер должен уметь быть не только героем, но и лгать. И вот когда Рутенбергу было поручено убить Гапона, то Центральный комитет партии социалистов-революционеров отказался признать впоследствии этот акт...»

Даже когда Азеф был разоблачен, Савинков писал 3 февраля 1909 года Рутенбергу, уговаривая его не публиковать объяснений против ЦК эсеров.

Рутенберг с семьей уже был в Германии, где давно состоял в тамошней сионистской организации. Она направила его в Италию, где он встречался с Горьким.

Позже Савинков писал своей сестре В. В. Мягковой:

«Я имел возможность лично убедиться, что революция — это такой вселенский водоворот, когда со дна жизни на поверхность поднимается всякий человеческий мусор, а потом в силу далеко не объективных обстоятельств какие-то случайные люди или сами объявляют себя, или кто-то неосведомленный в истине объявляет их участниками революции. Русская революция в этом смысле не исключение, и здесь, может быть, наиболее типичным и ярким примером является Георгий Гапон и все его окружение, включая сюда и Рутенберга, который довольно долгое время был возле Гапона как его тень, ибо именно ему наш блистательный вождь Чернов поручил пасти этого попа, чтобы иметь возможность его громкое имя вплести в терновый венок славы нашей многострадальной партии. Мне остается только сказать о мере его партийности и его политических убеждений. В этом Рутенберг — классическая аморфность, а сказать злее — беспринципность. Типичный флюгер, зависящий от направления ветра. Достаточно сказать, что он, в конце концов сильно обидясь на нашу и его партию, быстренько переметнулся — к кому бы ты думала? — В Италию! К сионистам! Вдруг обнаружив в себе не столько социалиста-революционера, а еврея, он сменил свое хоть какое-то участие в революции на возможность пользоваться благами от богатого и дружного еврейства, конечно же противостоящего всякой революции, но в последнем он, вероятно, опять-таки не мог разобраться» *.

7.

После революции 1905 года десятки эсеров заседали в Государственной думе, а их Боевая организация продолжала убивать государственных деятелей. Их ЦК поручил Азефу и Савинкову уничтожить министра внутренних дел адмирала Дубасова и московского генерал-губернатора Дурново.

Несмотря на многочисленные аресты, БО пополнялась людьми, бежавшими от обыденности в террор. Среди них и патологические убийцы, и ненавистники самодержавия, и мученики, извращенно понимавшие христианское учение, вроде румяной высокой Марии Беневской, голубые глаза которой то смеялись, то наполнялись слезами. Когда Савинков спросил, почему она идет в террор, она открыла Евангелие: «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою ради мене, сей спасет ю». Новозаветные тексты всегда привлекали главаря террористов, и недаром В. Ропшин будет часто цитировать их в своих стихах и прозе, особенно обильно черпая эпиграфы и образы из загадочных пророчеств Иоанна Богослова.

Беневская готовила бомбы для покушения на Дубасова. В руке ее сломалась и взорвалась запальная трубка. Потолок и стены были заляпаны сгустками крови, ошметками мышц, пол усеян осколками костей и оторванными пальцами. Но Беневская даже не застонала, чтобы не привлекать внимания к конспиративной квартире. Подошедшие товарищи отправили ее в частную больницу. Она меняла больницы и паспорта, но теперь Азеф мог ею пожертвовать, и Беневская оказалась на каторге.

Азеф прибыл в Москву, чтобы лично проконтролировать покушение, и ожидал его результатов в кафе Филиппова на Тверской. Он мог предотвратить это покушение, как и сотни других. Но он ожидал. Почему?

Это было 23 апреля 1906 года — в Царский день, когда Дубасов направлялся на торжественное богослужение в Кремле. Савинков все рассчитал. Метальщиком бомбы он назначил студента, польского дворянина Бориса Вноровского. Обреченный на гибель, он в мундире морского офицера стал на пути коляски министра со смертоносной ношей, обряженной под изящную коробку конфет. Перевязывавшая ее ленточка была подобрана со вкусом, украшена букетиком левкоев и ландышей. Однако Дубасов был лишь ранен, а его адъютант граф Коновницын — убит.

Несомненны чувство собственного достоинства и непомерное честолюбие Савинкова. За всю жизнь у него ни на секунду не возникло сомнения, что он делает историю, что его имя непременно войдет в историю. Уже отмечалась аккуратность его в документации своей деятельности, в тщательности хранения записных книжек, выписок, писем, несмотря на подвижный образ жизни. Исследователю потребуется изрядное время, чтобы прочесть тысячи писем к нему от Гиппиус, Мережковского, Арцыбашева, Волошина, Эренбурга, Ремизова, Философова, Щеголева, Плеханова, не говоря уже об Азефе и других деятелях эсеровской партии, от жен, детей, братьев, многих других более или менее известных лиц. Особенное значение он придавал предсмертным исповедям своих подчиненных по Боевой организации, что говорит о способности Бориса Викторовича быть духовно вкрадчивым, завоевывать доверие таких незаурядных людей, как Каляев, Сазонов...

Самые интимные документы в распоряжении будущего писателя В. Ропшина. Прощальное письмо Вноровского к родителям:

«Мои дорогие! Я приношу свою жизнь в жертву для того, чтобы улучшить, насколько это в моих силах, положение отчизны. Мне и самому страшно и тяжело, что я становлюсь убийцей. Но иначе нельзя...»

Автобиографические заметки Бориса Вноровского.

Тот в гимназические годы мечтал стать либо очень богатым, либо даже царем, чтобы оказывать благодеяния народу. В студенческие годы он испытал несчастную любовь к женщине, вышедшей замуж за другого. Но если бы любимая женщина стала удерживать его, спешащего по делам революции, он сказал бы ей: «Я прокляну тебя, если опоздаю к товарищам!»

Можно только удивляться силе савинковской психологической обработки, породившей такие строки Вноровского: «Я не чувствую призвания убивать людей. Но я сумею умереть, как честный солдат! Между моментом моего согласия вступить в боевую организацию и — моментом, когда меня поставили на подготовительную работу, прошло около месяца. Время это я употребил на переживание моего нового положения. Перед лицом своей совести, перед лицом смерти, навстречу которой я сейчас иду, я могу сказать — я совершенно победил страх смерти».

Это вполне вписывается в традицию самурайских смертников, ассасинов Старца Горы, выходящую ныне на идейные построения марксистских «красных бригад», красных кхмеров и шиитских последователей Хомейни.

Чем дальше от революции 1905 года, тем омерзительнее становился террор. Часто выслеживают не тех, убивают по ошибке. Аристократка Татьяна Леонтьева, которая когда-то собиралась на балу убить царя, теперь примкнула к максималистам и,

* После Февральской революции 1917 года Рутенберг явился в Россию с крупными полномочиями от швейцарского сионистского центра и рекомендательным письмом к банкиру Рубинштейну. Савинков, сделавший уже большую карьеру, пристроил Рутенберга к «диктатору» Петрограда Н. М. Кишкину, рассчитывая на него в своей борьбе с Керенским. Рутенберг создавал сионистские организации и одновременно состоял в штабе Корнилова. В 1919 году сотрудничал с французскими интервентами в Одессе вместе с Маргулисом, с которым считался сам Деникин, называя его «политическим маклером крупной еврейской буржуазии». После изгнания французов красными работал в Одессе инженером. В 1922 году выехал на греческом пароходе в Палестину, где стал совладельцем нефтяных и электрических компаний. Писал эсеру-боевику Карповичу: «Я прочно обосновался здесь в новой своей жизни, когда я уверенно знаю, что умру не от случайной пули, в спокойно, в собственной постели, как положено умирать почтенным людям, занятым серьезными делами, а не болтовней». Так он и умер в 1942 году, прожив 65 лет.

приняв на курорте какого-то мирного старичка за Дурново, тут же пристрелила его. Это уже превращалось в плохую привычку, вырождалось в наркотическое средство для взбадривания организма, чем пользовались враги России, неустанно поставлявшие деньги и динамит, направляя ядовитое жало на лучшие умы России.

В августе 1906 года максималисты с ведома Азефа и Савинкова организовали взрыв дачи Столыпина на Аптекарском острове, убив десятки людей, покалечив детей премьера, на этот раз чудом оставшегося в живых.

В том же году Савинкову довелось пережить одно из самых острых ощущений в его жизни. В апреле он приехал в Севастополь под именем «поручика Субботина» для организации убийства адмирала Чухнина. По случайному совпадению другие эсеры вложили бомбу в руки шестнадцатилетнего Николая Макарова, который пытался метнуть ее в коменданта крепости генерала Неплюева во время парада. Взорвалась бомба за пазухой у его товарища матроса Фролова, убив и покалечив на набережной множество ни в чем не повинных людей, вызвав панику и давку.

Савинков стал свидетелем этого, а когда он вернулся в гостиницу, его взяли, потому что подозрение, естественно, пало на него. В воспоминаниях матери Савинкова «На волос от смерти» есть такой характерный штришок. Сыщик Григорьев крикнул:

— Ни с места, иначе пристрелю, как собаку!

Но когда при обыске в кармане Савинкова обнаружили тысячу рублей, сыщик сказал с почтением:

— Барин, простите меня!

Савинков не ел казенной пищи. Яства и напитки ему носили из ресторана. Он оказался на гарнизонной гауптвахте, где службу несли подразделения полка, в котором служило множество эсдеков и эсеров. Двери камеры не закрывались, и заключенные свободно общались друг с другом и караульными.

Савинков вызвал в Севастополь мать, жену, членов БО и четырех адвокатов, которые энергично принялись за работу и ссылками на всякие статьи законов заставили следователей «дело рассмотрением в суде отложить». Строились планы побега. Однажды на часах оказался солдат-бундовец. Через сидевшего на гауптвахте солдата Израиля Кона он передал Савинкову, что поможет бежать, и свел его с унтер-офицером Сулятицким.

Если опустить попытки усыпить караул конфетами со снотворным и прочие подробности, то в ночь на 16 июля мы застанем Савинкова в море вместе с Сулятицким и Зильбербергом на одномачтовом боте, идущем под андреевским флагом в Румынию.

Юноша Николай Макаров, как малолетний, был приговорен к 12 годам тюрьмы, где вскоре был повешен за убийство ее начальника. Сулятицкий тоже стал террористом и тоже повешен вместе с Зильбербергом за убийство петербургского градоначальника фон-дер-Лауница.

Но Савинков был жив и здоров и выслушивал в Париже упреки Гоца, что взрыв дачи Столыпина произведен неэффективно, что надо было выбрать время, когда там собрались бы министры... Слава его достигла апогея. Он дает интервью и поучает в письме из Базеля генерала Неплюева, обвиняя его в бездарном проведении следствия.

8.

Известный монархист и враг советской власти В. В. Шульгин в белоэмигрантской газете «Грядущая Россия» 29 декабря 1921 года (и следовательно, это дошло до Савинкова) приводил одно место из дневника З. Гиппиус:

«...Мы, т. е. я и Мережковский и Философов, а также некоторые наши друзья склонялись, как писатели, к идейным сторонам общественного вопроса. Не входя ни в одну из политических партий, мы, однако, имели касание почти ко всем. **В той, которой мы наиболее сочувствовали, у нас было много друзей** (выделено Шульгиным. — *Д. Ж.*), задолго до войны мы сблизились с некоторыми эмигрантами (между прочим, с Савинковым), с которыми мы поддерживали постоянные отношения. Это была партия социалистов-революционеров».

Речь в статье шла о терроре, индивидуальном и массовом, в связи с выходом книг Мережковского «14 декабря» и «Царство Антихриста». Со страницы 13 последней Шульгин выписывал: «Большевики — сыны дьявола, лжецы и человекоубийцы от начала. Лгут и убивают, убивают и лгут. Покрывают ложь убийством, убийство — ложью. Чем больше лгут, тем больше убивают».

В этом грехе Шульгин обвинял и декабристов, которые «канонизированы и забронированы». Он считал, что весь замысел 14 декабря построен на обмане. Солдат вывели, убедив, что законный царь — Константин Павлович. Декабристы хотели вырезать «всю царскую семью, до пня, с женщинами и детьми».

Шульгин ловил Мережковского на непоследовательности, поскольку тот восхвалял декабристов и дружил с эсерами.

Он считал, что в кровавом месиве погибли бы и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и Грибоедов. Как погибли физически и духовно Блок, Брюсов, Белый, Андреев, Максим Горький и многие другие.

И вспоминал, как лгали и убивали в сравнительно недавнее время те же эсеры.

«Убивали на улицах, на площадях, в домах, в гостиных. В Севастополе бросили бомбу в офицера и убили свыше ста человек гуляющей публики. Снесли взрывом дом Столыпина, убив при этом 40 человек в его приемной. Убивали без конца, без счета, без края. По данным, оглашенным в Государственной думе, бомбами и браунингами искалечили за это время 20 000 человек.

Но кровожадность бледнеет перед лживостью.

Те же самые люди, которые ежедневно убивали, ежедневно выносили трескучие протесты против смертной казни...

Вторая Государственная дума, несмотря на ежедневное требование правых скамей

осудить террор, отказалась вынести хотя бы моральное осуждение убийцам. Этим она косвенно, но в высшей степени поддерживала энергию бомбистов...

Когда взбешенный этим превосходящим всякие границы подлым лицемерием член Государственной думы Шульгин спросил банду убийц, заседавших на креслах Таврического дворца (партия эс-эров, т. е. социалистов-убийц, насчитывала во 2-й Государственной думе почти 40 человек): «Ответьте мне, положа руку на сердце, вы — рыцари гуманности, милосердия и человеколюбия — нет ли у вас бомбы в кармане?» — то в ответ, кроме бешеного рева, вопрошавший получил исключение из зала заседания по 38-й статье за оскорбление Государственной думы».

Оставим рассуждение о декабристах на совести Шульгина, всегда отличавшегося остротой мышления. Но если поразмыслить...

В бумагах Шульгина есть и анекдот, изначально исходивший будто бы от самого Азефа, о том, как в августе 1908 года в Лондоне проходил съезд эсеров.

«Собралась полная зала. Кроме местных, лондонских, эсеров, тут был цвет эсерства— делегаты, представители. В роли председателя, на почетном возвышении, сидел знаменитый впоследствии Виктор Чернов. По правую руку от него, в качестве товарища председателя, сидел не менее знаменитый Азеф. Кто сидел по левую руку, не знаю.

Чернов обратился с патетической речью к собравшимся, убеждая их, что настала самая пора для того, чтобы совершить штурм ненавистного самодержавного правительства, и что он, Чернов, верит, что доблестная партия социалистов-революционеров, согласно своим заветам, не остановится ни перед какими жертвами для достижения священной цели.

Гром аплодисментов покрыл речь председателя. Тогда Виктор Чернов сел на место, вытер платочком лоб и, успокоившись от ораторского волнения, внимательно рассмотрел собравшуюся публику. Затем, наклонившись к Азефу, сказал ему на ухо со скорбью:

— Какая сволочь собралась, товарищ!

Азеф, понятно, охотно с этим согласился...»

9.

В феврале 1907 года Савинков наконец познакомился в Париже с бежавшим из акатуйской ссылки Григорием Гершуни, под руководством которого БО в свое время начала функционировать, убив министра внутренних дел Сипягина и двух губернаторов. «На обыкновенном добром еврейском лице, как контраст ему, выделялись совершенно необыкновенные большие, молочно-голубые холодные глаза», — писал он.

Савинков хранил письмо Гершуни, присланное из заключения в 1905 году. Тот писал о Боевой организации, о своем детище, так:

«Милая! Как она, вероятно, изменилась! Из прежней скромненькой девочки она, мне рисуется, превратилась в пышную красавицу с высоко поднятой головой, победоносно и гордо шествующую сквозь толпу покорных поклонников!»

Весьма и весьма!.. Если учесть кровожадные наклонности зрелой матроны, ее предосудительные сношения с департаментом полиции, ее ласки, расточаемые толстому Азефу.

А тот вместе с Савинковым занят подготовкой покушения на царя. Они вызывают боевика Карповича. Советуются с М. А. Натансоном, от которого через шесть лет будут получать инструкции организаторы рокового для мира убийства в Сараеве (в 1917 году он войдет от левых эсеров в правительство, образованное большевиками, а в 1919 году умрет «за границей 70 лет от роду, будучи безоговорочным сторонником пролетарской революции и советской власти»).

Они выезжают в Глазго, откуда отплывает новопостроенный крейсер «Рюрик», и находят матроса Авдеева, который обещает спрятать на корабле террориста *.

Однако ему не понравился Азеф. Что-то чужое почувствовал в нем русский матрос. Обещал сам убить царя, когда будет высочайший смотр крейсера. Авдееву дали пистолет. Ни пистолета, ни матроса главари террора больше не увидели. Да и не до этого им теперь было...

10.

В мае 1908 года Владимир Львович Бурцев, редактор журнала «Былое», заявил ЦК эсеров, что имеет основание подозревать Азефа как провокатора.

Как мы помним, такое уже бывало. Но авторитет Азефа был непоколебим. Его друг Савинков писал: «Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта». Поэтому решили судить Бурцева — «за распространение ложных слухов». И судьями избираются люди весьма почтенные в революционном мире — Г. А. Лопатин, князь П. А. Кропоткин и В. Н. Фигнер. Статьи о них найдутся в любой энциклопедии.

Азеф пишет Савинкову, что это «грязь». Чернов пророчит, что Бурцев будет на суде чести «раздавлен». Савинков предлагает Азефу отправиться в Россию, прикончить еще несколько человек и тем самым защитить честь организации. Азеф отказывается — видывали, мол, всякое, пусть будет суд.

Но Бурцев оказался крепким орешком. Еще в 1890-х годах он проповедовал необходимость центрального террора в традициях «Народной воли», а после 1905 года «постоянно твердил, что нам надо только свободы слова и парламент, и тогда мы мирным путем дойдем до самых заветных наших требований». У него были показания чиновника для особых поручений при варшавском охранном отделении Бакая о том, что осведомитель Раскин, он же Виноградов, и есть Азеф. Кстати, помочь Бакаю бежать за границу, когда того схватили за

* На судебном процессе в 1924 году, когда Савинкова изловили органы ГПУ, он сказал: «Русский корабль «Рюрик», матрос Авдеев, он, наверное, с вами сейчас, — и я с ним обдумываю, где он спрячет меня в трюме...» Верится с трудом.

измену и выслали в Обдорск, Бурцев послал Софью Викторовну Савинкову, сестру Бориса Викторовича.

Савинков едва ли не раньше всех познакомился со сведениями Бурцева, который в начале 1908 года через Софью Викторовну просил бывшего директора департамента полиции, сенатора Лопухина приехать к нему в Финляндию для переговоров. Заметим, что при таком положении, когда бывший главный полицейский страны разговаривает с революционным расследователем, Российской империи не оставалось ничего другого, как ожидать своего падения...

Через несколько месяцев Бурцев встретился с Лопухиным в Германии, где, ссылаясь на Савинкова, привел свои доказательства и получил подтверждение, что Азеф — провокатор.

На суде обвинителями Бурцева выступили Чернов, Натансон и Савинков. Чернов говорил четыре часа, перечисляя заслуги Азефа перед партией. Но Бурцев выложил свои главные козыри — показания Лопухина о том, как тот лично общался с Азефом и подписывал осведомителю выплатные ведомости — до 14 тысяч рублей в год.

— Как ваше мнение, Герман Александрович? — спросил Савинков у Лопатина.

— Да на основании таких улик убивают! — ответил прославленный революционер. Кропоткин был не столь жесток, но тоже категоричен.

И все-таки Савинков сопротивлялся, подозревая, как и другие, что Бурцев поддался на полицейскую провокацию, поскольку больно уж был хорош послужной революционный список Азефа. Бурцев в своей книге «В погоне за провокаторами» привел несколько отрывков из заявления Савинкова.

«Азеф состоит членом партии с самого ее основания; он знал о покушении на харьковского губернатора князя Оболенского (1902 г.) и принимал участие в приготовлениях к убийству уфимского губернатора Богдановича (1903 г.). Он руководил с осени 1903 г. Боевой организацией и в разной степени участвовал в последующих террористических актах: в убийстве министра внутренних дел Плеве, в убийстве великого князя Сергея Александровича, в покушении на великого князя Владимира Александровича, в покушении на петербургского генерал-губернатора генерала Трепова, в покушении на киевского генерал-губернатора Клейгельса, в покушении на нижегородского губернатора барона Унтерберга, в покушении на московского генерал-губернатора Дубасова, в покушении на министра внутренних дел Дурново, в покушении на офицеров Семеновского полка генерала Мина и полковника Римана, в покушении на заведующего политическим розыском Рачковского, в убийстве Георгия Гапона, в покушении на командира Черноморского флота адмирала Чухнина, в покушении на премьер-министра Столыпина и в трех покушениях на царя. Кроме того, он заранее знал об убийстве Татарова, об убийстве петербургского градоначальника фон-дер-Лауница, об убийстве главного военного прокурора генерала Павлова, о покушении на великого князя Николая Николаевича, о покушении на московского генерал-губернатора Гершельмана и т. д.

Он был членом Центрального Комитета и принимал участие во многих крупных революционных предприятиях и в обсуждении всех без исключения планов, в том числе московского, свеаборгского и кронштадтского восстаний».

Это весьма внушительное свидетельство масштабов террора.

— Я обращаюсь к вам, Владимир Львович, — говорил Савинков, — как к историку русского освободительного движения, и прошу вас после всего, что мы вам рассказали здесь о деятельности Азефа, сказать нам совершенно откровенно, есть ли в истории русского освободительного движения, где были Гершуни, Желябовы, Сазоновы, и в освободительном движении других стран более блестящее имя, чем имя Азефа?

Бурцев ответил, что нет, но только если Азеф не... негодяй.

А тем временем сенатор Лопухин написал письмо к Столыпину, где прямо назвал Азефа агентом полиции. И постарался, чтобы копия его попала к эсерам.

Вскоре выяснилось, что Азеф успел тайком съездить в Петербург, побывать ночью на квартире Лопухина, где именем своих детей умолял не губить его. Лопухин дал и его словесный портрет: «Толстый, сутуловатый, лицо одутловатое, шея короткая, скулы выдаются, губы очень толстые...»

В декабре 1908 года Лопухин приехал в Лондон, где встретился с Черновым и Савинковым, который после этого пригласил к себе Бурцева, плотно прикрыл дверь и сказал:

— Вы правы во всем!

Однако некоторые боевики грозились, что, если тронут Азефа, они перестреляют весь ЦК.

Далее происходит нечто странное. В декабре 1908 года ЦК эсеров принимает решение — расследование продолжить, но убийство подготовить. Азеф должен был пасть от руки Савинкова и Чернова на «уединенной вилле» в Италии. Но до этого они явились на парижскую квартиру к Азефу, расспрашивали «по-товарищески» и дали срок до 12 часов следующего дня, чтобы рассказал обо всем откровенно. Однако тот не стал дожидаться утра и скрылся вместе с женой. Тогда появился документ:

«Центральный комитет п. с.-р. доводит до сведения партийных товарищей, что инженер Евгений Филиппович Азеф, 38 лет (партийные клички: «Толстый», «Иван Николаевич», «Валентин Кузьмич»), состоявший членом партии с.-р. с самого основания, неоднократно избиравшийся в центральные учреждения партии, состоявший членом БО и ЦК, уличен в сношениях с русской политической полицией и объявляется провокатором...»

В феврале 1909 года в Государственной думе состоялся запрос об Азефе. Было зачитано его письмо к Савинкову от 10 октября 1908 года, в котором он начисто отрицал свою провокационную деятельность. На запрос ответил Столыпин, сказавший, что в число сотрудников полиции Азеф был принят еще в 1893 году, но что нынешний скандал с ним поднят для вящего прославления революции. Лопухина арестовали за содействие эсерам и сослали в Сибирь, а вот Азефа...

Тут были руки коротки и у полиции, и у эсеров. Хотя и те, и другие имели великий опыт в деле сыска и мести. Азеф скрывался успешно в разных странах, благо имел капитал в несколько сот тысяч франков в банках, и выступал в печати с публикациями под псевдонимом.

Вряд ли эсеры дали бы ему гулять на воле, если бы его не прикрывали силы помощней и охранки, и революционных партий. Недаром он писал эсерам:

«Оскорбление, какое нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться».

В 1912 году он встречался с Бурцевым во Франкфурте-на-Майне и кое-что порассказал о своих подлостях, но не о своих подлинных хозяевах, которые оберегали его за верную службу так тщательно, что он преуспевал даже, по некоторым сведениям, на ниве оптовой торговли дамскими корсетами, играл на бирже и, оправдывая расхожую фразу о генералах, еще долго жил и умер в своей постели в Берлине накануне второй мировой войны. Как и сионист Рутенберг.

Есть грань, за которую простому смертному зайти не дадут. Есть тайны, известные лишь немногим посвященным. Остается только догадываться, почему крупное полицейское начальство давало возможность действовать Азефу, вовлекать в террор все новых людей... Чтобы знать о партийных делах? Зачем? Министров внутренних дел все равно убивали одного за другим, покушались бесконечно на Столыпина, и Азеф не предупреждал убийств. Он организовывал все новые, направлял их, устранял, наряду с теми, кого называли «сатрапами режима», и личностей, полезных для набиравшей экономическую мощь России.

Профессор С. Пионтковский догадливо писал в предисловии к книге Бурцева, что некоторые полицейские чины поняли: Азеф пользуется охранкой для прикрытия своей террористической деятельности. Понял и Савинков, что он всего лишь орудие в руках Азефа. А может быть, и знал? Известно, что непосредственный руководитель Азефа в полиции Ратаев, по словам Лопухина и Бурцева, «систематически и сознательно скрывал даже от своего высшего начальства истинную роль Азефа».

Кстати, эсеры сильно проиграли в глазах общественного мнения после этого дела. Ходили слухи, что в охранке служили и такие видные эсеры, как Чернов и Натансон. Масоны.

В последнее время в печать проникает все больше сведений о масонах, к которым принадлежали и революционеры, и будущие члены Временного правительства во главе с Керенским, и высшие чины российской полиции. Россия шла по пути прогресса, а в Англии, в форпосте его, все работники Скотланд-Ярда традиционно состоят в ложах. В них велся свой счет, в них хранились тайны, выдача которых карается смертью. Под масонской пятиконечной звездой кроились судьбы мира. И люди, находившиеся по разные стороны баррикад, оказывались вынутыми из одного мешка.

Во всяком случае Савинков определенно был масоном. В его бумагах немало свидетельств о принадлежности к русской масонской ложе «Астрея», гроссмейстером которой был некий Вольгоф. Есть там и инструкция знаменитой ложи «Великий Восток Франции». И градус Савинков имел немалый, судя по тому, что в письме от 24 октября 1922 года его просят «составить рапорт о брате Н. В. Чайковском, 14 градуса, по поводу первого благоприятного голосования»...

Это объясняет, каким образом Савинков доходил до общения с сильными мира сего. С Черчиллем, например, который в своей книге «Великие современники» писал, что русский террорист «сочетал в себе мудрость государственного деятеля, отвагу героя и стойкость мученика». Масон хвалил масона.

История с Азефом нашла свое отражение в известном романе Честертона «Человек, который был Четвергом», увидевшем свет в 1908 году. В нем главари террористов в конце концов все как один оказываются служащими полиции, и остается загадочной фигура лишь самого главного из них, Воскресенья, громадного, толстого, держащего в руках все нити интриги. Честертон упивался абсурдностью кровавой игры, и его сочинение можно было бы принять за ироническое осмысление терроризма, над которым парит дух толстого гуманиста, как это объясняют ныне некоторые литературоведы, если бы автор не был членом тайной организации и не вел своей, не понятной для непосвященных, литературной игры.

Роман Честертона носит подзаголовок «Страшный сон», и в нем тоже цитируются библейские аллегории. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и Сатана». В свое время книгу считали апологией беззаконной свободы. Муссолини, наоборот, понял ее как защиту порядка. Ее герои, кроме толстого, связаны необъясненной клятвой, «они не просто боятся, а неприятно и неприлично играют», при этом «Воскресенье — не полицейский начальник и не беззаконный мятежник, а герой и мудрец, отстаивающий мир от хаоса, и самое воплощение веселой и доброй свободы» (Н. Трауберг, 1989). Короче, оправдывается принцип, гласящий, что у «дьявола две руки», и не важно, которая из них правая, а которая левая в политическом смысле, не важно, что они по обе стороны баррикад и вроде бы борются друг с другом. Важно, что хозяин у них один.

В книге «Воспоминания террориста», написанной в 1909 году, Савинков признает, что именно Азеф «создал центральный террор», то есть централизованный, положивший начало массированному уничтожению людей. Эсеры распустили свою Боевую организацию. Кровавое пиршество временно идет на убыль. Для Савинкова наступает время литературного изыска, приносящего и прибыль, и славу.

(Продолжение следует)

КРИТИКА



Круг чтения

АЛЕКСЕЙ ШИРОПАЕВ

ГОЛОС «ВЕЧА»

ПО СТРАНИЦАМ НЕЗАВИСИМОГО РУССКОГО АЛЬМАНАХА

Россия на Кресте,
но после Креста — Воскресение.
Из читательского письма.

Мы, отрезанные от прошлого, от наших подлинных духовных основ, не знаем многого. В частности, мы почти не представляем, что где-то идет настоящая, беспримесная русская жизнь — пусть и под чужим небом; что где-то есть люди, хранящие очаги русскости, хранящие их для нас, в собственном Отечестве зачастую лишенных возможности подышать воздухом России.

Мы живем в России и как бы не в России. Нам часто необходимо делать над собой усилие, чтобы различить свою Родину сквозь исковерканный ландшафт, сквозь уродливо перестроенные города, сквозь газетный «новояз», наконец, сквозь наш собственный облик, на котором — печать террора, ГУЛАГа, идеологического мордования: «Ты родом из Октября». Мы пытаемся приблизиться к той свободной, цельной, не тронутой вивисекциями русской Родине, увидеть притонувший под черным ураганом нашествия «Китеж», и все больнее нам читать пророческие бунинские строки, написанные в «окаянные дни» 1919 года: «...Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую не ценили, не понимали,— всю эту мощь, богатство, счастье...»

...Не будем останавливаться на слишком понятных причинах, по которым массовому российскому читателю пока не известен издающийся за рубежом альманах, чья обложке украшена трицветием последнего русского национального флага и силуэтом св. Георгия Победоносца. Этот альманах — «Вече», чей голос, подобно китежским колоколам, достигает слуха немногих; альманах, помогающий нам «представить себе ту Россию...»

Впервые название «Вече» появилось не за границей. Люди, чье патриотическое становление пришлось на невеселые 70-е годы, по сей день помнят журнал, выходивший под редакцией Владимира Осипова — уникальное детище самиздата, открыто говорившее не на дежурную тему о «правах человека» (в плане права отъезда в США или Израиль), а о кровоточащих русских проблемах: гибели деревень, планомерном спаивании народа, духовной и экологической катастрофе, потере исторической памяти, подъяремном положении Православной Церкви... Первый номер осиповского «Веча» вышел на Крещение, 19 января 1971 года,— в этот же день оборвался земной путь Николая Рубцова... Журнал, подвижнически размножаемый на пишущей машинке, выходил три раза в год тиражом пятьдесят экземпляров. Последний, девятый, номер вышел в 1973 году, а в 1974-м В. Осипов был арестован. Только в 1975 году последовал приговор — восемь лет строгого режима, которые В. Осипов отбыл, что называется, «от звонка до звонка». К делу главного редактора первого «Веча» лично «приложил руку» тогдашний шеф КГБ Ю. В. Андропов, по поводу которого второе «Вече» недавно заметило, что впоследствии «это был первый правитель самой большой в мире страны, об отце и матери коего никому ничего не известно...» (№ 37).

В 1980 году один из крупнейших зарубежных журналистов, О. А. Красовский, живущий в ФРГ, «подхватывает знамя, выпавшее из рук В. Осипова». Надо сказать, что преемственность в данном случае соблюдена чисто духовная; О. А. Красовский основал, по сути, новое издание, со своим неповторимым лицом, своим голосом, своим кругом авторов. Необходимо отметить обстоятельство, имеющее в наши дни особый смысл: О. А. Красовский издает альманах исключительно на собственные деньги, и дело это совсем не прибыльное. Достаточно сказать, что для экономии и без того скудных средств главному редактору приходится совмещать свою должность с работой наборщика.

Альманах постоянно ищет живую связь с Родиной. И в прошлом году произошло знаменательное и обнадеживающее событие: начала работу редакционная группа альманаха в Москве, которую возглавил философ и публицист В. Н. Тростников. Это вселяет надежду, что трехцветная

обложка «Веча» станет наконец-то знакомой широким читательским кругам.

О. А. Красовский, подчеркивающий, что альманах является «русским, а не русскоязычным изданием», определяет в качестве главной задачи, стоящей перед «Вечем», «поддержку русского патриотического движения и борьбу с русофобией». Наша основная трагедия — внутренняя изуродованность, внутреннее разорение, и «Вече» ведет планомерную работу по восстановлению русского национального самосознания, духовного строя. Мы, говоря словами одного из авторов альманаха, Андрея Щедрина, находимся в плену «образов-перевертышей, живых исторических личностей, казавшихся современникам олицетворением добра и явившихся впоследствии воплощенным злом...»; кроме того, мы духовно пленены символами-перевертышами, выдающими себя за эмблемы добра, но, как показывает жизнь, таковыми не являющимися.

Символы, не имеющие органической связи с отечественной историей, нам привычны; свое же, почвенное, или не замечается, или режет глаз. Это — род наваждения. «Расколдовыванию», «смыванию» от лжи и предрассудков, которые застилают от нас старейший национальный символ — двуглавого Орла,— посвящена интереснейшая работа В. Новикова «Русский государственный Орел. Мистерия 445-летней исторической эволюции» (№№ 24—25). Автор прослеживает необъяснимые, с точки зрения прагматического сознания, изменения облика Орла, традиционно знаменовавшие вступление на престол нового монарха, в которых каждый раз выражалось провидческое предощущение характера очередного царствования. Это можно сказать и о последнем Орле, за чьей внешней мощью и моментальностью угадывается скорбное остывание имперского тела...

В. Новиков, мыслящий образами и метафорами, пишет, что «с самого начала своего мистического полета над судьбами Российского Государства Русский Двуглавый Орел нес на груди своей тезу и антитезу, добро и зло, Христа и антихриста, Всадника Небесного и Змия апокалипсиса. Две бездны!

445 лет побеждал Георгий гидру, пронзал ее копьем, но... не умертвил. Бездна греха, анархии и богоборчества, извиваясь под копьем Воина Христова, все же жила на самой груди, под самым сердцем Орловым.

В трагический мартовский день 1917 года антихристова гидра московского герба ужалила наконец Орла в сердце...»

«Орел,— пишет в заключение В. Новиков,— существо дневное; его глаза могут не мигая смотреть на солнце». Но страна встала «под знак ЗВЕЗДЫ, символ НОЧИ».

Что же с нами произошло?

Над этим вопросом размышляет в статье «Чума XX века» В. Н. Тростников (№ 35). «Когда врач приходит к больному,— пишет автор,— он первым делом спрашивает домочадцев, когда и с каких признаков началось недомогание и как эти признаки развивались. Ему нужно иметь внешнюю картину заболевания на протяжении нескольких дней, максимум двух недель... Сейчас речь идет о государственном организме, поэтому нам не неделю нужно охватить взором, а целое столетие. Историей болезни будет для нас логика нашей последней истории, имеющая явно разрушительный характер».

В. Н. Тростников всматривается сквозь толщу исторических вод, скрывающих наш «Китеж»: «В прошлом веке на той земле, где мы с вами ныне проживаем, существовала удивительная страна, называемая Россией. После победы Александра над Наполеоном и учреждения «Священного союза» она стала могущественнейшей державой мира. Она была очень богата в материальном отношении и кормила своим хлебом половину Европы. Но вспомним сейчас не это, а другое: она была преисполнена **неизреченной красоты**, пленящей душу каждого, кто с ней соприкасался» (выделено мной. — А. Ш.)

«На чем же стояла Великая Россия?» — задает В. Н. Тростников вопрос, ответ на который имеет решающее значение для восстановления русского национального духовного строя. И дает ответ, поначалу могущий ошеломить нас, воспитанных на «перевернутой» системе ценностей, в которой царский министр просвещения С. С. Уваров — кто-то вроде испанского инквизитора, но зато советский наркомпрос А. В. Луначарский — воплощение всех добродетелей.

«Православие, самодержавие, народность» — называет В. Н. Тростников «три опоры Великой России». «А теперь представим себе на минуту,— продолжает он,— что кто-то поставил задачу ее уничтожить. Какой план действия был бы тут наиболее подходящим?.. Необходимо было бы уничтожить сначала одну опору, потом другую и, наконец, третью». Но это еще не все, считает В. Н. Тростников. Далее — «ослабление жизненной силы, сохраняющейся в народе по инерции», и впоследствии — «сведение ее на нет». Последний этап — «превращение бывшей России в нечто несамостоятельное и зависимое от других государств, чтобы не могло быть даже случайного возврата к ее собственному бытию. Это — чисто логическая схема. Но вот что поразительно: именно эта оптимальная программа и была осуществлена на практике!..»

Итак, три столпа, три слова. Самое «заколдованное» из них — «самодержавие». Годы и годы сеанса непрерывного идеологического гипноза (этакий Кашпировский на семь с лишним десятилетий!) сделали так, что в слове этом многие уже рефлекторно слышат стук цепей. Хорошо, что недавно широкая публика смогла узнать из «Красного Колеса» А. Солженицына, что самодержавие — это не произвол, а независимость от других государей. Самодержавие — целая идеология; и если, допустим, многие народные депутаты СССР изучают американскую демократию, имеющую к нам весьма условное отношение — и никто не считает такое изучение предосудительным, то почему же даже элементарное внимание к тому, что произросло из родной земли и, в свою очередь, веками делало Россию, вызывает недоумение, а

то и откровенное неприятие — кстати, в духе изруганного всеми «Краткого курса»?

В свете сказанного несомненный интерес представляет работа Владимира Карпеца «Российское самодержавие и русское будущее (На пути к православному государствованию)» (№ 35). «История человечества есть прежде всего история монархий, — пишет В. Карпец. — Монархическая государственность у разных народов насчитывает несколько тысячелетий, история демократии — несколько веков. В соцветии мировой истории Российское самодержавие — жемчужина, затоптанная ногами и упрятанная под спуд».

Автор приводит слова о. Сергия Булгакова, совершившего путь от марксиста до православного священника как раз в то время, когда в обществе был популярен путь совсем обратный: «...каким-то внутренним актом, постижением, силу которого дало мне Православие, изменилось мое отношение к Царской власти, воля к ней. Я стал, по подлому выражению улицы, царист. Я постиг, что Царская власть в зерне своем есть высшая природа власти, не во имя свое, но во имя Божие... Я почувствовал, что и Царь несет свою власть, как Крест Христов, и что повиновение ему тоже может быть Крестом Христовым и во Имя Его. В душе моей, как яркая звезда, загорелась идея священной Царской власти, и при свете этой идеи по-новому загорелись и засверкали, как самоцветы, черты русской истории: там, где я раньше видел пустоту, ложь, азиатчину, загорелась Божественная идея власти Божией милостью, а не народным произволением».

«Что же случилось с нашей Родиной?» — не можем мы не повторить прозвучавший не раз вопрос. «...Уже отлит был Крест для водружения на св. Софии Цареградской,— пишет В. Карпец,— вышла из-под спуда Дивеевская святыня, и было все это в обрамлении невиданной державной и военной мощи России. Но все внешнее рухнуло сколь внезапно, столь и неодолимо. Мы не будем говорить здесь о проводниках зла — кто они, хорошо известно всем. И в конечном счете дело не в них. В старых требниках на вопрос о том, может ли вредить человеку колдовство, давался прямой и недвусмысленный ответ: «Не может, аще праведен». Так же и революция...»

В том же номере опубликована замечательная проповедь игумена Андроника, произнесенная по поводу пожара, происшедшего в Московской Духовной Академии. Это живое церковное слово помогает понять, почему в свое время нам «смогло повредить колдовство». «Если мы живем по заповедям Божиим, — говорит игумен Андроник, — или по немощи и даже по своему произволению грешим, но в исповеди каемся в этом, то Божия Мать покрывает нас и покровом внутренним, и покровом внешним. Если же мы грешим и не каемся или тем более считаем, что мы правы в своем телесном угождении Богу, тогда Матерь Божия, дабы сохранить наши сердца, наши души, оставляет на нас внутренний покров, но снимает с нас внешний покров. Вот тогда мы подвергаемся различным бедствиям. Ничто не щадит Божья Матерь, Бог **ради спасения наших душ** (выделено мной. — **А.Ш.**). Не щадятся храмы, не щадятся средства, не щадятся силы, время, которые были положены, не щадятся даже жизни для того, чтобы пощадить то, ради чего человек живет на земле...».

Да, в конечном счете дело не в проводниках зла. Но, видимо, нельзя и забывать о них, ибо еще в Евангелии сказано: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Ев. от Матфея, гл. 18). Допустимо ли не различать тех, «через которых соблазн приходит»?

«Вече» уделяет немало места на своих страницах активной борьбе с опасным явлением, обобщенно называемым русофобией, тем более что о такой борьбе О. А. Красовский заявил как об одной из программных целей альманаха, в котором, кстати, опубликована замечательная работа И. Р. Шафаревича, ставшая ныне знаменитой. В частности, в полемической статье Вл. Симанского (№ 35) ярко показаны те «единодушие и единомыслие, с какими дружно набросились на автора «Русофобии» представители образованщины из числа русскоязычной публики. Это лишь еще раз подтверждает справедливость утверждения И. Р. Шафаревича: он посмел затронуть «вопрос», «находящийся под абсолютным запретом во всем современном человечестве»... никакая, самая злая карикатура не могла бы с большей беспощадностью показать те поистине инфернальные гримасы, с какими публично корчатся задетые им (пусть и косвенно) или почувствовавшие себя задетыми потенциальные герои его сверхзлободневной книги».

В этом же ряду острых антирусофобских публикаций находится и статья С. Куняева об одном из самых ревностных «проводников зла», столпов, по выражению Вл. Симанского, «приказного ИНТЕР-национализма» — Емельяне Ярославском (Губельмане), главаре Союза Воинствующих безбожников, сыгравшего «решающую роль в разрушении десятков тысяч церквей, более тысячи монастырей, уничтожении древних рукописей и бесценных икон, в политических процессах и преследовании церковных деятелей... в надругательствах над религией и верующими...». «В христианской религии и православной церкви Ярославский видел врага, который должен быть уничтожен...» — констатирует С. Куняев. Антинациональный погром обездолил нас на много поколений вперед. «Злая воля — атеиста и русофоба лишила меня дорогих могил моих предков,— горькими словами заканчивается статья. — Да только ли меня?.. Он был идеологом беспамятства — да будет ему закономерным уделом забвение».

Только этого и достойны «проводники зла» всех степеней. И что нам их «инфернальные гримасы»! Пусть корчатся, пусть уходят в забвение. Какова «гримаса» была бы у того же Ярославского, если бы он мог видеть, что в России, почти уже превращенной было в котлован для массовых убийств, всенародно празднуется Тысячелетие Крещения! А ведь караемый долголетием коллега Ярославского по черным делам видит, как образ взорванного им Храма начинает сплачивать нацию. Идет процесс «расколдовывания» народной души; «перевернутая», оборотническая система ценностей распадается и уступает место находящемуся в становлении естественному, национальному духовному строю. Тают «образы-перевертыши», бездушные кумиры в личине добра, и вновь утверждаются в сознании народа образы его истинных отцов. Первому из них, св. Великому князю Владимиру, посвящена статья известного русского философа А. Карташёва (№ 24).

«Отец нашей нации по плоти и по духу», «истинный отец-родитель нашей культуры», сформировавший «коллективную историческую душу народа» — так А. Карташёв называет св. Владимира и раскрывает два главных завета, оставленных нам Крестителем Руси: «Завет первый — идти по пути восточного Православия, не смущаясь его подчас каменистостью и тернистостью, не слушая сирен, завлекающих в противоположную сторону.

Завет второй — не останавливаться на внешнем украшении книги евангельской золотом и драгоценными камнями, а самим делом пытаться осуществлять любовь Христову в жизни общественной и даже государственной, создать **святую Русь, христианский народ, христианскую государственность**» (выделено мной. — А. Ш.).

Бесценен опыт св. Владимира в деле «осуществления любви Христовой». Филантропия, помощь слабым, неимущим имели удивительные масштабы в государстве Крестителя Руси, который продемонстрировал «решение социального вопроса сверху, в рамках целого государства, волей христианского монарха». А. Карташёв пишет, что «за 1000 лет до нынешних соблазнителей хлебами св. Владимир сделал все, что мог, для помощи меньшей братии, как устроитель и реформатор государства, и не пролил рек крови и не заковал народ во имя «свободы, равенства и братства» в цепи рабства, подобно антихристианским «народолюбцам» наших дней».

Эта духовная традиция, заложенная св. Владимиром, прослеживается во всей последующей русской истории. Достаточно вспомнить, что знаменитый монастырь, игуменом которого был св. Иосиф Волоцкий, кормил в голодное время множество людей. И как не похож на эту традицию «христианской социальности» предлагаемый нам сегодня принцип «кто смел, тот и съел»...

Наш народ сейчас в чем-то подобен своим языческим предкам у кромки днепровской воды — это сопоставление можно слышать часто. Поэтому так важно сегодня, в духовное межвременье, услышать проникновенное церковное слово — такое, с каким обращается к нам, слабым людям, со страниц альманаха старец Псково-Печерского Успенского монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень трудно.

На самом деле — очень легко. Стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки, и стараться не согрешать в самых маленьких и легких делах.

Это самый простой и легкий способ войти в духовный мир и приблизиться к Богу.

...Трудно встать ночью на молитву. Но вникните утром — если не можете дома, то хотя бы когда идете к месту работы своей, и мысль ваша свободна,— вникните в «Отче наш», и пусть в сердце вашем отзовутся все слова этой краткой молитвы. И на ночь, перекрестясь, предайте себя от всего сердца в руки Небесного Отца... Это совсем легко.

И подавайте, подавайте воды всякому, кто будет нуждаться — подавайте стакан, наполненный самым простым участием ко всякому человеку, нуждающемуся в нем. Этой воды во всяком месте целые реки,— не бойтесь, не оскудеет, почерпните каждому по стакану.

Дивный путь малых дел, пою тебе гимн!..»

В поисках духовно значимого слова «Вече» обращается и в прошлое, к незаслуженно забытым или намеренно замалчиваемым, «заколдованным» именам, к коим относится и имя Сергея Александровича Нилуса, первого публикатора «Протоколов сионских мудрецов», которые, выйдя в свет в составе книги «Великое в малом», вызвали «вспышку гнева в печати», в свою очередь обернувшуюся «бурей поношений, разнузданной травлей» автора...

Упомянув об этом, А. Н. Стрижёв в статье «Духовные писатели и Оптина пустынь» знакомит нас с С. Нилусом именно как с «ярким представителем плеяды духовных писателей». «Не внешним, а внутренним оком видит духовный писатель все то, что происходит в жизни,— пишет А. Н. Стрижёв. — И обо всем, что происходит, судит не по стихиям мира, а по Божьему соизволению, во всем усматривая проявление Его Воли...» «Летописцам Оптиной пустыни» называет автор статьи С. Нилуса, из шести томов творческого наследия которого «четыре посвящены Оптиной, «Калужскому Сарову» — так называл достохвальную обитель сам писатель».

«... О, красота моя Оптинская! о, мир, о, тишина, о, безмятежие твоего монашеского духа, установленного и утвержденного молитвенными создыханиями твоих великих основателей!..

О, благословенная моя Оптина!» — приводятся в статье строки С. Нилуса.

Оптина пустынь, общение со старцем Варсонофием сформировали в С. Нилусе «внутреннего человека». Это не могло не проявляться и внешне: «На всем облике писателя запечатлелось достоинство несуетное, благообразие и молитвенная доброта», — отмечает А. Н. Стрижев.

И тут, в силу сокровенной духовной логики, перед нашим мысленным взором появляется образ всем известного современника С. Нилуса, которому он посвятил немало строк. Речь идет об Императоре Николае Втором.

Выше приводились слова А. Щедрина об «образах-перевертышах», ложных «олицетворениях добра», характерных для нашего века. Далее А. Щедрин уточняет: «Время показывает и другое. Ложь истории, не раз-

дуваемая невидимой миру злобой дня, обнажая умысел, оседает, подобно пыли на лице правды, да будучи омыта временем явит свою чистоту».

«В России,— читаем в одном из недавних номеров «Веча»,— в последнее время отмечается стремительно нарастающее, совершенно непредвиденное почитание расстрелянных в 1918 году в Екатеринбурге Государя Императора Николая Второго и его семьи...». Нельзя не согласиться с альманахом: статья, вроде той, что была «опубликована в «Литературной газете» в 1982 году по поводу канонизации Синодальной Церковью новомучеников, под названием «Прославили Николашку», сейчас немыслима... Сейчас появляются статьи, наполненные пиететом».

Надо, правда, уточнить, что за внешним пиететом подобных выступлений в некоторых «быстрореагирующих» изданиях угадывается стремление в «пожарном порядке» выдать в народ свою версию, в частности, екатеринбургского злодеяния... Но сейчас речь не об этом. Мы еще делаем только первый шаг к тому, чтобы начать понимать последнего русского Императора, его жизнь и смерть; но наша совесть уже начинает глухо отзываться на такие стихи В. Солоухина (№ 36):

...Как хорошо, во всех народных сказках,
Иванушки выходят — молодцы.

Ан нет! И впрямь и царство всё проспали,
И отдали в разор красу земли.
Царевен в сказках доблестно спасали,
А подлинных царевен не спасли.

И мы уже не спешим унижать словами «ошибка» или «эксцесс» трагическую судьбу поэта и офицера Николая Гумилева, в яркой статье о котором Г. Варягин приводит следующие его строки (№ 24):

Тягостен, тягостен этот позор —
Жить, потерявши Царя.

«И хотя не русские возглавляли непосредственное убийство Царской Семьи, — пишет на страницах альманаха В. Карпец,— кровь Государя и на нас, и на наших детях тоже,— за то, что мы, не отстаивая его, предали и, по сути, одобрили его убийство... Огромное количество рождающихся у нас дебильных детей — следствие не только и не столько пьянства, сколько родовой нераскаянности...» (№ 36).

Нам еще предстоит «оценить» ту своего рода виртуозность, с какой черное обращалось в белое и, соответственно,— наоборот. В. Карпец напоминает, что «именно Николаю II (который записан в наших учебниках как «кровавый».— А. Ш.) принадлежит идея всеобщего и полного разоружения». Именно он «обратился ко всему миру с призывом созвать международную конференцию с целью положить конец всем войнам. Это обращение отклонили главы в с е х государств Европы. Затем, вновь по зову Царя, в 1898 году в Гааге был создан Международный Суд, первоначальная цель которого была та же. Но западные страны «замотали» его и свели его к частно-правовому арбитражу...». Обо всех этих шагах русского Императора «боязливо умалчивается перед лицом «просвещенного» «мирового сообщества», «мирового Вавилона»...» (№ 35).

Таинственная нить, проходящая через всю отечественную историю, связывает св. Владимира и Царя-Мученика: первый русский православный монарх строил христианские «общественные и даже государственные отношения», последний же монарх предложил миру христианские отношения международные.

В «Вече» (№№ 36, 37) опубликован дневник настоятеля Феодоровского собора в Царском Селе протоиерея Н. Беляева, охватывающий промежуток времени с марта по август 1917 года, вплоть до ссылки Царской Семьи в Тобольск. Это удивительный, уникальный документ, помогающий нам преодолеть баррикады лжи и просто дремучих суждений, заслоняющие от нас образы замечательных русских людей — Императора и его семьи. «Надо самому видеть и так близко находиться, чтобы понять и убедиться, как бывшая Царская Семья усердно, по-православному, часто на коленях, молится Богу»,— записывает о. Беляев. «...Дай, Господи, чтобы и все дети нравственно были так высоки, как дети бывшего Царя», — запись после исповеди. Дневник свидетельствует о стойкости Императрицы в грозный день 2 марта 1917 года, а также доносит до нас последние слова Николая II перед ссылкой в Тобольск: «Мне не себя жаль, а тех людей, которые из-за меня пострадали и страдают, жаль Родину и народ».

Невозможно без волнения читать и другой документ — дневник комнатной девушки Императрицы, А. С. Демидовой, впервые увидевший свет (№ 37). За простотой и безыскусностью этого текста кроется духовная чистота, объясняющая судьбу А. С. Демидовой, которая прошла с Царской Семьей весь путь — до конца в ипатьевском подвале.

В упоминавшейся выше статье В. Новикова встречаем такое замечание, нарушающее общий ее тон: «Несчастнейший из несчастных русских венценосцев Император Николай II закончил трагедию своего царствования словами: «Нет той жертвы, которую я не принес бы для России». Увы, жертва оказалась не только напрасной, но и пагубной — не стало династии, не стало и России».

В ответ на это вспоминается икона Русской Зарубежной Церкви, изображающая стоящих рядом св. Владимира и Царя-Мученика. Крестителя в прошлом и — Крестителя в будущем? Ведь именно последний образ, объединяющий сегодня, по словам «Веча», «все понимания возрождения» России, уже ведет нас ко «второму крещению» — п о к а я н и ю.

Не пора ли нам всерьез задаться вопросом: если в мифологии, довлеющей над нашим сознанием, существуют ложные «олицетворения добра», то почему не быть ложным «олицетворениям зла»? Без этого «перевернутая» система ценностей была бы неполной. Разве не такой ложной личиной «воплощенного зла» окутывали образ последнего Императора? И не для того ли, чтобы максимально уплотнить эту личину, пущены в обиход перевернутые представления о тех, кто был рядом с Николаем Вторым — ибо все мы часто повторяем: скажи мне, кто твой д р у г, и я скажу, кто ты.

Надо признать, «сваи» «перевернутой системы» вколочены основательно. И одна из самых устойчивых из них — миф о Григории Распутине, друге Царя, «неразгаданном до сих пор человеке», чей образ неминуемо возникает при упоминании об Императоре. Тайне Г. Распутина посвящен «Публичный доклад» А. Щедрина, опубликованный в № 35.

Действительно, поразительно устойчивое облако негативизма, окружающее имя Распутина, не может не наводить на размышления. Если уже могут признать, что последний Царь не был «кровавым», то признание, что Григорий Распутин не был «распутным», для многих пока за пределами мыслимого.

А. Щедрин приводит слова зарубежных исследователей А. Ессаулова и Г. Мэлона из книги «Реабилитация Распутина»: «Если бы Распутин не существовал, его наверняка нужно было бы придумать. Он был определенно козлом отпущения для тех, кто стремился обесчестить Царскую Семью во имя революции». «С ними, — пишет А. Щедрин, — вполне согласен и советский историк Г. Иоффе, опубликовавший письмо английского советолога Пэйрса Гучкову, смысл которого сводился к тому, что вся работа думской оппозиции в годы мировой войны признается сосредоточенной на одном пункте, а именно на клеветнической кампании против Распутина».

Добавим, что инструмент для такой кампании найти было несложно: вспомним, что к 1917 году львиная доля всей русской прессы принадлежала еврейской буржуазии. В конце концов создание определенной репутации — это дело техники...

В докладе приводится фрагмент из книги воспоминаний председателя Государственной думы М. В. Родзянко «Крушение империи» — «рассказ графа Д. М. Граббе, атамана Войска Донского, о том, как его вскоре после смерти Распутина «пригласил к завтраку известный князь Андронников, обделывавший дела через Распутина. Войдя в столовую, Граббе был поражен, увидев в соседней комнате Распутина. Недалеко от стола стоял человек, похожий как две капли воды на Распутина. Борода, волосы, костюм, все было под Распутина. Андронников пытливо посмотрел на своего гостя. Граббе сделал вид, что вовсе не поражен».

Автор не пытается «делать сенсацию». Спокойный, ровный тон необычной публикации приглашает по-новому задуматься над, казалось бы, давно известным. И как не задуматься, если и в наше время, даже не будучи слишком искушенными людьми, мы можем наблюдать работу отлаженных механизмов дискредитации, с их методичным «капаньем», записью «на подкорку»?

В конце концов не лучше ли, чем верить слухам и сенсационным материалам, обратиться к автобиографическому очерку Г. Е. Распутина «Житие опытного странника» (№ 35) и вслушаться, как пишет «Вече», в «слово любви, сходящее с уст гонимого старца»: «Природа научила меня любить Бога и беседовать с Ним... Много может природа научить по всей премудрости и всякое древо и как по поводу весны. Весна означает великое торжество для духовного человака. Как развивается в поле, то есть украшенный светлый май, так и кто следящий следит за Господом, то у него зацветает душа подобно маю, у него такое торжество, как день Пасхи, то есть напоминает как будто этот день когда он причащался, и как развивается вся весна, так развивается и торжествует кто ищет Господа. Недуховному весна тоже радость, но только как неученому грамота».

...При освобождении от гипнотических чар «перевернутой системы» обнаруживаешь многое, как, например, В. Солоухин, «прочитавший Ленина». В частности, становится ясно, что «возвращение к ленинским нормам отношений с религией» может означать лишь повторение описанного П. Паламарчуком (№ 35). Писатель подробно рассказывает об активном участии В. И. Ленина в сносе памятника Великому князю Сергею Александровичу, погибшему от эсеровской бомбы, — «дяде Императора Николая II и мужу Великой княгини-мученицы Елизаветы Федоровны» (сестры Императрицы. — А. Ш.). Памятник «представлял собой высокий бронзовый с эмалью крест, исполненный по рисунку художника Васнецова, с изображением Распятого и Скорбящей Богоматери над ним. Надпись на кресте гласила: «Отче, отпусти им — не ведают бо, что творят».

П. Паламарчук цитирует подробное воспоминание о процессе сноса: «В л а д и м и р И л ь и ч л о в к о с д е л а л п е т л ю и н а к и н у л е е н а п а м я т н и к. (Разрядка моя. — А. Ш.) Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.

— А ну, дружно! — задорно скомандовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК, Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули — и памятник рухнул на булыжник...»

«Таковы, — констатирует П. Паламарчук, — были истинные ленинские нормы отношений с Христом: петлю на шею Сыну Божьему».

Писатель рассказывает современную притчу об одной старушке, поминавшей в молитвах Ленина. Вскоре «ночью явился его призрак и сказал: «Я пришел к тебе не по своей воле. Не молись за меня — мне уже ничто не поможет». Страшной подлинностью веет от этой истории.

...Бой на красном поле московского герба продолжается. «Георгий Победоносец в гербе Москвы, — отмечает В. Новиков, — является выразителем не личного патроната, но носителем некой государственной идеи...»; эта же идея определила путь независимого русского альманаха: «вечной борьбой с антихристовым злом утверждать богоносную правду Христа».



КРИТИКА

Отечественный архив

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ШТЕМПЕЛЕВАННАЯ КУЛЬТУРА

Совсем недавно, в 1988 году, в издательстве «Советский писатель» вышла объемная книга «Андрей Белый — проблемы творчества». В нее вошли как работы самого Андрея Белого, так и многочисленные статьи литературоведов, посвященные мировоззрению этого заметного представителя русской культуры начала XX века. Из поля зрения составителей (Ст. Лисневского и Ал. Михайлова) по непонятным причинам выскочила статья «Штемпелеванная культура», которая по своем появлении в 1909 году в журнале «Весы» имела весьма широкий общественный резонанс. Мы восполняем пробел, допущенный составителями сборника «Андрей Белый — проблемы творчества», и публикуем эту статью, поскольку считаем, что многие ее положения сегодня звучат не менее актуально, чем в начале столетия.

Говорят, что запад — свет России; говорят и то, что Россия — свет западу.

Не правы западники, отождествляя с западом арийскую культуру: они забывают, что запад западу — рознь (Германия — не Франция, Франция — не Англия). На западе есть к у л ь т у р ы, а не к у л ь т у р а. Удел последнего западника — стать провозвестником одной из расовых культур (германофилом, франкофилом): такое западничество есть вывернутый наизнанку национализм.

Говорят, будто к у л ь т у р ы запада в содержании своем чем-то объединены и противопоставлены России: это — иллюзия; и Россия — тот же запад.

Начиная с быта и кончая общественными учреждениями, философией, поэзией, музыкой, запад индивидуален (быт англичанина не быт француза, палата депутатов не парламент; гедисты, бланкисты, синдикалисты — не германские социал-демократы; Стефан Георге ближе к Гёте, нежели к Верлэну; культура нации перевешивает общность эпохи). С о д е р ж а н и я западных культур несоизмеримы.

Остается норма: такой нормой... но в том-то и дело, что культура есть содержание, т. е. нечто индивидуальное, конкретное; нормой культуры являются общеобязательные условия ее проявления. Такие условия — суть: наука, в частности; некоторые выводы науки, применимые к жизни (грамотность, всеобщее избирательное право и т. д.). Между наукой и культурой есть взаимоотношение: нет тождества. Культура есть процесс воспитания и рост человеческого духа: но точка отправления здесь — раса; она — земля всякой культуры, бесконечно преобразимая, но земля: нация — альфа и омега культуры; наука — нормировка и координировка процесса. И потому-то не правы западники: условиями роста культуры подменяют они самую культуру (есть культурная Европа, но нет европейской культуры).

Еще более не правы наши националисты в к а в ы ч к а х, если отрицают условия роста народной культуры (всегда самобытной), видя в условиях этого роста самую суть культур запада. Мертв для них запад, бесконечно живой, бесконечно чреватый будущим.

Славянофилы и западники одинаково не понимают, в чем самобытность самой культуры, я где граница, отделяющая культуру от условий ее проявления: науки, социально-экономические эволюции и так далее.

Нормы культуры универсальны: форма и содержание ее конкретны, индивидуальны, многообразны, народны.

Поэтому смешно, когда идею самобытности культур космополит отрицает во имя «п р о г р е с с а»; еще более смешно, когда защитник самобытности видит уничтожение самобытности в необходимой политической и экономической эволюции.

Самобытность культур порождает борьбу национальных особенностей рас: эта расовая борьба — вне плоскости политики; она в борьбе бытовых, индивидуальных расовых черт, в борьбе памятников искусства; в этой борьбе происходит естественный отбор наций: наиболее самобытные нации духовно побеждают. Повторяю: условием этой борьбы является полное равноправие рас в их экономическом укладе жизни.

Гений — фокус, собирающий лучи жизни народной; вся культура любого народа основана на творческих личностях, претворивших землю народа в культуру. Вот почему нет гениев там, где самобытность народа иссякла; и нет культуры, где нет гениев. В гениях обнажена и освещена душа народа; земля народа — источник рождения гениев.

Глубоко народны гении Германии: Бетховен, Шуман, Шуберт, Брамс и Вагнер, перекликаясь с Кантом, Фихте, Шеллингом, Гегелем, Шопенгауэром, Ницше, одновременно перекликаются с Шиллером, Гёте, Новалисом, Жан Паулем, Георге: эти 16 имен, проявляясь индивидуально, идут стройной фалангой, завоевывая Германии почетное место среди культурных наций. Во всех них есть что-то особое, свое, германское (как бы индивидуальное клише), начиная с творчества и кончая внешностью (сравните портреты).

Гении наши (Лермонтов, Пушкин, Тютчев, Фет, Вл. Соловьев, Чайковский, Толстой, Достоевский, Тургенев и др.), будучи колоссальной силой, не образуют дружной семьи (нет у всех у них общего отпечатка); все это указывает на молодость русской культуры, она еще «in statu nascendi»[1]: как новорожденную, ее надо беречь.

Но мы ее не бережем.

Слишком боимся мы дурного привкуса, который случайно соединяется у нас со словом «с а м о б ы т н о с т ь». Полемика нам испортила слово: и из боязни перед испорченным словом от самобытности мы открещиваемся к о с м о п о л и т с т в о м. Мы все думаем, что, став на точку зрения самобытности, нам придется, пожалуй, освятить и самобытность закапывателя живых, сектанта Ковалева. Ударяясь в космополитизм, мы подкапываемся под самое содержание души народной, т. е. под собственную культуру, и заменяем культуру у с л о в и я м и ее возможности, т. е. «п р о г р е с с о м».

Мы требуем тогда, чтобы продукты культуры носили штемпель «п р о г р е с с а», забывая, что сфера «п р о г р е с с а» и сфера продуктов прогресса не совпадают друг с другом.

Нам грозит опасность «ш т е м п е л е в а н н о й» культуры, т. е. интернациональной фабрики по поставке гениев; нам грозит фабричное производство мыслей.

И культуры запада уже отравлены фабрикацией одной, всеобщей, прогрессивно-коммерческой культуры: появился новый тип культуртрегера.

Caveant consules![2]

Разве вы не замечаете ужасающего роста интернациональной, прогрессивно-коммерческой культуры во всех областях искусства, где проявляется гений (т. е. квинтэссенция народного духа). Рост книгоиздательств, единственная цель которых — нажива, централизация книжного и музыкального дела в одних руках, так что некоторые литературные и музыкальные предприятия становятся чуть ли не интернациональными; вместе с тем страшное падение литературных нравов, продажность прессы, понижение уровня критики и все большая ее гегемония в вопросах творчества; выступление на арену творчества сомнительных господ, наконец, фабричное производство идей и фальсифицированные гениальности — все это заставляет нас наконец сказать решительно:

«Д о в о л ь н о!»

Правда, произведения национального гения всех стран вы найдете вследствие этого во всяком книжном магазине; правда, рост переводной литературы велик, обилие всевозможных концертных, эстрадных и лекционных (да!) предприятий увеличивается; бесконечная фаланга критиков ежедневно, еженедельно, ежемесячно ставит вас «au courant»[3] жизни искусства всего мира, но...

Вырастает ужасная цензура в недрах этих предприятий: переводится, рекламируется и распространяется только то, что угодно королям литературной биржи; выпускается на эстраду только то, что угодно королям биржи музыкальной; а их идеал — интернациональное искусство, одинаково доступное и понятное интеллигентному плебисциту всего мира, равно оторванного и от здоровой земли народной, и от верхов умственной аристократии...

«Проштемпелеванный» (т. е. прошедший сквозь цензуру «б и р ж е в и к о в») интернационализм с пафосом провозглашается последним словом искусства морально шаткой и оторванной от почвы критикой. А духовно отравляемые интеллигентные массы всего мира наивно продолжают верить, что в этой бирже и в этом хаосе понятий совершается таинство служения культуре.

Много лет «интернационалисты» замалчивали Вагнера, но когда замолчать не могли его громкий, из недр германской расы прозвучавший голос, грянул тысячеголосый хор критиков во славу Вагнера, и теперь уже к имени Вагнера пристала реклама. Много лет замалчивали чистокровного а р и й ц а Ницше; но только по знаку дирижера господина Брандеса хлынул поток похвал; и реклама ныне уже запятнала имя Ницше.

Кто же эти посредники между народом и его культурой в мире гениев? Кто стремится «и н т е р н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р о й» и «м о д е р н - и с к у с с т в о м» отделить плоть нации от ее духа, так, чтобы плоть народного духа стала бездушна, а дух народный стал бесплоден? Кто, кто эти оскопители?

Странно и страшно сказать, но приходится.

Это — пришлые люди: обыкновенно оторванные от той нации, в недрах которой они живут, к несчастью для культуры, ограниченные в государственных правах и потому не имеющие возможности выразить себя на другом поприще, они с жадностью бросаются в ту область, которая не зависит от государства, т. е. становятся пионерами культуры (литературными и музыкальными критиками, организаторами литературных предприятий); количество их увеличивается, а влияние критики и культурных начинаний увеличивается в обществе также; главарями национальной культуры оказываются чуждые этой культуре люди; конечно, не понимают они глубин народного духа в его звуковом, красочном и словесном

[1] В стадии зарождения *(лат.)*
[2] Бойтесь консулов *(лат.)*
[3] В поток *(франц.)*

выражении. И чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным *эсперанто* из международных словечек, и далее: всему оригинальному, идущему вне русла *эсперанто* и бессознательно (а иногда и сознательно), объявляется бойкот. Вместо Гоголя объявляется Шолом Аш, провозглашается смерть быту, учреждается международный жаргон, точно так же, как наряду с Бетховеном фигурирует Мейербер, наряду с Врубелем — Матисс.

Сила интернационализма в том, что: 1) во всех странах Европы идет последовательное завоевание всех тех областей, где наиболее мощно выражается индивидуальность культур, т. е. завоевание областей искусства, 2) рать критиков и предпринимателей в значительной степени пополняется однородным элементом, верней, одной нацией, в устах интернационалистов, все чаще слышится привкус замаскированной проповеди самого узкого и арийству чуждого национализма: юдаизма.

Бесспорно, евреи — глубокоталантливый, способный и самобытный народ; бесспорны отзывчивость и чуткость евреев на все вопросы, связанные с искусством; бесспорно и то, что среди еврейства есть отдельные личности (как Левитан, Юахим, Мендельсон, Гейне и др.), способные глубоко проникнуть в дух арийского творчества; бесспорно и то, что полное неравноправие евреев в России и отчасти в Германии заставляет их проявляться в области, где юридически они могут выступать как равноправные; наконец, бесспорно, что упорство воли и страстность, свойственная семитской расе, проявляется у евреев в форсированном интересе одновременно к искусству всех культур... *Но, но и но...*

Интерес *«ко всему культурному»* порождает эклектизм; вместо глубокого проникновения в одну нацию (нация эта не родная) рождается поверхностный интерес ко всем нациям; так возникает международный базар искусства (нечто среднее из искусств всех наций), а отсюда, само собой, привносятся уже совершенно коммерческие соображения: устанавливается международная связь равно далеких от народа, но равно (национально) близких друг другу издательств и фирм: вносится капитал, организуются журналы, газеты и — пошла писать «штемпелеванная культура»!

Глубокоталантливые и вдумчивые единицы еврейства тонут в стихийном потоке культуртрегеров *«чего угодно, на всякий вкус»*. Искреннее и честное непонимание задач арийского творчества уже ведет к базару, а базар порождает коммерцию; так является готовая, интернациональная (а изнутри узконациональная) биржа: и отсюда невольная, инстинктивная борьба еврейской критики сперва с арийцем Вагнером и арийцем Ницше, а потом стремление к монополии в истолковании того и другого.

Бесспорна отзывчивость евреев к вопросам искусства; но, равно беспочвенные во всех областях национального арийского искусства (русского, французского, немецкого), евреи не могут быть тесно прикреплены к одной области; естественно, что они равно интересуются всем; но интерес этот не может быть интересом подлинного понимания задач данной национальной культуры, а есть показатель инстинктивного стремления к переработке, к национализации (юдаизации) этих культур (а следовательно, к духовному порабощению арийцев); и вот процесс этого инстинктивного и вполне законного поглощения евреями чуждых культур (приложением своего штемпеля) преподносится нам как некоторое стремление к интернациональному искусству: вы посмотрите списки сотрудников газет и журналов России; кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите почти сплошь имена евреев; среди критиков этих есть талантливые и чуткие люди; есть немногие среди них, которые понимают задачи национальной культуры, быть может, и глубже русских; но то — исключения. Общая масса еврейских критиков совершенно чужда русскому искусству, пишет на жаргоне *«эсперанто»* и терроризирует всякую попытку углубить и обогатить русский язык.

Если принять, что это все *«законодатели вкусов»* в разных слоях общества, то становится страшно за судьбы родного искусства.

То же и с издательствами: все крупные литературно-коммерческие предприятия России (хорошо поставленные и снабженные каталогом) или принадлежат евреям, или ими дирижируются; вырастает экономическая зависимость писателя от издателя, и вот — морально покупается за писателем писатель, за критиком критик.

Власть «штемпеля» нависает над творчеством: национальное творчество трусливо прячется по углам; фальсификация шествует победоносно.

И эта зависимость писателя от еврейской или юдаизированной критики строго замалчивается: еврей-издатель, с одной стороны, грозит голодом писателю; с другой стороны — еврейский критик грозит опозорить того, кто подымет голос в защиту права русской литературы быть русской и только русской.

Обыкновенно здесь смешиваются две несоизмеримые сферы: борьба культур с борьбой политических партий. Правовое неравенство евреев затыкает нам рот.

О, если бы сверху сознали, что для существования русской культуры равноправие евреев необходимо прежде всего! Мы, морально терроризированные писатели, могли бы открыто бороться за свою национальность, не боясь, что нас опозорят! Равноправие евреев необходимо: оно отвлекло бы их интересы от литературы и искусства к областям государственной жизни: еврей государственный деятель был бы и полезен, и нужен; евреи — по природе государственники; всякое же истинное дыхание арийской культуры внегосударственно, свободно, ритмично.

А пока евреи диктуют задачи русской литературы, они вносят туда гнет государственности; и писателю угрожает городовой интернационального участка.

Вы думаете, что только в русской литературе имеет место грустный факт торжества еврейского городового! В том-то и дело, что нет.

Наши слова внушены замечательной статьей г. Вольфинга *«Эстрада»*, напечатанной в трех номерах *«Золотого Руна»*. То, что все знают (но молчат) относительно печального положения русской литературы, имеет место и относительно музыкального центра Германии (а может быть, и всего мира) — Берлина.

С поразительной яркостью наш лучший теоретик музыки отмечает падение музыкального дела в Германии и рост чудовищной фабрики *«вундеркиндов»* (родина которых всегда почти граница России и Германии): «все музыкальное дело, к сожалению, и композиторство, — пишет он,— превратилось в коммерцию, и притом далеко не высшей пробы». Г-н Вольфинг отмечает стремление влияющих центров превратить музыкальные предприятия в выставку разнообразных продуктов культур, где Мейербер и *«вундеркинд»* стояли бы рядом с Бетховеном и Вагнером — рядом, т. е. в пику. «Жутко становится от этого безразлично-усердного отношения к любому сочетанию звуков и звучностей» (Вольфинг). «Такое явление указывает либо на варварство, на недавнее восприятие плодов чужой культуры, либо разложение» (Вольфинг). Чужой: — г. Вольфинг красноречиво доказывает, что все музыкальное дело Германии попало в руки евреев, что даже юдаизирован сам музыкальный цех; «международный музыкальный цех является в сущности очень национальным, так как он состоит главным образом из евреев», этот цех проповедует интернациональную музыку, что г. Вольфинг считает вопиющей несправедливостью. Интернациональная музыка порождает поверхностный дилетантизм, смещающий задачи музыкального развития от Бетховена в сторону «вундеркинда». *«Вундеркиндами»* заполнена Германия; далее: г. Вольфинг указывает на то, что переполнение евреями музыкальных школ порождает *исполнителей* вместо *творцов*; исполнители-евреи, по г. Вольфингу, стараются, аффектированно вибрируя звук, внести элемент слащаво-притворной южной страстности, крайне нехудожественный и варварски нарушающий благородный, европейский стиль.

«Евреи, — говорит г. Вольфинг, — несмотря на несомненную талантливость, являются, выражаясь терминологически, музыкальными варварами... Музыкальный германизм *«творил ценности»*, выбрасывал их на поверхность жизни и, не заботясь далее об их судьбе, уходил опять в свою глубину; последний (юдаизм) со своею ко всему одинаково готовой восприимчивостью подхватывал эти ценности, часто искренне ими любовался, но, не постигая до конца их сути, не допуская в этих ценностях неразгаданной тайны, смело и усердно выковывал из них ходячие монеты. Весьма вероятно, что, не будь евреев, эти ценности не столь быстро делались бы достоянием всех; но еще более вероятно, что мы тогда не присутствовали бы при безобразном зрелище музыкальной ярмарки, в которую превратилась жизнь музыкального искусства звука...» И далее: «Восхищались чем-то *«всечеловеческим»* и *«музыкантским»*, общим и Бетховену и Мейерберу, т. е. предвосхищали в Бетховене Мейербера» (Вольфинг).

Мы приводим эти слова целиком, потому что все, относимое к музыке г. Вольфингом, относимо и к литературе русской. *«Штемпелеванная культура»* совершает свое завоевание.

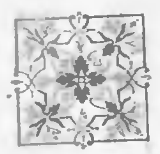
«Отрицательное влияние евреев на ту или иную сторону духовной жизни Европы объясняется не тем, — продолжает г. Вольфинг, — что еврей, как полагают антисемиты, дурной народ, а тем, что они иной народ».

Этой фразой г. Вольфинг дает понять, что борьба с захватом евреями культурного руководства Европы есть борьба двух расовых духов, а не борьба политическая; она должна вестись: 1) предоставлением евреям всех прав гражданства, 2) противопоставлением интернациональному понятию культуры, как продукта смешения рас, понятия о национальной культуре, конкретной и индивидуальной в каждом народе.

Равноправием должны доказать мы евреям, что они *не дурной народ*; и в их стремлении к равноправию мы с ними.

И протестом против их гегемонии во всех областях культурного руководительства должны подчеркнуть мы, что они *народ иной*, чуждый задачам русской культуры; в их стремлении к равному с нами пониманию скрытых возможностей русского народа мы безусловно против них.

Русское общество должно наконец понять, что навязываемая ему *«штемпелеванная культура»* — не культура вовсе.



Мы сегодня все время слышим о национальном самосознании тех или иных народов. То из Таллинна, то из Душанбе доносится: «Русские — вон!» Русские, которые подняли из руин Киев, Нарву, Кишинев и многие другие города, самоотверженно помогавшие многим из тех, кто сегодня имеет ученые степени, вынуждены ныне довольствоваться самым малым: как бы не выгнали из Эстонии или Латвии, Осетии или Кабардино-Балкарии.

Во многом, конечно, виноваты сами русские. Нет дружбы между нами. А ведь нас, как пишет Гулыга, становится все меньше. Почему же столько ненависти у русского поэта Евгения Евтушенко, русского критика Натальи Ивановой? Вместо того, чтобы взяться за руки и сплотиться, мы все больше разъединяемся на «левых» и «правых», на «наших» и «не наших».

Вит. КЛЕНОВСКИЙ,
Мурманская область.

КТО СТАНЕТ СОБСТВЕННИКОМ?

В последнее время раздаются голоса в пользу частной собственности. Говорят, что якобы с ее помощью можно преодолеть нынешние экономические трудности. Но много ли среди нас людей, имеющих средства для того, чтобы вступить во владение частной собственностью? А смогут ли вступить во владение частной собственностью рабочие или крестьяне? Есть ли у них для этого средства? Так кто же будет собственником? Как говорят данные экономистов, в руках теневой экономики сосредоточено около 300 миллиардов рублей. Эти средства принадлежат ограниченному контингенту. Вот кто и вступит во владение частной собственностью, а рабочие и крестьяне как горбатились до этого на государство, так и будут горбатиться дальше, только на другого владельца. Но если, работая на государство, можно все же надеяться на то, что и ты в этой жизни что-то значишь, и, коли будешь бороться, добьешься своего, то, работая на частного владельца, никогда не скопить средств, позволяющих самому стать владельцем. Таковы уж вечные взаимоотношения между трудом и капиталом.

Пора бы понять народным депутатам, что все не смогут вступить во владение частной собственностью на средства производства, кто-то будет эксплуататором, а кто-то эксплуатируемым, и выйти из этого круга будет невозможно.

Кроме эксплуатации человека человеком, есть еще эксплуатация государства государством. Нашу страну вот уже 70 лет эксплуатируют капстраны. Такое ощущение, что революцию у нас делали именно они — с целью эксплуатации. Мы, например, добываем свои ресурсы, по сути, для того, чтобы продать их западным странам за валюту, причем по навязанным нам ценам, затем закупаем за валюту же у них товары народного потребления (опять по навязанным ими ценам), проедаем эти товары и продукты, снова добываем сырье, но в бо́льших количествах, так как проценты долга растут, и снова покупаем товары. И круг этот ничем не разрушить, а долг будет расти вечно. Причем Западу вовсе и не нужно, чтобы мы выплачивали долг — достаточно того, что мы будем скоро работать только на проценты, окончательно сев в долговую яму, приготовленную нам Западом, и США в первую очередь.

Вот свежий пример эксплуатации нашего государства Америкой. По имеющимся у меня сведениям, в Сибири отдано американской фирме месторождение сернистой нефти для разработки. Ни у нас, ни в США нет безопасной технологии разработки этого вида сырья. Дело в том, что сернистая нефть столь ядовита, что уже сейчас есть случаи мгновенной гибели буровиков прямо на вышке, если был случайный выброс этого сырья даже в небольшом количестве. Растворимость сернистого водорода, составляющего сернистую нефть, столь высока, а скорость диффузии столь велика, что значительные выбросы способны заразить огромные территории и привести к катастрофическим последствиям. И вот такое «опасное богатство» передано в руки тех, кто кровно не заинтересован в сохранении безопасности и экологической чистоты региона.

Считаю, что необходимо наконец понять, что нельзя заигрывать с народом и манипулировать общественным мнением, необходимо народу рассказать всю правду подробно и популярно. Полагаю, что, узнав ВСЮ ПРАВДУ, народ поймет необходимость ограничить свои потребности, подтянет пояса и вынесет страну из кризиса еще раз. Только обманывать народ уж нельзя будет. Необходимо создавать свои технологии производства, эксплуатации месторождений. Запад никогда с нами новейшими технологиями делиться не будет. Не заинтересован он в том, чтобы мы его «догоняли».

А. А. АЛЕКСАНДРОВ,
Москва.

О т р е д а к ц и и: публикуя это тревожное письмо, мы надеемся, что Мингео СССР прояснит — в печати — судьбу месторождения сернистой нефти.

Журнал «МОСКВА» до конца 1990 и в 1991 году опубликует:

Романы и повести: Вл. СОЛОУХИНА **«Акиней»**, В. РАСПУТИНА **«Ближний свет издалека»**, В. МАКСИМОВА **«Карантин»**, Н. ПЛОТНИКОВА **«Курбский»**, Вад. САФОНОВА **«Ватерлоо»**, Г. РУССКИХ **«Клейма»**, Ю. КУРАНОВА **«Тепло родного очага»** (книга вторая), главы из новой книги Ф. УГЛОВА **«Ламехузы»**, И. ШМЕЛЕВА **«Старый Валаам»**, а также В. БЕЛОВА, С. ЗАЛЫГИНА, В. ЛИХОНОСОВА;

рассказы Ю. ЛЕОНОВА, Б. ШИШАЕВА, Е. ОБУХОВОЙ, В. БОГАТЫРЕВА;

статьи В. ИЛЬИНА, И. ИЛЬИНА, А. КАРТАШЕВА, ПИТИРИМА СОРОКИНА, из **«Записок»** Н. МАХНО;

роман Г. ГЕССЕ **«Сиддхарта»**, Оноре де БАЛЬЗАКА **«Серафита»**; впервые на русском языке романы Г. ФОНТАНЕ, К. ГАМСУНА, С. МОЭМА;

беседы К. ЧАПЕКА с МАСАРИКОМ, рассказы Э. Т. А. ГОФМАНА, А. КАМЮ, Г. БЕЛЛЯ, воспоминания об Э. ХЕМИНГУЭЕ;

фрагменты из 13-томной **«Истории русской Церкви»** митрополита МАКАРИЯ, труд архиепископа ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО) **«Дух, душа, тело»**;

продолжение книги М. ПЫЛЯЕВА **«Старая Москва»**;

статьи из литературного и философского наследия русских мыслителей: старцев Оптиной пустыни, А. ХОМЯКОВА, И. КИРЕЕВСКОГО, Ф. ТЮТЧЕВА (политические статьи), А. ФЕТА (неизвестные письма), К. ЛЕОНТЬЕВА (о национальном вопросе), В. РОЗАНОВА (статьи), П. ФЛОРЕНСКОГО (об о. Алексее Мечеве), Л. КАРСАВИНА, о. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО, о. АНАТОЛИЯ ЖУРАКОВСКОГО;

из философской мысли Запада: статьи ПЛАТОНА, святой ТЕРЕЗЫ, С. КЬЕРКЕГОРА, А. ШОПЕНГАУЭРА, К. ЯСПЕРСА;

стихи и поэмы Р. БОРОДУЛИНА, Р. ГАМЗАТОВА, Ю. КУЗНЕЦОВА, Н. РАЧКОВА, А. РЕШЕТОВА, Л. САФРОНОВА, национальных молодых поэтов России и ранее не публиковавшихся авторов русского зарубежья, а также из литературного наследия отечественных поэтов: Даниила АНДРЕЕВА, В. НАРБУТА, П. ВАСИЛЬЕВА и др.;

по отделу очерка и публицистики: статьи М. АНТОНОВА, Г. ЛИТВИНОВОЙ, К. МЯЛО, Ю. ВОРОБЬЕВСКОГО и др. о возрождении национального самосознания русского народа, суверенитета России, ее экономической самостоятельности;

по отделу критики: воспоминания А. ЗАБОЛОЦКОГО о В. Шукшине, И. ШАФАРЕВИЧА **«Даниил Андреев»**, Л. КРУТИКОВОЙ-АБРАМОВОЙ **«Федор Абрамов и цензура»**, статьи Л. БАРАНОВОЙ-ГОНЧЕНКО, В. БОНДАРЕНКО, В. БУШИНА, В. ВАСИЛЬЕВА, П. ГОРЕЛОВА, А. ГУЛЫГИ, А. КАЗИНЦЕВА, В. КОЖИНОВА, Г. КУНИЦЫНА, В. КУРБАТОВА, А. ЛАНЩИКОВА, В. ЛЕВЧЕНКО, С. ЛЫКОШИНА, О. МИХАЙЛОВА, И. РОСТОВЦЕВОЙ, И. РОГОЩЕНКОВА и др.;

К 170-летию Ф. М. Достоевского:

произведения архиепископа АНТОНИЯ **«Словарь к творениям Достоевского»**, Е. КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ **«Достоевский и современность»**;

К 225-летию Н. М. Карамзина:

статьи, публикации ведущих советских философов, историков;

по отделу международной жизни: статьи **«Европа. Год 1992»**, **«Будущее Германии, Польши, Югославии»**, **«Ислам и современность»**, **«Азия XXI века и Западный мир»**, **«Русская эмиграция. Типы, масштабы, судьбы»**, **«Современная жизнь европейских столиц. Быт, нравы»**.

КРЁСТНЫЙ

Господь принял душу русского художника Юрия Ивановича Селивёрстова. Родом сибиряк, он получил профессию архитектора в Новосибирске и никогда не забывал своих связей с «малою родиной», чему служат свидетельством графические портреты земляков-писателей Распутина, Вампилова, Астафьева, Шугаева. Стал известен иллюстрациями к Акутагаве, Воннегуту; но подлинное признание получил благодаря первому после 1917 года отечественному иллюстрированному изданию Нового Завета. Эта работа была отмечена особою статьей в парижском «Вестнике Русского христианского движения».

Он создал графический цикл по «Слову о полку Игореве», написал о нем статью «Источник извечный. Записки художника». Наиболее заметными в последние годы — а он лишь чуть не дожил до 50-летия — были два главных дела его жизни. Первое — серия портретов русских религиозных мыслителей, печатавшаяся в «Литературной газете» и «Литературной учебе» и ныне выходящая в книге «Из русской думы» е издательстве «Современник». Про эту свою работу он трагически предрек: «Можно сделать ее, и не стыдно умереть». Второе — участие Юрия Селивёрстова в святом деле воздвижения памятника Отечественной войне и 1000-летию Крещения Руси. Две эти даты счастливо совместились в его величественном и простом проекте — выстроить «архитектурную икону» храма Христа Спасителя на том месте, где он был разрушен. Это должен быть как бы прозрачный храм, где на Пасху могут собираться миллионы людей и творить память по «отцам и братиям, за Отечество убиенным».

Соотечественники художника всегда будут помнить его открытый нрав и дом, где собирались вместе любящие русскую культуру люди, от епископа до космонавта. Он был поистине крёстным русскому содружеству в ту пору, когда оно наиболее подвержено расколу и нестроению.

ПРИМИ УСОПШЕГО РАБА,
ГОСПОДЬ, В БЛАЖЕННЫЕ СЕЛЕНЬЯ!